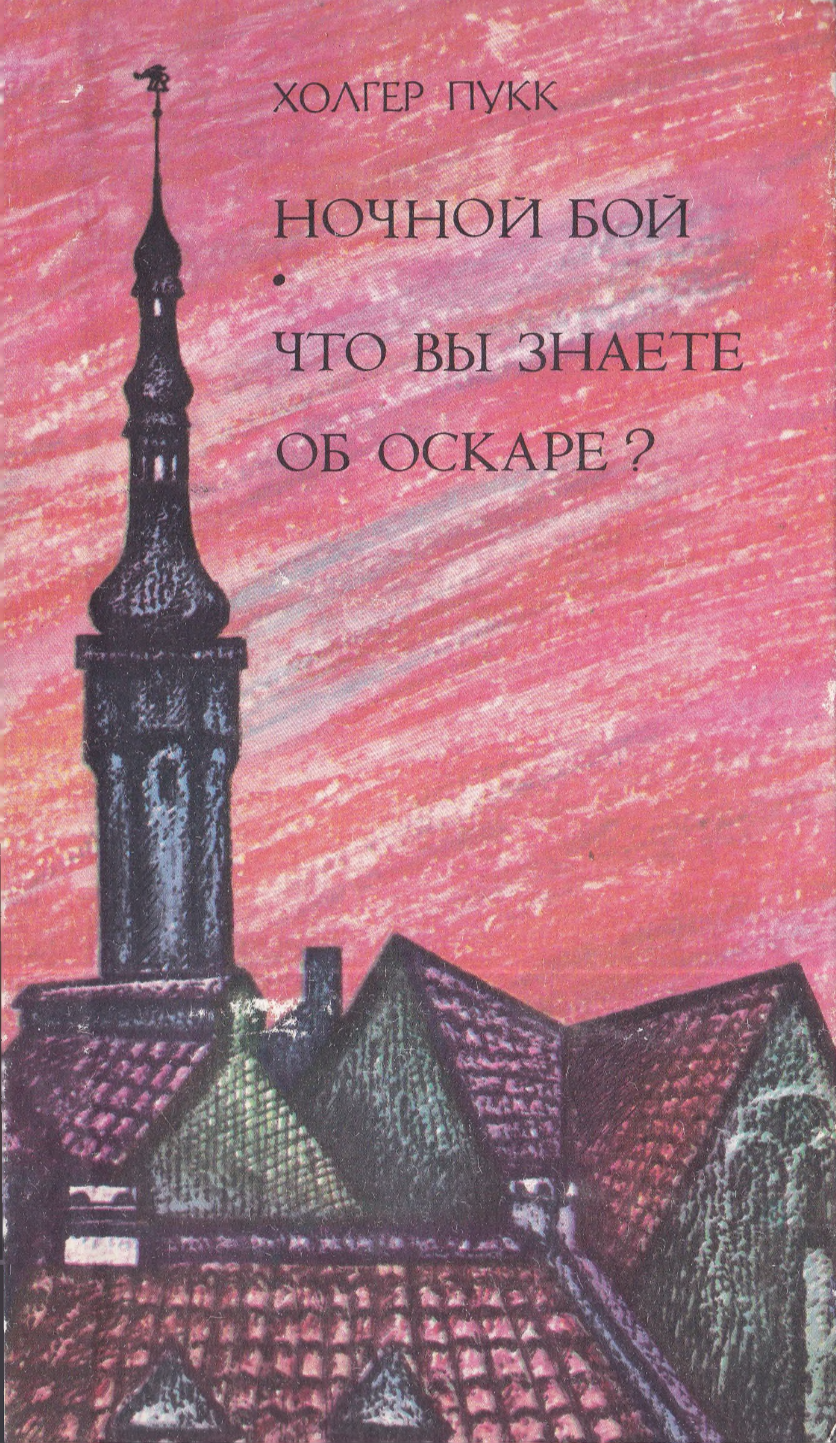


ХОЛГЕР ПУКК

НОЧНОЙ БОЙ
•
ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ ОБ ОСКАРЕ ?

ХОЛГЕР ПУКК

НОЧНОЙ БОЙ

ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ ОБ ОСКАРЕ?

ПОВЕСТИ

Перевод с эстонского
Л. ТУГОЛЕСОВОЙ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1978

С(Эст)2
П88

Книга Х. Пукка «Ночной бой» удостоена в 1970 году литературной премии комсомола Эстонии.
Книга Х. Пукка «Что вы знаете об Оскаре?» удостоена в 1975 году литературной премии Эстонской ССР имени Ю. Смуула в области детской и юношеской литературы.

Пукк Х. Я.
П88 Ночной бой. — Что вы знаете об Оскаре? Повести. Пер. с эст. М., «Молодая гвардия», 1978.
288 с.

Повесть о молодых революционерах-коммунистах, участниках рабочего восстания в Таллине в 1924 году, и повесть об одном из организаторов эстонского комсомола, его революционной деятельности во времена буржуазного эстонского государства.

С(Эст)2

П $\frac{70303-166}{078(02)-78}$ 139—78



В основу этой повести положены воспоминания современников и архивные материалы. Кое-где я прибегнул и к помощи фантазии.

Автор



Под самым Таллином, на берегу реки Пирита, в тени берез стоит домик. На стене его установлена мемориальная доска с надписью: *«В этом доме 5 декабря 1924 года в неравном бою с буржуазной охранкой погибли участники вооруженного восстания эстонского трудового народа члены КСМЭ Арнольд Соммерлинг, Освальд Пийр и Эдуард Амбос».*

1

Поздний вечер. Время, когда заканчиваются повседневные дела и начинают слипаться глаза.

Тяжелые тучи сбросили первый в этом году снег и поплыли дальше, к верховью реки Пирита. Ели нарядились в белые шубки, кусты согнулись под пушистым тулупом.

Бледная луна рисует на белой земле черные стволы и мрачные пятна и чертит на снегу силуэты кустов вереска.

Только две краски различает глаз: черную и белую.

От сильного холода в верхушках деревьев замерли и ветер, и лесной шум. Морозным тихим вечером каждый звук слышен поразительно ясно и далеко.

По снегу идут трое. На белой земле остаются хвостатые следы. Они говорят об усталости.

Где-то жалобно воет собака.

— Слышите, это Самми на хуторе Тупса, — замечает один из троих. Он идет первым.

Остальные молчат.

Снова воет собака. Внезапно ее жалобный вой обрывается.

— Заперли в хлев, — поясняет тот, кто узнал Самми по голосу.

Люди бредут по снегу. Следом, покачиваясь, сколь-

зят три длинные тени. Верные спутники ни на шаг не отстают от своих хозяев.

Низкая сосенка сбрасывает за шиворот горсть снега. Выгребая его из-за воротника, идущий вторым говорит:

— Откуда тебе знать... Самми ли это... и куда она делась.

Первый перебивает:

— Как не знать! Хозяйка рассказывала, что у Самми появилась такая манера — выть. И тогда она запирает собаку в хлев. А то, мол, беду накличет.

Мужчина усмехнулся, словно хотел посмеяться над суеверием хозяйки. Но смеха не получилось. Не получилось и продолжения разговора.

Люди молча идут вдоль опушки в ту сторону, откуда доносится вой собаки, а за ними тянутся тени.

Вскоре заснеженные сосны уступают место небольшой белой поляне. Теперь, в ярком свете луны, видно, что первый и второй молоды и высоки ростом. У обоих низко надвинуты широкие кепки. Тот, кто знаком с хозяйкой Тупс, одет в новую кожаную куртку. У второго куртка почти такая же, только суконная. У мужчины в кожанке из-под кепки виднеются темные кудрявые волосы и повязка на лбу. Третий — лет на десять старше своих спутников. Новое полупальто и каракулевая шапка придают его внешности что-то барское.

Поляна кончается у подлеска. Слышится тихое журчание речки. Мороз еще не успел сковать ее ледяным покровом. В мелкой, сверкающей при лунном свете воде, на дне, видны глыбы плитняка.

Парень в кожанке пробирается в заснеженную поросль. И хотя тропы не видно, он уверенно шагает вдоль берега, петляет, не боясь заблудиться среди заснеженных кустов, и снова выходит к соснам.

Эту реку, все ее извилины, этот сосняк и густой ольшаник проводник знает как свои пять пальцев. Так до мелочей знакомы бывают лишь те места, где человек играл в детстве. А пора детства миновала недавно, и воспоминания о нем еще не потускнели.

Проводнику кажется, что только вчера, ну, позавчера, они втроем съезжали на лыжах с этого высокого и обрывистого берега. Алийде, Эрика и он.

И как это они умудрялись? Втроем на одной паре лыж! И что это были за лыжи! Называть эти приспособления лыжами могли, пожалуй, лишь они сами.

Все началось в солнечный воскресный день, когда они увидели на высоком берегу двух сказочных лыжников. В те времена лыжники вообще были диковинкой, а эти двое в особенности.

Таких изумительных узорчатых свитеров, шапочек с помпонами и рукавиц Алийде, Эрика и он никогда еще не видывали. Не говоря уж о белых брюках и желтых лыжных ботинках с блестящими ободками у дырочек.

Юноша и девушка наверняка были из богатых таллинских семейств.

Одежда, что и говорить, была удивительно красивой.

Но лучше всего были лыжи. Коричневые, блестящие, словно спинка новой кровати, до которой мать не разрешала дотронуться пальцем. Пятна, мол, останутся: ведь пот — штука едкая и может испортить всю полировку.

А лыжные палки! Тонкие и легкие, как воздух. Из настоящего бамбука...

Их отец ведь тоже не нищий. В деревне Прийзли у него все-таки порядочный кусок земли, есть что пахать и сеять. К тому же уважение соседей и впридачу роскошная русая борода — украшение и гордость. Но о лыжах с ним говорить не стоило. Покупка усадьбы поглотила все рубли, которые удалось наскрести на разных работах в городе. А дыр в семье было столько, что каждая вновь заработанная копейка исчезала в них, словно в бездонном колодце. Прибавлялись же только новые сединки в пышной отцовской бороде да заботы о деньгах на обучение детей. Оно было, правда, еще впереди, но экономить приходилось заранее.

Так что сказочных лыжников пришлось забыть. Забылись их свитера и шапочки, но не думать о коричневых блестящих лыжах было невозможно. И если еще представить себе удовольствие от катания, то... оставалось лишь попытать свои силы в ремесле лыжного мастера.

Предприимчивости у ребят хватало, а вот умения было маловато. Очень скоро мастер понял, что сделать три пары лыж ему не под силу. Хорошо, если удастся смастерить одну. Но теперь предстоящее катание уже не казалось таким удовольствием. Честно говоря, о каком удовольствии вообще может идти речь, когда один катается, а у двоих, в ожидании своей очереди, слюнки текут. Как бы устроить, чтобы лыжи одни, а кататься втроем?

Здесь добрый совет был бы кстати. И мастер-самоучка решил смастерить лыжи очень длинные и очень широкие, чтобы на них можно было уместиться ему и сестрам. Крепко ухватиться друг за друга и быстрее ветра мчаться по склону.

Сказано — сделано. Времени ушло немало, и наконец «семейные» лыжи были готовы. Но только и было радости, что работа закончена. Лыжи оказались тяжелыми, как чурки. Носы прямые, блестящей коричневой краски и в помине не было. Одним словом, остроносые доски, шероховатую поверхность которых слегка пригладил упрямый рубанок.

Съезжать с горы на них было можно. И даже втроем. Случалось, что лыжи славно скользили рядышком. Но чаще каждая тянула в свою сторону, и ни один из троих справиться с ними не мог. Да и как справиться, если палки — жерди, выдернутые из плетня, — больше обуза, чем помощь, а носки валенок то и дело выскальзывают из-под ремешков. Но главной мукой было втаскивать эти доски на гору.

Так они и не вкусили настоящей радости от катания на лыжах.

И снова вспоминается нашему проводнику, как словно вчера, ну, по крайней мере, позавчера, они устроили из дедушкиного шкафа корабль и втроем плавали по реке.

Ничего удивительного нет в том, что дети, выросшие у воды, вскоре усвоили уроки отца и запросто переплывали реку. Но душа стремилась к великим делам. Глаза искали, мысль работала, и блестящая возможность была найдена.

И зачем дедову шкафу стоять там, в сарае, без дела? Никому от него ни холодно ни жарко. А спустить этот шкаф на воду, и пароход готов! Да, но как это сделать? До реки расстояние немалое. Поди-ка снеси его туда, не коробка же это из-под сапог!

Опять помогла смекалка. Издавна известно: сложные дела разрешаются порой неожиданно просто. Вспоминаешь задним числом, и смешно становится, что над таким простым решением так долго ломали голову.

А имя этому решению было — Сибиряк. Их собственный черный Сибиряк. Небольшой, нетребовательный, но выносливый коняга, чьи предки были якобы родом из Сибири. Отсюда и имя.

Однажды, когда никого не оказалось дома, дедушкин

шкаф опрокинули навзничь, и наш лыжный мастер запряг в него лошадь.

Но-о-о — и покатили!

Много было шума и треска и не меньше смеха и крика. Все сошло удачно. Никто не помешал этой невиданной поездке. Только Сибиряк пугливо озирался и сердито поводил ушами. Однако противиться не стал. К счастью, лошади не болтливы. Тайны они хранят надежно.

Заткнули паклей большие щели и столкнули в реку Пирита самое диковинное из судов всех водоемов вселенной.

Когда команда разместилась на борту, то бишь в шкафу, а дверцы над ребячьими головами были прикрыты, морское путешествие началось.

Алийде и Эрика молчаливо и робко жались в разных углах шкафа. Он же отдавал приказания и рассказывал о далеких землях, к которым они плывут.

Вот это было путешествие! Полное борьбы с угрозой кораблекрушения и с проникающей в судно водой. Хотя щели были старательно заткнуты, дедушкин шкаф оказался сооружением, не очень подходящим для морских походов. И к тому же коварные рифы угрожающе скребли по дну судна. Не обошлось, конечно, и без кровожадных заморских чудовищ, что мычали в прибрежной поросли и отгоняли хвостами мух.

Радости хватило бы на добрый десяток путешествий. Но пришел конец, о котором мудрая поговорка гласит: «Любишь кататься, люби и саночки возить!» Каким-то образом мать и отец уже на следующий день заметили, что двустворчатый дедушкин шкаф исчез из сарая...

После печального конца они втроем долго еще обсуждали, почему домашние из-за какого-то чепухового, никому не нужного шкафа поднимают такой шум. Во всяком случае, маленькая Эрика упорно утверждала: все это потому, что папа и мама никак не могут понять, какой чудесный корабль может получиться из дедушкиного шкафа, в каких далеких странах можно побывать и какие пережить волнующие минуты.

Того же мнения придерживались и остальные мореплаватели.

...Проводник в кожанке подходит к опушке леса и останавливается. Его спутники тоже. В морозный воздух поднимаются три облачка пара.

В конце пути пришлось преодолевать крутой подъем. Усталые путники тяжело дышат.

Ноги одеревенели. Промокшие и затвердевшие на морозе сапоги жмут в пятках и натирают пальцы.

Щиплет отяжелевшие от бессонных ночей веки.

После нескольких суток, проведенных без крова, не мудрено и захворать. Желудок уже несколько дней пуст. Хорошо стоять. Еще лучше прилечь, хотя бы в снег.

Перед ними, на широкой, залитой лунным светом поляне, простирающейся до самого шоссе, примостились два маленьких домишки с сараями.

От приземистого дома пролегает проселочная дорога, на которой полозья оставили длинную колею. У края дороги забор из редких жердей. За ним стайка молоденьких березок. Глядя с опушки леса, кажется, что их стволы слились с белым покровом земли и перед домом словно повисли в воздухе гигантские растрепанные веники.

Из окон обоих домов льется тусклый желтый свет.

Мужчина в кожанке кивает головой в сторону берез:

— Вот они, хоромы Тупса.

Хотя конец пути близок, не дело очертя голову выскакивать на поляну. Люди глазами ощупывают стены домишек, углы сараев, тени, вычерченные на дворе лунным светом. Взгляд их охватывает всю поляну до самого шоссе, изучает чернеющие здесь и там бугры и кусты.

Ничего подозрительного. И верно, в этот поздний час не видно ни души.

— Пошли, что ли, — тихо говорит второй парень.

— Ты вроде сомневаешься? — допытывается проводник.

— Нет, мне-то что... Ты ведь знаешь их...

— Знаю! — подтверждает проводник. В его голосе ни капли сомнения. — Это наши люди!

Он делает шаг, чтобы выйти из тени деревьев и ступить на поляну.

— Постой!

Это окликает третий, всю дорогу молчавший.

Молодые люди оборачиваются и видят, что их спутник пристально всматривается в соседнюю хибару.

При лунном свете хорошо виден фасад бани с желтым окошком. Зоркий глаз может пересчитать бревна и различить даже дверную ручку. Но одна из сторон сарая скрыта черной тенью. Там ничего не разглядишь.

Они стоят неподвижно. Три пары глаз еще раз усердно прощупывают каждый вершок возле бани и сарая.

— Ну? — нетерпеливо шепчет проводник.

— Пошли! — откликается третий.

Огонек в окне манит и придает сил. Почти бегом они спешат через открытое поле. На белом снегу остаются размашистые следы.

Люди пролезают сквозь дыру в заборе.

Из окна льется свет. От него веет теплом и уютом. Они не решаются войти в полосу света и обходят ее. Человек в кожанке поднимается на крыльцо. Стучит. Остальные стоят за его спиной.

В то же мгновение от сарая в соседнем дворе отделяется фигура высокого мужчины. Он пристально вглядывается в угол дома, за которым только что скрылись три пришельца. Проходит с десяток шагов через заснеженные грядки и вот он уже за длинным сараем Тупса. Подкрадывается. Наклонившись, смотрит из-за угла.

В ясном воздухе до его слуха доносится тихий стук.

Это снова стучит проводник в кожанке. Уже громче и смелее, чем в первый раз.

В доме зашевелились. Внутренняя дверь осторожно приоткрывается.

— Кто там? — спрашивает сердитый женский голос.

Проводник наклоняется к дверной щели и отвечает приглушенным голосом:

— Это я. Арнольд. Открой.

— Господи боже мой! — пугается женщина.

Хлопнула внутренняя дверь. В сенях заскрипели половицы. Спустя мгновение в скважине поворачивается ключ и приоткрывается наружная дверь.

— А это кто? — спрашивает открывшая дверь женщина, увидев за спиной Арнольда двух незнакомых людей.

— Мои друзья. Впусти нас.

Хозяйка радушно распахивает дверь.

Отряхнув снег, мужчины входят.

Большая раскаленная печь, на столе скудный ужин и маленькая керосиновая лампа... Три изголодавшихся, бесприютных человека стоят на пороге, словно не веря, что имеют право хоть на малую толику этой роскоши.

Потом снимают шапки и быстро ступают через порог.

Высокий мужчина за сараем топчется с ноги на ногу. Надо что-то предпринять! Но с чего начать?

Работать головой ему было трудно еще в начальной школе. Бедняцкая детвора презирала его и считала дураком. Своим превосходством над другими он мог похвастаться, лишь глядя вниз из окна отцовского хутора, стоящего на холме. Но это приносило весьма слабое утешение, хотя и разжигало злобу против тех, кто жил там, внизу, у холма, и терпел от урядника Ханса больше притеснений, чем он.

И тут соглядатай замечает, что отворяется дверь клети. Ему становится страшно, а вдруг заметили, что он... и нагрянут сюда. Добра от них ждать нечего! Гляди, тюкнут еще. Ох, куда же спрятаться?

Но во двор выходит только хозяйка Тупс.

Захлопывает ставни на трех окнах дома и тщательно запирает их на крючок.

Шпик чувствует, что храбрость возвращается к нему.

Сквозь кухонные ставни желтая полоска света падает на снег.

Пойти бы подсмотреть.

Высокий мужчина крадется из-за угла сарая. Ковыляет через двор. Приникает глазом к светящейся щели.

Да-а! Он не ошибся!

За кухонным столом сидит Арнольд. Продолговатое лицо с крупными чертами. Густые кудрявые волосы. Вот он откусывает хлеб и поднимает кружку... Все те же резкие движения. Ишь ты, голова-то у него перевязана. Тоже подозрительно. Ведь совсем недавно в Таллине из-за этих красных сыр-бор загорелся.

И долговязый, высоко, как цапля, поднимая ноги, уходит. Больше ему нечего раздумывать. Начальник из «Кайтселийта» * сам знает, куда позвонить. Как хорошо, когда умные мысли вовремя приходят в голову!

Черт побери, везет же иногда человеку. Именно сегодня ему вдруг вздумалось завернуть к земляку. Тут-то он и заметил трех мужчин, идущих от берега реки. Остановился у стены сарая из чистого любопытства... Один из мужчин казался очень похожим на Арнольда. И ведь так оно и есть.

Эхма! Арнольд — лакомый кусочек. Знать бы, сколько за него отвалят государственные чиновники. Не иначе

---

* «Кайтселийт» — реакционная организация в буржуазной Эстонии. Одной из главных ее целей была борьба с рабочим движением.

как тысчонку. И трудов никаких. Только ног жалеть не надо.

Размахивая полами пальто, мужчина спешит через белую поляну, как большая черная птица с раскинутыми крыльями.

2

Ужин в кухне Тупсов начинается в полном молчании.

Только ложки, размешивая сахар, постукивают в кружках.

На худощавом, с болезненным румянцем лице хозяина такое спокойное выражение, словно трое поздних, неразговорчивых гостей — явление самое обычное. Длинные, почерневшие от дратвы стариковские пальцы держат ломоть хлеба с тонким кусочком копченой баранины. Он жует, мускулы его впалых щек ритмично двигаются. И от этого длинные с проседью усы забавно вздрагивают.

Лицо хозяина серьезно, почти торжественно.

В семье Тупса во время трапезы не принято смеяться и болтать. Ведь еда на хозяйском столе появляется лишь благодаря починке стоптанных башмаков окрестных жителей; башмаки эти и сейчас лежат на другом столе в ожидании шила и рабочих рук Густава. Трудное и нудное ремесло. Ни радости от него, ни добрых запасов в кладовой. Не будь картофельных гряд и коровы, пришлось бы крепко призадуматься, как свести концы с концами.

Поэтому за столом не годится смеяться и пустословить.

Сегодня Лийза Тупс с радостью завязала бы разговор, но не решалась. Было ли тому причиной подавленное состояние гостей или пропитанная кровью повязка на голове Арнольда? Или изнуренные, заросшие щетиной лица пришедших? Или их заскорузлые от холода сапоги, которые оттаивали теперь в печурке? Или то, как жадно глотали они пищу, хотя и пытались сдерживать себя, что свидетельствовало об их многодневном голоде?

Наверное, все вместе взятое и мешало обычно разговорчивой хозяйке удовлетворить свое любопытство. А в сердце закрадывалась тревога.

Рядом с матерью сидит самая младшая дочка Тупсов, двенадцатилетняя Иоханна. Она украдкой поглядывает на гостей. Девочка взволнована, как всегда, когда в доме чужие. А эти и вовсе какие-то особенные...

Арнольд сам начинает разговор. Откусывает от горбушки, хлопает рукой по столу, и легкая улыбка смягчает на мгновение его суровый взгляд.

— Копченая баранина! — оживленно произносит он. — Вот это еда! Лучше не бывает!

Лийза живо вступает в разговор:

— И верно. Неплохая еда. Но свиная грудинка вкуснее.

И лукаво добавляет:

— Голод — самый лучший повар. И ржаной хлеб сладким покажется.

Арнольд снова замыкается в себе. Кажется, что мысли его бродят где-то далеко и он не хочет и не может вернуться к действительности.

В разговор вступает голубоглазый с русыми вьющимися волосами парень. Его зовут Оссь.

— Послушай, Арно, у тебя, кажется, много этих любимых блюд. Одна девушка рассказывала, как ты дома жарил хлеб и пригласил ее попробовать. Уверял, что это лучшее блюдо на свете!

Сказано это Оссем просто так, чтобы хоть как-нибудь разрядить мрачную атмосферу, царящую за столом. Только и всего.

Арнольд откусывает кусок хлеба с мясом, потом картошку, отхлебывает дымящийся земляничный чай и молчит.

Лийза снова делает попытку разговорить мужчин.

— Что же, Арнольд хотел позвать эту девушку к себе. А заманить тогда было больше нечем... Дело холостяцкое!

Но отзывается только хозяин.

— Гм, к чему болтать, — скупо замечает он и бросает на жену недовольный взгляд.

На этот раз Лийза не слушает Густава. Любопытство берет свое, и она спрашивает без обиняков:

— Из каких же это краев вы пришли сюда?.. Среди ночи?

— Да всюду побывали... Последний раз были на окраине Таллина. За Нымменским лесом. В сарае, — говорит Арнольд безмятежным, словно успокаивающим тоном.

— Господи, — всплескивает руками Лийза. — В такую погоду в сарае! Теперь ведь не май.

Взгляды Арнольда и хозяйки встречаются. Да, это был май двадцать первого года, когда он скрывался от полиции в сарае Тупсов.

— Ничего не поделаешь, — произносит Арнольд. — Месяц не сам выбираешь. Это другие люди загоняют тебя в сараи.

Лийзу снова охватывает беспокойство. А тут еще Самми так выла. Взгляд Лийзы невольно останавливается на забинтованной голове Арнольда.

— Что с твоей головой?

— Пустяки, царапина, — отмахивается Арнольд. — Споткнулся в темноте о какой-то пенек...

Хозяйка снова намеревается спросить что-то. Но прежде чем она успевает сделать это, Густав сердито останавливает ее:

— Хватит! Иной раз лучше знать меньше.

Третий мужчина, которого Арнольд, знакомя, назвал Ээди, поднимает голову от кружки, смотрит хозяину прямо в глаза и подтверждает:

— Верно.

— Ах, да будет вам, на ночь глядя наводить всякие страхи! — громко говорит Лийза, пытаясь все обратить в шутку.

Она встает, чтобы налить в кружки чай.

Лийза, конечно, знает, что на днях, 1 декабря, в Таллине произошло вооруженное столкновение. Теперь все газеты и вся деревня лишь об этом и говорят. Коммунисты обрушили на правительственные здания и казармы такой огонь, что только держись! Захватили Вышгород и почту, и аэродром, и Балтийский вокзал, и... уж конечно, Арнольд в такое время не отсиживался в спокойном месте. Ему и раньше приходилось сталкиваться с правительством и полицией. А Ээди и Ессь наверняка из того же теста!

Лийза ставит чайник на плиту, поправляет головешки, гремит вьюшкой.

Как же все-таки получилось, что им не удалось одолеть белых? Только кое-где смогли часок-другой продержаться. Прогнать бы им этих господ министров и... поставить бы таких, как Арнольд... Вот тогда бы! Уж тогда бы, конечно, на всех хватило и правды, и воли, и хлеба. В чем же была ошибка? Поди ж ты, старик не дает спро-

сить. А уж Арнольд наверняка знает. Говорит такими загадками, что... Ой, батюшки. А вдруг и правда какие-нибудь шпики выследили Арнольда? Не дай бог!

Лийза пугается своей мысли. Внезапный страх, что они все в опасности, заставляет ее подняться. Она хватает с вешалки пальто и, гремя ведром, направляется к колодцу.

На дворе воздух чист и свеж. Неподвижно стоят березы, посаженные Густавом, словно дремлют при лунном свете. Снежная поляна полого поднимается к небу. Где-то там проходит шоссе. За ним белая гряда холмов сливается с темным небосклоном. Налево за выгоном виднеются голые кусты. Их тени лежат на снегу, как сломанные ветки.

Нигде ни души.

Ведро шлепается в воду, наполняется до краев и начинает подниматься.

Успокоившись, Лийза шагает со своей ношей к дому.

В хлеву скулит Самми. Лийза вспоминает, что собака еще не кормлена. Да и гостям надо достать из клети мешки с соломой. Это, по правде говоря, следовало сделать раньше. Мешки ведь холодные и сырые. Когда еще просохнут...

Войдя в дом, Лийза видит, что за время ее отсутствия гости и Иоханна перебрались из кухни в комнату. Арнольд и Освальд уселись за стол Иоханны, поближе к лампе, и читают «Пяэвалехт». Это номер газеты за 2 декабря. Уже издали бросаются в глаза крупные заголовки:

«В стране объявлено военное положение».

«Мятежники преданы военно-полевому суду. Суд состоялся вчера. Все участники приговорены к смертной казни».

Арнольд читает, время от времени только усмехается и тихо говорит что-то Освальду. Эдуард заглядывает в газету через их головы. Рот его крепко сжат, словно он боится, что накопившаяся душевная боль выплеснется наружу.

Арнольд бросает газету на стол и берет другую. Это — «Кая» от 3 декабря.

Какое-то мгновение Арнольд молча пробегает взглядом по печатным строкам. И вдруг начинает читать вслух:

— «Участники государственного переворота не имели

никакого отношения к нашим рабочим. Итак, мы можем рассматривать мятежников как русских агентов!»

Арнольд ударяет ладонью по газете и с горечью восклицает:

— Какая бесстыдная ложь! Выходит, что ты, Тупс, видишь меня впервые! И заместителя председателя Центрального Совета профсоюзов Эдуарда Амбоса не знает в Таллине ни один рабочий. Об Освальде Пийре и говорить не стоит. Не организовывал он в Тарту молодежь, не служил в Красной гвардии и не был избран в Центральный Комитет Коммунистического Союза Молодежи Эстонии.

— И Яан Анвельт никогда не преподавал в Тойлаской школе, и не редактировал газету «Кийр», и не был председателем Трудовой Коммуны! — добавляет Освальд.

Густав, копошась у кровати, произносит:

— Всем известна эта газетная брехня... Хотят из людей дураков сделать.

Мужчины продолжают читать.

Иоханна сидит за столом, держит палец на странице учебника, а сама не сводит глаз с гостей.

За весь сегодняшний вечер Иоханна не проронила ни слова. Только смотрела. Следила за лицами пришедших, за их движениями, разглядывала их одежду.

Догадывается ли она, что эти трое не просто гости?

— Иоханна, поскорей доделай, что тебе там еще осталось — и спать! Посмотри, который час! — ворчит Лийза.

Девочка послушно переводит взгляд в книжку, но слова остаются словами и строчки — строчками. Мысли разбегаются...

Об Арнольде Соммерлинге она кое-что слышала. И плохое и хорошее... Одни говорили, что Арнольд красный подстрекатель, чье место за решеткой. И что Арнольд своих двух сестер тоже втянул в эту компанию. И теперь все трое — тяжкий крест родителей. Человек, мол, ученый, а себя ничуть не уважает. Знай возится с этими красными рабочими. И если он когда-нибудь получит пулю, то это перст божий, и ему вполне по заслугам.

Другие же говорят, что такого человека, как Арнольд, днем с огнем не сыщешь. Его и наказывали, и разыскивали, и судили, и в тюрьме держали — но он от своего не отступит! Все равно занимается делами рабочих. А какой он оратор! Слушай и дивись, откуда у него берутся такие слова и мысли! Один парень в деревне рассказывал, как

Арнольд держал речь в зале кино «Гранд Марина». Там выдвигали куда-то кандидатов от рабочих. Зал огромный, но голос Арнольда ясно доносился до этого парня, хотя тот и сидел на втором ярусе у самой стенки. Арнольд гремел на весь зал, что нельзя забывать о кровавых делах буржуазии и о ее лицемерии.

Всех взбудоражил. Именно так рассказывал тот парень.

И когда Арнольд закончил свою речь, народ разразился восторженными возгласами и рукоплесканиями. Все подняли руки за рабочих кандидатов. И рассказчик сам поднял. Хотя он пришел только послушать парня из своей волости.

В тот раз произошел потешный случай. Вдруг заметили, что у края яруса один человек не поднимает руки. Рабочие пробрались к нему поближе и узнали, что этот тип — знаменитый борец. В цирке видели-перевидели, как он других на лопатки кладет. Но рабочим было все нипочем. Схватили силача за шиворот, поволокли к двери и вышвырнули из зала.

Иоханна снова водит пальцем по книге, чтобы не сбиться, а сама посматривает на гостей. Теперь этот Арнольд сидит с ней рядом. Как он переживает все прочитанное в газете! Качает головой, горько усмехается. Вдруг тычет пальцем в газету, смотрит в сторону Осся и сердито бормочет.

Ossь спокойно кивает и усмехается в ответ, но не так зло.

Лицо третьего человека не говорит Иоханне ни о чем. Она даже побаивается этого серьезного и неразговорчивого Эдуарда. Еще за едой она осмелилась мельком взглянуть на него. Почему он молчит? Почему смотрит так, точно ничего не видит перед собой?

Откуда девочке знать, что обычно очень разговорчивый Эдуард принадлежит к тем людям, которых забота делает молчаливыми.

Больше всех Иоханне нравится Освальд. Этот молодой человек кажется ей старым знакомым. Когда их взгляды встречаются, то Оссь обязательно улыбается. Хоть чуточку, но настолько, что заметишь.

Вокруг его глаз собираются морщинки. Взор теплеет и смягчается.

Словно почувствовав, что Иоханна глядит на него, Освальд откладывает газету и тоже смотрит на девочку.

Он встает из-за стола и заглядывает через плечо в открытый учебник географии. Рассматривает лежащую на столе карту Эстонии.

— Мы мешаем тебе. Не даем заниматься, — замечает Освальд низким, чуть хриплым голосом. — Как дела в школе?

Иоханна смущенно улыбается. Девочка пожимает плечами.

— Не знаю...

Глаза Осся смеются. Весело и доброжелательно, словно он хорошо понимает смущение девочки.

— Что же там знать? Если четверки, то хорошо, а если двойки — плохо!

— Двоек не было...

— В чем же дело? Значит, хорошо. Ладно, не буду больше тебе мешать. Постарайся еще почитать.

Он наклоняется к Иоханне совсем близко и тихо говорит, точно сказанное касается только их двоих:

— А знаешь, я вообще не могу учиться, когда рядом что-то делают и разговаривают.

Иоханна кивает и быстро опускает глаза в книгу. Девочке приятно, что этот таинственный пришелец доверил ей свою тайну. Если вдуматься, то это совсем и не тайна. Но все же хорошо, что он что-то сказал о себе. И только ей, Иоханне.

Лийза возвращается из клети, несет мешки, набитые соломой. В комнату врывается облако свежего морозного воздуха.

Стол отодвигают в угол. Велико ли жилье сапожника! Постель для троих мужчин занимает место от края широкой печки до середины комнаты.

Ээди сидит возле окна. Оссь помогает взбивать мешки. Арнольд стоит перед висящей на стене семейной фотографией.

С пожелтевшего снимка глядят торжественные и напряженно-серьезные лица. Отец — Густав — сидит прямо, усы у него славно торчат, большие костлявые руки покоятся на коленях. Девочки внимательно смотрят с фотографии темными и круглыми, как булавочные головки, глазами. Наверное, в эту минуту фотограф говорил им о птичке, которая вот-вот должна выпорхнуть из его ящика, покрытого темной материей.

— Это же Мария! Правда? — Арнольд указывает пальцем на одну из трех, застывших в ожидании птички.

— Да, Мария. Гляди-ка, узнал все-таки! — радуется хозяйка. — Ведь она там еще совсем малютка.

— Как же не узнать, — усмехается он.

— Ну конечно, — говорит Лийза и понимающе кивает головой.

— Как она поживает? Кто-то, кажется, говорил, что вышла замуж?

— Ох, у Марии все хорошо... — И Лийза начинает подробно рассказывать. Но Арнольд не слушает ее. Воспоминания детства заглушают ее слова.

...Их семьи жили тогда по соседству, на Ласнамяэ. Каждое утро Арнольд, со связкой книг под мышкой, останавливался под окном Марии и стучал по стеклу. Занавеска сразу же отодвигалась, и курчавая головка девочки кивала в ответ:

— Иду, иду!

А в теплые дни, когда форточка бывала открыта, Арнольд кричал ей с улицы всегда одно и то же:

— Пошли в школу! — И в ответ из комнаты доносилось Мариино: — Да-а!

Дорога в школу шла вниз с Ласнамяэ по Тартускому шоссе. Зимой они скользили по ледяным дорожкам или кидали друг в друга снежками. Осенью и весной — шлепали по лужам.

Школа находилась рядом с длинным низким зданием, которое называлось офицерским казино Двинского полка.

Теперь, во время Эстонской буржуазной республики, это здание носит название «Дом солдата». В его зале несколько лет тому назад Арнольду пришлось предстать перед судом за попытку свержения государственного строя.

Хорошо было вместе с Марией ходить в школу. Никогда она не кривлялась и попусту не болтала. Славно было на своей улице играть с Марией и другими ребятами в палочку-выручалочку и в лапту. А зимой кататься на коньках по льду замерзших карьеров.

Но Арнольд и Мария никогда не говорили, что им хорошо друг с другом. О, нет! Арнольд-то наверняка не говорил. Но однажды Мария все-таки сказала...

Арнольд задержался как-то с мальчишками в школе. Мария ждала его у ворот. Ждала довольно долго. Ребята, проходя мимо, звали ее с собой, но Мария словно не слышала их.

Наконец Арнольд появился у ворот.

— Почему ты не ушла? — резко спросил он. Ему было неловко, и он пытался скрыть это резкостью.

— Не хотела, — ответила Мария.

— Почему же ты не хотела?

Мария помолчала немного. Потом прокатилась по замерзшей луже в сточной канаве. И наконец тихо сказала:

— С тобой хорошо идти.

— Как хорошо? — смутившись, спросил Арнольд. Ему совсем не хотелось выслушивать подробное объяснение Марии. Вопрос нечаянно сорвался у него с языка. Признание Марии было слишком неожиданно.

Но Мария и теперь не осталась в долгу с ответом. Она твердо заявила:

— Ты не дразнишься и не дерешься.

Сначала Арнольд рассердился на девочку. Сказала тоже. Разве он, Арнольд, не настоящий мальчишка? Выходит, он вроде овечки, как девчонка. Тихонький пай-мальчик, никого не трогает.

На следующее утро огорчение прошло и он опять крикнул в окно Марии:

— Пошли в школу!

По правде говоря, Арнольд действительно не обижал девочек. В других делах он не отставал от мальчишек, но девочек не задевал. Наверняка это объяснялось тем, что у Арнольда было две младших сестры. По наказу матери ему приходилось не только наставлять, но и оберегать их.

И уж, конечно, повлияло простое и по-своему бережное отношение к своим дочерям их вообще-то довольно строгого отца. По вечерам можно было часто наблюдать такую картину. Мать велит девочкам ложиться спать. Но им не спится. Лежат с открытыми глазами, болтают и хихикают. Мать сердится, а сон никак не идет.

Отец сидит, облокотясь на стол, засунув пальцы в бороду, и читает газету. Если написанное ему по душе, то он гладит рукой бороду, если нет, то ерошит ее.

Читает, читает. Вдруг бросает взгляд на кровать и грозно говорит:

— Что за базар развели там, в кровати?

— Не заснуть! — пищат в ответ девочки. И замирают, притаившись, как мышки. Они уже знают, что за этим последует. Возможно, что эти хитруши оттого и болтали и хихикали.

Отец подходит к кровати, стягивает с девочек одеяло, разглядывает его со всех сторон и говорит:

— И верно, Деда-Усыпалы не видно. Пусть сперва он залезет под одеяло, а потом и вы ляжете.

Отец забирает дочерей из кровати. Усаживает Эрику на одно колено, Алийде на другое. Девочки сидят, съежившись, точно птенчики. Прижимаются к теплой шее отца.

— Чем же нам заняться, прежде чем Дед-Усыпала заберется под одеяло?

— Споем! — не задумываясь, предлагают девочки.

— Споем, говорите. Но только потихоньку... Дед-Усыпала старик капризный, громкий голос может совсем отогнать его.

— Ладно, потихоньку, — шепчут девочки, уткнувшись носами в отцовскую бороду, от которой так славно пахнет мылом и табаком.

И отец начинает петь. Тихим, басовитым голосом, словно дождь стучит по крыше. Разные мотивы, что приходят на память. Иные со словами, другие просто — тара-ра. Колени отца покачивают девочек в такт песне.

Проходит немного времени. У Эрики и Алийде глаза закрываются. Теперь у матери нет иной заботы, как отнести девочек в постель на попечение Деда-Усыпалы.

Присматривая за сестрами, Арнольд иногда попадал в такие истории, что при воспоминании о них его и сейчас еще дрожь пробирает. Так было в тот раз, когда Эрика чуть не попала под поезд.

Они, как всегда, гуляли втроем. Арнольд был за старшего. Подошли к железной дороге. Видят, издали приближается поезд. Над ним тучи дыма.

Куда им было спешить? Решительно некуда. Но почему-то захотелось непременно пробежать железнодорожное полотно перед поездом.

Там был переезд. Рядом с рельсом был проложен еще другой, поуже, чтобы не засыпало щебнем и камнями.

Девочки побежали, стуча по битому камню. И каблучок Эрики застрял между рельсами. Она его тащит, тащит... Но никак не может вытащить.

А поезд все ближе и ближе. От пронзительного гудка замирает сердце.

Алийде заревела. Эрика-то была еще мала и глупа. Она ровно ничего не понимала.

Что же будет!

И вдруг Арнольда осенило. Он бросился развязывать шнуровку на ботинке Эрики. Счастье еще, что в спешке шнурок не затянулся узлом.

Только Эрику оторвали от рельса, как поезд промчался. Машинист глядел, высунувшись из окна, и сердито грозил кулаком.

Весь обратный путь Арнольд дрожал, как в лихорадке. Не мог даже слова вымолвить. Только у порога дома он взял с сестер обещание молчать. Если мать и отец узнают о случившемся, прогулкам конец. Ну а о том, как Эрика потеряла сапожок, он сам что-нибудь придумает.

Да... Алийде, Эрика. А теперь? Теперь Алийде в тюрьме. За попытку свержения государственного строя. Пожизненно. В двадцать лет пожизненно.

Эрика вовремя скрылась от полиции. Товарищи спрятали девушку в пароходный бункер. Так сестренке посчастливилось добраться до Петрограда.

...Лийза замечает, что Арнольд не слушает ее. Она с досадой машет рукой и ворчит:

— Вот человек! Спрашивает, а слушать не слушает. Иоханна, собери свои вещи и марш спать! Утром и палкой не выгонишь из постели.

Арнольд оборачивается и примирительно кладет руку хозяйке на плечо.

— Не сердись, тетушка Лийза! Вспомнилось наше житье-бытье на Ласнамяэ. Да и вообще в голове путаница...

— Еще бы, конечно, — смягчается хозяйка.

Арнольд стоит, прислонясь к стене, и смотрит, как Иоханна прибирает школьные принадлежности.

Воспоминания, вызванные фотографией, рассеиваются. В мыслях настойчиво всплывает сегодняшний день. И завтрашний.

Неожиданно Арнольд пересекает комнату.

— Иоханна! У тебя есть карта Эстонии!

Арнольд схватил карту, которую Иоханна хотела сунуть в ранец.

— Подари ее мне!

Иоханна вопросительно смотрит на отца. Он разувается, сидя на краю кровати.

Отец поднимает голову. Останавливает свой взгляд на Арнольде, не выпуская при этом из рук ботинок.

Глядит на него, глядит. Склоняет голову, чтобы расшнуровать другой ботинок, и произносит:

— Дай уж, раз человеку нужно. Как-нибудь достанем новую.

Иоханна отдает карту. Арнольд аккуратно складывает ее и прячет в карман.

— Спасибо! Нужно. Очень нужно!

— Ну да. Известное дело... Только мала она. Не все места и дороги на ней обозначены, — бормочет Густав.

— Все лучше, чем ничего! — улыбается Арнольд.

Отец сидит, свесив ноги, на краю кровати. Сидит и о чем-то тяжело думает. Встает, сбрасывает ботинки, ставит их под кровать и выходит на кухню.

Лийза возится у плиты.

— Послушай... Уложи этот бараний окорок в мешок. Дай с собой Арнольду, — говорит Густав жене.

Кочерга замирает в ее руке. Лийза смотрит на пылающие угли. Над ними подрагивают прозрачные синевато-лиловые язычки пламени.

Копченый бараний окорок. Это еда на многие вечера. Можно растянуть и на месяц, если нарезать очень тоненькими ломтиками. А картошки еще побольше.

— Ну, что ты раздумываешь? — спрашивает отец.

Кочергу вынимают из плиты. Дверцу ее медленно закрывают. Мать продолжает сидеть на чурбане.

— Сам знаешь, о чем раздумываю.

Пол на кухне холодный. Густав поочередно поднимает босые, начинающие мерзнуть ноги.

— Ну да... Знаю, как не знать, — тихо произносит он. — Но все-таки уложи.

Жена поднимает глаза на мужа. Смотрит на его болезненно бледное и исхудалое лицо, сгорбившуюся от работы спину. Глядит на большие костлявые ноги, которыми он переступает с места на место, стоя на холодном полу.

Сколько дратвы прошло через руки Густава. Сколько подметок подбил он за свою жизнь. Хорошо, что хоть на это у него пока хватает сил.

Лийзе вдруг представились березы, посаженные на дворе. Вот Густав копает, вот отдыхает, опираясь на лопату. Грудь его тяжело подымается и опускается. Он ловит ртом воздух. Капельки пота стекают в усы.

— Что ты мучаешься? Пойди приляг. Отдохни, — вспоминает она свои слова.

И слышит ответ Густава:

— Успею... А появится на этих березках листва... Подрастут. Радостно будет на них смотреть.

Такой уж этот Густав.

Лийза встает.

— Ступай в комнату. Ноги не застуди. Опять будешь надрываться от кашля.

Но Густав не уходит.

Лийза понимает, почему не уходит муж.

— Глупый ты человек! — ворчит для виду Лийза. — Непременно надо дать им чего-нибудь с собой.

Она отправляется в кладовую.

Густав быстро залезает в постель.

Гости уже лежат на тюфяках.

Иоханна укладывается у себя на кухне. Мимо нее проходит мать, поправляет одеяло и задувает лампу.

Теперь можно заснуть. Но удастся ли?

3

Усталость не всегда приносит сон. Горькие мысли сильнее усталости, они заставляют человека бодрствовать. Роятся и роятся. Возникают и исчезают. И утомленный мозг не может ни одну из них додумать до конца.

Огромная печь пышет жаром. По-домашнему шуршит под боком солома. Царит полная тишина. Очень нужен подкрепляющий сон. Но сон не идет к Арнольду. И напрасно он мысленно внушает себе: «Я должен сейчас же заснуть! Утром надо встать рано. Неизвестно, когда еще опять удастся поспать. Я сейчас же должен заснуть. Я должен сейчас же...»

Но помимо воли перед ним снова встает все тот же тревожный вопрос. Почему? Почему провалилось восстание?

Все эти дни они неустанно искали на него ответ. И когда в сараях делили меж собой кусок хлеба. И когда прятались, зарываясь в солому. Спорили, горько упрекали себя и других. Ссорились друг с другом и снова мирились. Но окончательного, предельно ясного ответа так и не находили. Слишком мало было у них сведений о других боевых отрядах. Что им удалось, а чего они не успели сделать, и что получилось не по плану, предусмотренному штабом. Не знают они и о том, что происходило во вражеском лагере. Нельзя было решать, зная о действиях лишь тех, кто рядом, на той же улице, шел в атаку с винтовкой или гранатой.

— Когда мы все соберемся вместе, тогда и выясним все до конца. Я совершенно уверен, что такое совещание будет, — сказал Эдуард, заканчивая один из подобных споров.

Арнольд и Освальд тогда ничего ему не ответили, но и они и Эдуард подумали:

«Сколько участников сможет собрать такое совещание? Ведь эстонская буржуазия забирает сейчас всех, подчистую. Кого только поймают — со всеми счеты сведут».

Читая сегодняшние газеты, полученные от Тупса, они сами убедились в этом. Уже начали действовать военно-полевые суды. Арестовано более 120 рабочих.

Арнольд проводит рукой по лбу, точно хочет отогнать назойливые мысли. Он снова и снова внушает себе: «Я должен сейчас же заснуть! Я должен сейчас же заснуть...»

Но наконец убеждается, что это не поможет. Мысль работает напряженно и не подчиняется приказу.

«Ладно, я не могу найти причину провала восстания. Но почему нашему отряду не удалось захватить военное министерство? Ведь я сам был командиром. Почему не удалось?»

И снова события прошедших недель встают перед его глазами.

Осень. Поздняя осень того же, 1924 года.

Облачный и пасмурный вечер. Время от времени встречный ветер бросал в вагонное стекло мелкие дождинки. Изредка мелькал за окном одинокий мерцающий огонек.

В вагоне сидело пять человек. Они обменивались скупыми фразами о дожде, об осени. Больше молчали, вглядываясь в царящую за окном темноту.

Поезд замедлил ход.

Один из мужчин поднялся. За ним поднялись остальные.

В узком тамбуре вагона они стояли, тесно прижавшись друг к другу.

— Прыгаем! — скомандовал тот, кто встал первым. Он открыл дверь.

Ветер и брызги дождя ворвались в вагон.

Мимо двери вагона медленно проплывали щебень железнодорожной насыпи и пучки поблекшей травы.

Первый выждал секунду, стоя на ступеньках вагона, махнул рукой и скрылся из виду.

Остальные четверо сразу же последовали за ним.

Кто удержался на ногах, кто скатился по земляной насыпи в канаву. Никто не пострадал — поезд полз черепашьим шагом.

Долго брели они по мокрой трясине. Наконец добрались до леса.

Проводник остановился, указал рукой и произнес:

— Теперь ступайте туда. Осталось совсем немного. И не поднимайте шума. Придете как раз вовремя, когда патруль уже пройдет. Ни пуха ни пера!

Дальше пошли вчетвером. Арнольд и три его спутника. По мокрому от осенних дождей лесу, по болотному кустарнику, по колено проваливаясь в грязь.

На пути встретился широкий ручей. По всей вероятности, глубокий. Они остановились. Не решались сразу входить в воду.

— Может, найду что-нибудь подходящее... — промолвил Арнольд и скрылся в темноте.

Вскоре он вернулся, таща за собой упавшее дерево. Крона, как гигантский хвост, волочилась следом.

Из дерева получился мост.

Спутники Арнольда колебались: еще оступишься на скользком и сучковатом стволе и с ног до головы промокнешь. Уж лучше попробовать перейти вброд. Хоть верхняя часть тела останется сухой.

Арнольд первым ступил на дерево. Прошел, не поскользнулся.

Следом за ним перебрались остальные.

Снова кустарник.

Теперь они продвигались очень осторожно. Старались избегать валежника и не шлепать по лужам.

Скоро должна быть граница. Проволочное заграждение и патруль.

Шли прислушиваясь. Напрягали зрение, но сумерки и дождь окутали окрестность серой мглой.

Послышались голоса. Мужчины разговаривали друг с другом. Смеялись. Постепенно удаляясь, голоса замолкли совсем.

Проводник рассчитал верно. Именно сейчас по ту сторону проволочного заграждения прошел эстонский пограничный патруль. Он возвратится не скоро. Ему еще надо отмахать несколько километров вдоль границы.

Вперед!

Дрогнуло сердце. Забилось отчаянно. Что с того, что патруль прошел и все как будто спокойно. Могут быть

всякие неожиданности. Ну а как повернут обратно? А что, если именно сегодня следом за первым отправили второй патруль? Может, патрули проверяют. На границе чего не бывает. Что тогда? Тебя схватят. И ты не сможешь выполнить своего задания. Или начнется перестрелка, и тебя настигнет пуля. Опять беда. А в Таллине ждут. Белые бросили за решетку сотни коммунистов. Необходимо заменить их новыми бойцами.

Из мутной вечерней мглы внезапно возникло высокое проволочное заграждение. Колючие линии его слева и справа уходили в темноту.

Лес по обе стороны заграждения молчит. Только дождь шумит в ветвях. Да разве тут разглядишь, если кто-то подкарауливает под деревом! Может быть, и винтовку уже поднял.

Он еще не кричит, не стреляет, ведь пока они на земле государства рабочих.

Люди раздвинули проволоку. Быстро пролезли.

Теперь они шагали по территории буржуазной Эстонии. Это их родина, но здесь каждый пограничник, каждый полицейский имеет право схватить их.

На родине ты чужой. В Советском Союзе — свой.

На этот раз первые шаги пройдены благополучно.

Но лишь за много километров от границы сердце стало биться спокойнее. Вспомнили о табаке.

Путь лежал через Нарву. Но покупать билеты в Нарве было бы по меньшей мере неосмотрительно. Пограничная станция находилась под постоянным наблюдением полицейских шпиков.

Утро застало Арнольда и его спутников в Аувере — на крохотном полустанке. Усталые, голодные и промокшие, они прошли тридцать километров быстрым шагом.

В Аувере, как они и полагали, никому не пришло в голову подозревать их и расспрашивать. По бедной одежде они вполне могли сойти за крестьян или лесорубов. Такие пассажиры здесь не в диковинку.

Хотя ехать надо было до Таллина, они взяли билеты до станции Юлемисте. Ведь и на Балтийском вокзале полиция следит за приезжающими. Береженого бог бережет.

В полутемном вагоне неплохо и вздремнуть. Но не глубоким спокойным сном. Только на несколько минут, чтобы сразу же снова проснуться. Оглядеться. Проверить пассажиров. Нет ли среди, них новых, подозрительных?

С той минуты, как они пролезли через колючую про-

волоку, состояние тревоги так и не покидало их. Охранка усердно работает на своих господ. В полицейских досье на Арнольда и его трех спутников точно описаны все их приметы.

Поэтому Арнольд большей частью держал левую руку в кармане. То, что у Арнольда Хансовича Соммерлинга нет большого пальца на левой руке, наверняка им известно. Эта примета сразу бросается в глаза.

К вечеру они прибыли на станцию Юлемисте.

Перед тем как выйти из вагона, Арнольд тщательно заправил свои курчавые волосы под кепку и нахлобучил ее глубоко на голову.

Не говоря ни слова, мужчины повернули влево, в сторону города. Адрес, по которому следовало идти, был заранее выучен ими наизусть. Улица Хярьяпеа находилась в Пельгулинне, и путь к ней лежал через центр города.

Хотя вечерние сумерки были их верным союзником, первые шаги своего пути они прошли с тревожным чувством. Ладони покрывались испариной, и пальцы сжимали в кармане рукоятку пистолета. Каждый встречный, казалось, смотрел только на них, тревожа своим испытующим взглядом.

Постепенно напряжение исчезло. Пальцы уже не сжимали оружие. Походка стала свободнее. Мужчины обменивались скупыми фразами о своих впечатлениях.

Город был все таким же. Да и что могло измениться здесь за эти два-три года? На Тартуском шоссе по-прежнему тарахтели извозчичьи дрожки на железных рессорах. Таким же едким был смешанный запах провизии, навоза и сена, который ветер доносил с неприбранной рыночной площади у театра «Эстония».

Проходя Вышгород, Арнольд обратил внимание на седые стены крепости. Когда-то эстонцы воздвигали их под бичом своих угнетателей. Сейчас за этими стенами правят свои же, эстонцы, а угнетение осталось.

У кого власть, у того и сила. Национальность здесь ни при чем.

Дом на улице Хярьяпеа, указанный в адресе, оказался двухэтажным. В каждой квартире была одна комната с кухней за перегородкой.

На стук Арнольда дверь открыл мужчина средних лет.

Они окинули друг друга коротким испытующим взглядом.

Три спутника Арнольда дожидались за поворотом лестницы.

— Мы пришли от Эади, чтобы всерьез поговорить о квартире, — сказал Арнольд.

Мужчина кивнул. Взгляд его смягчился, он слегка улыбнулся. Ответ прозвучал сразу:

— Ах так. Да, я знаю, только из этого ничего не выйдет. — Мужчина помолчал и добавил:

— Ну все равно, зайдите на минутку.

Ответ на пароль был правильный.

Дверь за Арнольдом и его тремя спутниками закрылась. Связь с действующими в подполье товарищами была налажена.

Отсюда, из первого звена, каждый получил адрес своей явочной квартиры. Там они свяжутся с новыми товарищами, те принесут задание, а когда надо, вызовут на совещание или на доклад.

Когда они подкрепились и отдохнули немного, все четверо поодиночке вышли на улицу в предрассветные сумерки. Ни один из них не знал, где будет жить другой. По строгим правилам конспирации даже друзья не должны были знать адресов друг друга. В опасной подпольной работе осторожность никогда не помешает.

До посещения явочной квартиры Арнольду пришлось сходить в центр города, на угол улиц Ратаскаэву и Воримехе.

Редакция газеты «Пяэвалехт» находилась в большом здании. Шум печатных станков был слышен даже на улице. В конторе принимались и объявления. Они приносили хозяину немалый доход. Чего только не предлагали в этих объявлениях! Купцы — свой товар, домовладельцы — квартиры, хироманты — свой дар предсказывать будущее. Самое удручающее впечатление производили крошечные объявления, открыто вопиющие о горе бедняка: «Девушка, окончившая гимназию, ищет место прислуги. Согласна на любые условия», «Молодой человек согласен на любую работу», «Пожилая женщина с хорошими рекомендациями умоляет предоставить ей какую-либо работу. Согласна на любую оплату».

Такие объявления появлялись ежедневно целыми столбцами. И чему было удивляться, если за последние пять лет половина фабричных рабочих осталась без работы.

Объявления принимала миловидная девушка.

Арнольд, притворившись смущенным, сунул девушке готовый текст. Объявление было написано печатными буквами, ведь у охранки наверняка имелся образец его почерка.

Девушка прочла:

«Четыре воспитанных молодых человека желают познакомиться с образованными барышнями. Просим сообщить в редакцию этой газеты ответ под номером «93».

Объявление было обычное. Такие печатались часто. Но на сей раз ищущий знакомства был столь симпатичен, что девушка не удержалась и игриво улыбнулась ему. Более того, выписывая квитанцию, она многозначительно заметила:

— Неужели это нельзя сделать иначе?

Арнольд притворился робким и стыдливым молодым человеком. Поэтому девушка не обиделась, когда он, ничего не ответив ей, быстро схватил квитанцию и поспешно выскочил за дверь.

«Ну конечно, если его друзья такие же мямли, тогда нечему удивляться...» — подумала девушка и вновь занялась своей работой.

На улице Арнольд разорвал квитанцию на мелкие кусочки и пустил их по ветру.

Так. Значит, с этим все. Объявление напечатают завтра-послезавтра. Когда газета попадет туда, за колючую проволоку, она сообщит кому нужно, что четыре человека, отправившиеся в ненастный вечер к границе, благополучно прибыли в Таллин. Это подтвердит и число «93» — две последние цифры номера паспорта Арнольда. Так было условлено заранее.

Прошли недели, до предела заполненные опасной работой подпольной организации.

К весне 1924 года положение рабочих в стране стало невыносимым. Коммунистическая партия Эстонии взяла курс на вооруженное восстание. Началась большая и кропотливая работа: надо было подготовиться к вооруженной борьбе. Горячие дни настали для подпольной типографии в Клоога, где печатались газета «Коммунист», листовки и прокламации. В них призывали трудовой народ выступить с оружием в руках, чтобы взять власть в свои руки, и разъясняли, что должен делать «каждый рабочий, матрос, солдат и малоземельный... когда вспыхнут бои

между угнетенными и угнетателями». Так было напечатано в прокламации «Памятка к классовой борьбе».

Партия организовала ряд демонстраций.

Концерт-митинг в зале пожарного депо. О царившем там настроении рабочая газета «Мейе лехт» писала: «Рабочие массы готовы не только требовать власти, но и претворить это требование в жизнь». И во время пения «Интернационала» чувствовалось: «...его поют уже не с прежней спокойной торжественностью — каждая строфа теперь звучит местью к угнетателям, стремлением к борьбе и победе. Такое настроение убеждает, что сейчас нужна только искра, чтобы запалить порох».

Демонстрация на Тоомпеа с лозунгами «Долой республику угнетателей!», «Да здравствует правительство трудящихся!».

Митинг по случаю Международного женского дня, участники которого требовали свержения буржуазного строя.

Первомайская демонстрация и митинг в лесу за Пельгулинном. В нем приняли участие двенадцать тысяч человек. Среди рабочих было много солдат и матросов.

Антивоенная демонстрация. Хотя эта демонстрация была запрещена и улицы запружены конной полицией, на Вокзальном бульваре у Дома рабочих собралось четыре тысячи демонстрантов. Снова красные знамена и лозунги. Снова звучал «Интернационал». Конных полицейских, пытавшихся рассеять толпу, забросали камнями и многих городовых избили.

Все это говорило о том, что народ был готов бороться с буржуазией не на жизнь, а на смерть. Яан Анвельт сказал:

— Если весной мы оценивали возможность нашей победы на пятьдесят процентов, то осенью эта возможность возросла уже до семидесяти пяти процентов.

И партия направила все свои силы на создание боевых отрядов. Вначале они состояли только из трех человек, потом из четырех и пяти... В дальнейшем они выросли во взводы, роты и батальоны... Одновременно доставали оружие: винтовки, пистолеты, гранаты. Сами делали бомбы. Добывали средства первой помощи.

Был разработан план восстания. Какие захватить здания, сколько и куда послать товарищей, кто будет командовать взводами, ротами и батальонами. Тщательно выбирали квартиры, где должны были собираться боевые отря-

ды. В помощь другим городам и поселкам Центральный Комитет послал своих уполномоченных для организации восстания на местах.

Во всей этой подготовительной работе принимал участие и Арнольд. В канун восстания он руководил Коммунистическим Союзом Молодежи Эстонии. Раздавал листовки надежным людям, а они опускали их в почтовые ящики и посылали по почте солдатам. Он часто встречался с товарищем, формировавшим боевой отряд, командовать которым предстояло Арнольду.

На демонстрации и воззвания буржуазия ответила арестами. 10 ноября начался процесс ста сорока девяти коммунистов. Вместе со многими товарищами Арнольда судили и его сестру Алийде. Процесс длился почти три недели. В течение всего этого времени среди рабочих царило необычайно тревожное настроение, предвещавшее близость взрыва. Ждали только сигнала партии. Но начать восстание во время процесса было невозможно. Ведь и буржуазия чувствовала брожение в народе и готовилась к бою. Повсюду была выставлена усиленная охрана.

После окончания процесса, когда буржуазное правительство отменило усиленную охрану, считая, что теперь уже ничего не может случиться, партия решила: «Время настало! Рано утром 1 декабря возьмемся за оружие!»

Последнее совещание на тайной квартире штаба, на улице Тынисмяэ. Последние указания.

Тогда же закончился сбор боевых отрядов во всех двенадцати конспиративных квартирах. При этом соблюдалась строгая тайна. Каждый боец получил повестку явиться в назначенный час в определенное место. Там их поджидал товарищ, обычно женщина. Вдвоем, под ручку, шли они, как запоздалые прохожие, к своему сборному пункту. Сборные пункты помещались в квартирах надежных товарищей. На столах стояли стаканы, бутылки с водкой, лежали колоды карт.

Жены, матери и невесты рабочих всю эту ночь бродили по городу, сопровождая бойцов на сборные пункты.

Выполнив это задание, те же смелые женщины начали разносить в чемоданах, картонках и сумках боевое оружие.

И за всю эту ночь не было ни одного провала.

Закончилось совещание штаба. Арнольд вышел на улицу.

Утро было сырое, туманное. Дальние дома тонули в серой мгле. Вместо шпилей Карловской церкви были видны лишь две срезанные пирамиды.

Улицы были пусты. Еще час, другой, и рабочие заспешат на фабрики. К этому времени боевые отряды должны захватить все жизненные центры города и разгромить опорные пункты буржуазии. Тогда уже и рабочие массы могут присоединиться к боевым отрядам. К фабрикам были посланы агитаторы. Они должны были разъяснить положение пришедшим рабочим и призвать их на защиту народной власти.

Арнольд прибавил шагу. Все ли в порядке на сборном пункте на улице Лай?

Да. Люди были на месте. Квартира полна табачного дыма. На столе стаканы с горячим чаем. На плите шумит чайник.

Арнольд пересчитал бойцов. Двадцать три. Некоторые все-таки не явились. Почему? Струсили в последний момент? Или что-нибудь помешало? Но что может помешать в этот решающий час! Только болезнь или несчастный случай.

Послышался условный стук.

В комнату вошла девушка с чемоданом. В нем было оружие. Гранаты, несколько пистолетов. Последняя партия. Больше ждать уже неоткуда.

Мало. Чертовски мало. На всех не хватит. Конечно, добывать оружие — дело нелегкое. Штаб все время ломал над этим голову. Ведь сегодня на сборных пунктах собрались не десятки, а сотни людей.

— Ну, не беда! — произнес мужчина в фуражке. Его руки, покоящиеся на столе, говорили о профессии рабочего-металлиста. — В военном министерстве и заберем. Каждый получит по пулемету.

Кто засмеялся, а кто остался серьезным.

Многие уже раньше имели дело с гранатами и пистолетами. Они показывали другим, как надо обращаться с такими непривычными предметами.

«Эх, нужно было заранее обучить людей владеть оружием! — подумал Арнольд. — Конечно, обучать сразу весь отряд в условиях подпольной работы трудно. Но по одному, по два...»

Один из бойцов подошел к Арнольду и сказал:

— Я ненадолго уйду. Знаю еще одного человека. Он нам здорово пригодится. Владеет оружием.

Приказ главного штаба категорически требовал: со сборного пункта никого не выпускать! Чтобы не возникло ненужной, вызывающей подозрения суеты.

Арнольд колебался, вопросительно взглянул на организатора отряда. Тот только пожал плечами.

Человек продолжал настаивать.

— Я живо управлюсь. Это недалеко. На Каламая. Он мой хороший приятель.

Каждый боец был на вес золота. Поэтому Арнольд решил отпустить его.

— И ты пойди с ним! — обратился он к организатору.

Они ушли. Уже на первом перекрестке мужчина, так стремившийся на Каламая, остановился.

— Обратно я не вернусь!

— Что? Предатель! — воскликнул его спутник.

— Нет. Я никого не выдам. Пойду домой. У меня семья.

— Думаешь, у других ее нет?

— Пусть. Каждый отвечает за себя.

Мужчина повернулся и пошел.

Провожатый сжал в кармане пальто револьвер. Он много лет уже знал этого человека, знал его близко. Вместе с ним бастовал, распространял листовки, участвовал в демонстрациях. Конечно, все это было совсем непохоже на вооруженный штурм военного министерства.

Провожатый вновь опустил оружие в карман.

Нет. Стрелять нельзя! Да и рука не поднимется.

Когда Арнольд услыхал о случившемся, он рассвирепел:

— Беги обратно! Приведи этого изменника, пока он все не разболтал.

Но товарищи сказали, что делать этого не стоит. Вряд ли он возвратится. А принуждение и угрозы могли только привлечь внимание жителей дома. И к тому же он не из предателей. Люди знают его. Только из-за жены и двух маленьких дочерей он бережет свою шкуру.

И Арнольд успокоился.

Ничего не поделаешь, люди бывают разные. Есть трусы, есть колеблющиеся, есть покорные; они перебиваются с хлеба на воду, но на решающий шаг сил у них не хватает.

А как эта история повлияла на других? Не поколебал ли дезертир их твердость?

Но на лицах товарищей Арнольд не заметил перемены

настроения. Лица людей замкнуты, строги. Наверно, у каждого на сердце тревога, но она была запрятана глубоко и ей не давали воли.

Наступило время детально объяснить отряду предстоящую операцию. Всю внутреннюю планировку здания военного министерства Арнольд ясно себе представлял по данным разведки. Сейчас его палец чертил на столе невидимый план.

Вот вестибюль. А тут стоит часовой. Его надо бесшумно снять. Отсюда идет лестница в коридор. По ней надо пробраться до самого караульного помещения. Затем распахнуть дверь и направить винтовки на солдат. Если окажут сопротивление, пустить в ход бомбы. Там оружия хватит на всех. В это же время вторая группа поднимется по широкой лестнице наверх. На последнем этаже находится военная центральная телефонная станция. Ее надо быстро захватить. Тогда буржуазия не сможет вызвать на помощь офицеров и верные ей войсковые части. Первыми в министерство войдут двое. Когда с часовым будет покончено, в здание ворвутся все, у кого есть оружие...

— У дверей министерства, со стороны улицы Пикк, стоит часовой. Прежде всего надо его обезвредить.

Теперь он должен был сказать, кому поручает эту задачу. Но не сказал. Не смог. Что-то протестовало внутри его.

Когда идешь в атаку, все ясно. В тебя стреляют, и ты стреляешь в ответ. Но снять часового, это дело совсем иное. Ты подкрадываешься к нему. А он стоит, ничего не подозревая. Может быть, и он до призыва в армию был рабочим на какой-нибудь фабрике. Ты подкрадываешься. И бьешь! Изо всей силы. Ведь ты должен обязательно убить. Иначе провалится вся операция.

Кому сказать: иди и убей?

Взгляд Арнольда скользил по лицам товарищей, собравшихся у стола.

Он знал сердца, горячие сердца рабочих. Знал, что эти большие тяжелые руки так нежно умеют ласкать своих жен и детей.

Кому сказать?

Злясь на свою нерешительность, Арнольд резко объявил:

— Часового сниму я сам. Пеэтер пойдет со мной.

Пеэтера Лемпо он знал еще со времени Союза молодых пролетариев.

Было пятнадцать минут шестого. Час выступления настал. В эту минуту все боевые отряды двинулись по улицам города.

Некоторым бойцам жены сшили воротнички и манишки в виде форменного френча, как у солдат буржуазной армии. Когда они надели шинели да еще солдатские фуражки, никто не мог усомниться в том, что они настоящие солдаты.

Наружная дверь дома выходила в крытый проход. Шесть «солдат» выстроились в колонну по два.

Между ними поместилась группа людей в штатском. Создалось впечатление, что ведут арестованных. Тогда, в период массовых арестов, такие колонны на улице не вызывали подозрений.

До угла улиц Лай и Пагари всего несколько минут ходьбы.

Арнольд и Пеэтер пошли снимать часового.

Как только они скрылись за углом, один из «солдат» и один «арестованный» поспешно вошли в главный вход военного министерства. Как будто солдат доставил туда какого-то подозрительного типа.

Те, у кого было оружие, остались ждать у входа. Они ворвутся в здание, когда двое вошедших снимут часового.

Остальные стояли чуть поодаль, скрываясь за Олайской церковью. Дожидались оружия, которое удастся захватить в министерстве.

— Руки вверх! — скомандовали двое, подойдя к часовому. — В городе власть трудового народа! Отдай ружье или присоединяйся к нам!

Слова вместо ударов. Это было ошибкой.

Часовой пустил в ход штык. Раненный, боец в шинели, упал. Товарищ его на мгновение замешкался. Как же теперь бесшумно снять часового?

А тот воспользовался этой заминкой. Нажал кнопку сигнала тревоги и с криком кинулся в здание министерства.

Бойцы выстрелили ему вслед. Не попали. Впрочем, это было бесполезно. Весь караул был уже на ногах. Внезапное нападение не удалось.

Услышав выстрелы, бойцы, ожидавшие на улице, ринулись в здание.

Распахнулась дверь караульного помещения.

Оттуда раздался залп.

— Бутылки! Взрывчатку! — взволнованно крикнул кто-то из нападающих.

Дверь сразу захлопнулась.

Но бутылки уже полетели.

Арнольд и Пеэтер поспели сюда, когда за дверью караульного помещения взорвались две бомбы. Пока они снимали часового, прошло порядочно времени.

Со стен падала штукатурка. Коридор окутало дымом и пылью.

— Что вы наделали?! — кричал Арнольд. — Рано кинули! В закрытую дверь! Что это даст?

Караульные под прикрытием дыма ворвались в коридор.

Затрещали выстрелы.

Вот теперь бы и понадобились самодельные бомбы. Те самые бомбы, которые так бесполезно взорвались в коридоре, пробив полуметровую дыру в бетонном полу.

Другая часть боевого отряда взбежала по лестнице наверх. Так было предусмотрено в плане восстания. Где-то там находилась военная телефонная станция. Ее следовало захватить. Лишить противника возможности отдавать приказы и распоряжения.

Внизу, в коридоре и комнатах, гремели пистолетные и винтовочные выстрелы.

Бой продолжался.

Во дворе затрещал пулемет. Двое солдат пробрались туда из окна караульного помещения. Они держали под прицельным огнем окна верхних этажей и лестничные пролеты.

Атакующие центральную телефонную станцию не смогли продвинуться вперед.

Заработал второй пулемет. Стали доноситься выстрелы из окон противоположного дома.

Пуля задела лоб Арнольда. Он упал. Тотчас же вскочил. Вытер залившую глаза кровь, стал снова стрелять.

Но бой был проигран. Под таким огнем с малым количеством людей ничего нельзя было сделать.

Бутылки со взрывчаткой должны были разнести караульное помещение. Это не удалось. Теперь перевес был на стороне охраны. И в людях, и в оружии, и в позиции.

Боевой отряд рабочих отступил, рассыпался в разные стороны.

Арнольд вместе с Пеэтером вернулись на сборный

пункт. Сдернув со стола скатерть, Арнольд оторвал от нее кусок, чтобы перевязать кровоточащую рану.

Пришли и другие. Все вместе они побежали по улице Пикк-Ялг на Тоомпеа, где сражался отряд, штурмовавший дворец президента. Может быть, отряд нуждался в помощи.

На полпути, когда отряд Арнольда поднимался в гору, им повстречался мужчина, бежавший в одном нижнем белье.

— Стой!

Мужчина нырнул в ворота Люхике-Ялг.

Пули уже не могли настичь его.

Лицо беглеца было знакомо Арнольду. Адъютант президента. Бросил своего кормильца на произвол судьбы! В одних подштанниках спасал свою шкуру.

Значит, атака на Тоомпеа прошла успешно.

«Почему же у нас получилось так?!» — Сознание пронзила мысль, которая впервые легла тяжким грузом самообвинения.

И это «почему» мучило Арнольда все эти дни. Если по дороге на Тоомпеа его успокаивала надежда, что там наступление прошло успешно, то после провала всего восстания это чувство стало в десять раз тяжелее и мучительнее. Теперь это «почему» уже касалось всего восстания в целом.

Арнольд поворачивается на другой бок. Тихонько шуршит в тюфяке солома. Тепло от печки ласково греет лицо.

Сон, сон! Где же ты?

Что надо было сделать иначе?

Может быть, штурмовали сразу слишком много объектов? Силы были раздроблены. Может быть, у руководителей и командиров было мало военного опыта? Особенно в условиях уличных боев. Так же, как у него самого и его подчиненных. Может быть, была слабая связь между штабом и боевыми отрядами? Не знали, где требовалась помощь, не знали, что предпринять дальше. Ведь Ленин учил, что восставшие должны только наступать, а не обороняться. А наши взяли аэродром и вместе с перешедшими на их сторону солдатами стали ждать, что же будет дальше. Такой большой отряд очень пригодился бы в городе.

И почему к нам не присоединились массы рабочих? Но

ведь лучших из них мы привлекли в боевые отряды и таким образом оставили массы без руководителей.

Да. Восстание требует большого искусства.

Арнольд снова поворачивается на другой бок.

Рядом с ним ровно и спокойно дышит Освальд.

Спит ли он? А Эдуард?

И Арнольду кажется невероятным, что они могут сейчас спать. Ведь их наверняка тоже мучают мысли. Те же самые, что и его? Неизвестно.

Может быть, Освальд вспоминает о том, как он, преодолевая голод, учился в Петрограде? Может быть, думает о скрипке, которую всегда мечтал иметь и на которой при случае охотно играл в том же Петрограде. Удивительный парень! Он может часами сидеть в компании, не проронив ни слова. Только слушает.

Углубясь в книги, он совершенно забывает об окружающем. Однажды он так задержался в библиотеке, роясь среди книжных полок, что его чуть не заперли. А сам он потом улыбнулся и сказал:

— Ну и что же? Это было бы совсем неплохо. Ночь напролет только читай!

Освальд как-то рассказывал, что в их семье тяга к учению у детей проявлялась с малых лет.

Самым способным считался его старший брат Иоханнес. После занятий он мог слово в слово повторить все, что говорил учитель. Легко закончил он школу военных фельдшеров. Но случилось так, что неправильное лечение стоило ему жизни. Брата Рудольфа тоже нет больше в живых. Он успел все-таки стать летчиком и даже проявить себя на фронтах гражданской войны. А теперь покоится в украинской земле. Воздушные катастрофы, как и другие беды, всегда происходят неожиданно.

А может быть, Освальд вспоминает, как он еще в детстве вместе со своей матерью стоял на посту во время совещания подпольщиков. Неподалеку от ржаного поля собирал землянику и старательно осматривался кругом. Ведь на этом поле отец и другие тартуские рабочие обсуждали, как улучшить свою беднящкую жизнь.

Наверно, тогда и началось формирование его характера.

Где-то вдали, должно быть на шоссе, слышен гул автомобиля.

Арнольд поднимает голову, настораживается. Шуршит солома, заглушая слабый рокот. Потом все смолкает. Наверно, проехал мимо.

Кто это так поздно?..

«О-о, если можно было бы завтра так же уехать! — мечтает он. — Быстро, к самой границе... Там теперь наверняка усилили охрану. Но уж мы-то пройдем! Если так не удастся, то прорвемся! У нас на троих три пистолета и триста патронов. Этого должно хватить».

Наконец его веки тяжелеют.

Мысли бредут лениво, и все завтрашние заботы рассеиваются. Взору его открывается отчий дом. Возле дома березы, совсем как у Тупсов. Только они больше, старше. Кора на них огрубела и потрескалась.

Он притаился за самой большой и далекой от дома березой. Перед домом на скамье сидит отец. Мать стоит рядом с ним. Что-то говорит. Трогает его за плечо, точно хочет разбудить. Потом направляется к двери.

А он, Арнольд, продолжает скрываться и не смеет подойти ближе. Никто из родных не должен знать, что он возвратился в Эстонию. Обменяли, мол, на белых, арестованных в России, и все. Железный закон конспирации во время подготовки к восстанию. Если ты отдал себя народу, то родные должны подождать. Кто это сказал? Не могу вспомнить.

Так и простоял там до самых сумерек, скрываясь за стволом березы. Видел, как мать зажгла в комнате лампу. Видел, как встал отец и, устало шагая, переступил порог дома.

Нелегко ему. Трое детей, а в доме пусто. Всех разыскивают.

Отец-то как-нибудь переживет. А мать?

Потом Арнольд вынул из кармана нож и вырезал на стволе березы буквы «А» и «С».

Заметили их родители? Поняли, что он побывал дома? Что в мыслях своих посидел вместе с ними на скамье перед домом. Потом вошел в комнату, подержал стекло от лампы, когда мать зажигала фитиль. Сел с ними за стол.

Поняли они или нет?

Может быть, и лучше, если они ни о чем не догадываются. Пусть думают, что сын в России и ему ничто не угрожает. Тогда останется надежда когда-нибудь увидеть его.

Наконец сон овладевает его усталым телом.

И вдруг в подклети залаяла Самми. Лай сменился злобным рычанием.

В ту же минуту неистово застучали по входной двери. Словно в тихом доме загремели грозовые раскаты.

4

Арнольд вскакивает с постели.

Что это, сон? Или подвели постоянная настороженность и напряженные нервы?

Он ощущает рядом плечо Освальда.

Нет, этот шум не приснился. Освальд тоже не спит.

Злобно рычит собака.

Скрипит кровать. Раздается высокий, взволнованный голос Лийзы:

— Господи... Кто это там колотит в дверь? Среди ночи...

Босыми ногами шлепает она по полу. Задевает в темноте стул. Шуршит спичечный коробок, и комната освещается. Крошечное пламя подрагивает под лампой, зажигает фитиль и, накрытое стеклом, горит спокойно.

Снова стучат в дверь. И не робко, костяшками пальцев, как сделал бы тот, кто смущен своим поздним визитом. Стоящий за дверью требовательно дубасит кулаками. От стука глухо сотрясается весь дом.

Лийза набрасывает пальто и идет на кухню.

Арнольд идет вместе с ней. Освальд и Эдуард ждут на пороге комнаты.

— Кто там? — испуганно спрашивает Лийза.

— Полиция. Откройте!

«Вот к чему собака-то выла...» — мелькает в голове Лийзы.

Внезапно страх ее исчезает. Чему быть, того не миновать. И Лийза уже ворчит с неподдельным недовольством:

— В такую позднюю пору. Где это видано. Обождите немного. Не могу же я раздетой...

А сама выжидательно смотрит на Арнольда, стоящего рядом с ней.

— Впусти их, — шепчет Арнольд. — И открой пошире вон ту кухонную дверь.

Лийза начинает возиться с дверью.

— Свет тушите! — шипит Арнольд, обращаясь к Освальду и Эдуарду.

Когда Лийза выходит в сенцы, в доме воцаряется кромешная тьма.

Остается еще крюк наружной двери. Лийза приподнимает его и распахивает дверь настежь.

На пороге двое мужчин. В пальто и мохнатых шапках. Из-под пальто видны высокие сапоги. У обоих правая рука в кармане.

Лиц их Лийза не видит. Луна спустилась низко и светит за их спинами.

— Чужие в доме есть? — спрашивают с порога.

— Нет здесь никого. Все свои... Ребенка разбудите!

В голосе Лийзы ни тени испуга. Это голос поднятого с постели человека, чей ночной покой ни с того ни с сего нарушен.

— В вашем доме должен быть Арнольд Соммерлинг! — заявляет один из пришедших.

— Никого чужих здесь нет, — упрямо повторяет Лийза. — Если желаете, войдите в дом и посмотрите сами.

Хозяйка не успевает пропустить их, как ее уже отталкивают. Держа пистолет наготове, один из полицейских входит в сенцы. Другой вплотную следует за ним.

— Зажгите в комнате свет! — успевает только скомандовать полицейский, когда из темной кухни раздаются выстрелы.

Лийза прижимается к стенке сенцев.

При свете луны видно, как один из полицейских хватается за щеку, но все же стреляет в ответ.

Застонал и другой вошедший. Прижимает руку к плечу. Отступает на двор.

Первый снова стреляет. Но из кухни ему отвечают таким градом пуль, что и он удирает.

Лийза, пошатываясь, идет на кухню.

В комнате стоит едкий запах порохового дыма.

— Иоханна! Доченька! — кричит мать.

Ответа нет.

С протянутыми перед собой руками мать ощупью пробирается к кровати дочери. Она пуста, но еще хранит тепло.

— Доченька! Где ты? — вскрикивает Лийза.

Обе наружные двери распахнуты настежь. Арнольд осторожно проходит в сенцы. Рука его тянется к дверной ручке.

Тотчас же со двора, со стороны берез, раздаются выстрелы. Как будто отзываясь на этот сигнал, пули ударяют и по противоположной стене дома. В комнате со звоном разбивается стекло. Это пуля пробила тонкий дощатый ставень.

Они окружены.

Арнольду удается захлопнуть наружную дверь и закрыть ее на крючок.

— Иоханна! Где ты? — кричит Лийза, шаря в темной кухне по кровати и под столом.

Во дворе вновь раздаются беспорядочные выстрелы. Они слышатся то со стороны горницы, то со стороны входной двери.

— Держитесь подальше от окна! — командует Арнольд.

— Где моя дочь?

Забыв об опасности, мечется по комнате Лийза.

— Наверное, побежала на чердак, — отзывается отец.

Освальд удерживает хозяйку за руку. Слова его звучат мягко и успокоительно:

— Да, я вспомнил... Когда раздались выстрелы, кто-то пробежал мимо меня. И хлопнула дверь.

— Пойду посмотрю. И ты, отец, ступай за мною, — зовет Лийза.

Арнольд с ожесточением кричит:

— Прорвемся! Их не так уж много!

В доме вдруг наступает тишина. Только в клети Лийза ищет Иоханну:

— Дочка! Доченька!

Кажется, кто-то отозвался.

— Спускайся, Иоханна! Ты там озябнешь! — зовет мать приглушенным голосом.

Арнольд повторяет нетерпеливо:

— Ну, попробуем! Согласны?! До леса отсюда недалеко. Вы же знаете.

Лийза возвращается на кухню:

— Не хочет спускаться с чердака. Боится, бедняжка. С головой зарылась в солому... за трубой.

Густав бормочет:

— Ладно, пусть остается там. Здесь внизу скорее может попасть...

Арнольд снова призывает:

— Ну, попробуем?

Он всегда отваживался на невероятно смелые и дерзкие поступки.

Однажды полиция учинила обыск в Доме рабочих на улице Карья. Сестры Алийде и Эрика как раз находились там. Их и забрали в участок. Наверное, хотели выудить что-нибудь о деятельности рабочих. Девчонки, дескать, испугаются полицейского мундира.

Арнольд узнал, что его сестер задержали. Недолго думая, он направился прямо в полицейский участок. Уверенно вошел в помещение.

Алийде и Эрика сидели в первой половине комнаты. За высоким деревянным барьером, уткнувшись в какие-то бумаги, восседал хмурый полицейский.

— Где начальник отделения? — гаркнул Арнольд таким громовым голосом, словно все здешние начальники были у него в подчинении.

И когда начальник вышел из своего кабинета, Арнольд резко спросил:

— Почему вы забрали моих сестер? Еду они не приготовили, комнату не убрали. Когда же они успеют справиться с этим, если вы держите их здесь?

Начальник отделения повел бровями и поглядел на Арнольда каким-то странным, мутным взглядом.

— А кто вы такой?

— Арнольд Соммерлинг.

— А-а! Это имя мне знакомо... Очень приятно, что вы сами явились сюда.

— Отпустите девочек.

— Ах, значит, девочек... этих, что там... Ну да...

У человека в мундире явно назревал какой-то план. Он провел рукой по лицу и потер виски, напряженно думая. Потом начал постукивать пальцами по барьеру.

Постукивал... постукивал... Наконец план созрел. Он хитро улыбнулся и проговорил с подчеркнутой вежливостью:

— Девочек мы отпустим. А вы, вы останетесь здесь! Так сказать, заложником. А? Согласны, господин Соммерлинг?

Арнольд сразу подал сестренкам знак: разрешение получено, не мешкайте!

Девочки вскочили, и только их и видели.

— Итак, обмен состоялся! — произнес начальник, опираясь грудью о барьер. — А вас мы спокойненько поместим на ночь в камеру... Завтра утром и потолкуем.

Он схватил со стола бланк, на котором было напечатано «Протокол», и многозначительно помахал им перед лицом Арнольда.

— Сегодня мы с вами разговаривать не будем, потому... потому, что я немного устал. Так-с.

Из-за барьера пахнуло спиртным. Теперь понятно, почему у начальника мутные глаза.

— Вы пьяны! — выпалил Арнольд и ударил ладонью о барьер. — С такими чиновниками я разговаривать не собираюсь!

Сказал и, чеканя шаг, вышел из помещения.

Первой мыслью начальника было приказать полицейским вернуть парня. Но что-то остановило его. А кто его знает, этого сумасброда Соммерлинга?

«Такому рот не заткнешь. Еще пожалуется моему начальству, что от меня пахло водкой во время исполнения служебных обязанностей... Да и оснований для ареста Соммерлинга тоже ведь нет... Правда, его словам не очень-то поверят. Но могут возникнуть разные толки, расспросы. Очень это надо...»

И двери участка остались закрытыми. Никто не погнался за Арнольдом и его сестрами.

На углу улицы поджидали Алийде и Эрика.

— Ну? — воскликнули девочки.

— Что ну? — рассмеялся Арнольд. — Отправляйтесь домой и готовьте суп.

— А ты? Куда ты пойдешь?

— В кино! — ответил Арнольд и помахал рукой.

Алийде подумала: «Какое кино... Наверно, опять в свой союз. Это его жизнь!»

Да, так было тогда. Теперь обстоятельства совсем иные. Но Арнольд со своим отчаянным характером и сейчас ищет возможность наступления.

Освальд смотрит на Эдуарда. Что скажет самый старший и самый бывалый?

— Не стоит, — советует Ээди. — На дворе светло и снег. Мы у них будем как на ладони. Точно мишени.

— Да, это верно, — отзывается болью в сердце Освальда. — Держать обе двери на прицеле просто. Иначе говоря...

— Ты хочешь сказать, что это наш последний бой! — договаривает Арнольд.

В темноте не видно лица Эдуарда. Но, должно быть,

оно, как обычно, невозмутимо и строго. Потому и голос не меняется, когда он отвечает:

— Если не случится чуда, то да!

Словно обдало холодом... Вероятно, это «да» было у каждого из них в подсознании. Они старались заглушить его. Но когда Эдуард осмелился произнести это вслух, неумолимая правда ужаснула их. Мысль отчаянно заметалась в поисках выхода, но так ничего и не нашла... кроме чуда!

— Черт возьми, я еще им... — кричит Арнольд, ударяя стволом парабеллума по стене.

Где-то рядом причитает хозяйка.

Слышен глубокий и мягкий голос Освальда:

— Нечего надеяться ни на бога, ни на черта... Только на себя да на свои сто патронов.

На дворе раздаются выстрелы. Одинокие, будто случайные. Но они предупреждают и грозят.

Со звоном рассыпается на кухне оконное стекло. Пуля пробивает ставень и ударяется в печь.

— Ложись! — командует Арнольд.

Мужчины мгновенно кидаются на пол.

— У них только пистолеты! — догадывается Арнольд. — Стену из них не пробьешь, потому они и стреляют в окна.

И через минуту вдруг спрашивает:

— Как эти сволочи выследили нас?

Никто не отзывается. Вопрос повисает в воздухе.

Придется защищать вход в клеть, кухонную дверь и окно, и еще два окна в горнице. Они распределяют между собой, кто какой займет пост.

Освальд останется в горнице. Арнольд возьмет на себя кухню. Эдуард должен отправиться в клеть. Оттуда дверь ведет на двор. На расстоянии пятнадцати-двадцати шагов, прямо напротив двери — длинный сарай. Так что полицейские могут стрелять только из-за его углов. Стрелять в дверь прямо они не могут. Значит, это самая безопасная позиция, и охранять ее, следовательно, легче всего.

— Почему туда должен идти я? — вдруг спрашивает Эдуард, после того как Арнольд и Освальд взяли на себя кухню и горницу.

— Пойдешь! — заявляет Арнольд.

— И не спорь! — добавляет Освальд.

Этот молчаливый сговор свидетельствует о полном единомыслии Арнольда и Освальда. Может быть, они вспо-

мнили жену Ээди. Хрупкую и молчаливую, которая так бережет своего серьезного и замкнутого мужа. Однажды кто-то заметил, что жена Амбоса ни за что не переживет утраты мужа. Сникнет и увянет, как слабый стебелек, оставшийся без опоры.

Хотя Ээди сам объявил, что это их последний бой, все-таки хочется надеяться на счастливый исход. Чудес, правда, не бывает, но кто знает, чем все это может кончиться? Ведь через клеть можно даже бежать. Сарай, прачечная и рядом сад.

Шаря руками по полу, Арнольд и Эдуард делят патроны. У них одинаковое оружие — парабеллумы.

Ээди продолжает упрямиться.

Он сразу разгадал намерение своих товарищей.

Но Арнольд прикрикивает на него, и Ээди уходит. Сейчас не время для споров.

Выстрелы щелкают по ставням и стенам. Но раздаются они не так уж часто. Можно надеяться, что там не более пяти-шести человек.

Перестрелка продолжается уже минут двадцать.

Наконец со двора кричат:

— Сдавайтесь! Иначе мы пустим в ход пулеметы. Изрешетим всех!

Значит, к ним прибыло подкрепление.

Трое отвечают из дома выстрелами.

Со двора опять угрожают пустить в ход пулеметы.

Точно одержимая, бежит Лийза из кухни в сенцы, оттуда на двор, к березам. Бежит по снегу и кричит, размахивая руками:

— Не стреляйте, варвары! У меня в доме ребенок! Не стреляйте, будьте людьми!

Из-за ограды выбегают мужчины, хватают отбивающуюся хозяйку и тащат за собой.

— Что вы делаете? У меня в доме дочь... Отпустите! Отпустите!

Мужчины сильнее ее. Лийзе с ними не справиться.

Один из полицейских злобно кричит:

— Да, теперь у тебя ребенок! А когда укрывала бандитов, не думала о ребенке!

Освальд приникает глазом к стеклу. Через щель в ставне видна Лийза, отбивающаяся от полицейских. Помочь ей невозможно. Стрелять нельзя — попадешь в хозяйку. Голос Лийзы смолкает. Должно быть, ее потащили в соседний двор на допрос.

Возле кровати скрипят половицы. Это Густав встает с постели.

— Хозяин, забирай дочку и уходи! — кричит из кухни Арнольд.

— Я и сам так думаю, — бормочет Густав. — Не за себя боюсь. Ребенка жаль.

— Конечно, отец, конечно! — соглашается Освальд. — Нельзя, чтобы Иоханну ранили.

Густав, шаря рукой по стене, направляется в клеть. Со двора снова кричат:

— Последний раз! Сдавайтесь! Пулеметы наизготовке! У вас все равно нет другого выхода!

Густав поднимается по лесенке на чердак. Ступает на вторую приступку.

— Иоханна, сойди вниз!

Выжидает немного и снова зовет:

— Иоханна, где ты? Иди сюда!

— Боюсь. Стреляют, — раздается испуганный голос девочки. Иоханна, притаившись за трубой, вся зарылась в сено. Она в одной рубашке. Девочка дрожит от холода и, конечно, от страха. Сено кажется таким мягким и надежным укрытием, и о том, чтобы сойти вниз, даже думать не хочется. И сейчас еще мерещатся вспышки огня, которые разбудили ее, напугали и заставили спрятаться здесь.

Нет, нет. Туда, вниз, она не пойдет! Здесь большая и прочная печная труба. Здесь сено, которое скроет и защитит ее.

— Иди же! Уйдем отсюда! — уговаривает отец. — Пошли во двор. Мать уже пошла.

Начинают трещать пулеметы.

— Сойдите с лестницы! Ложитесь! — кричит отстреливающийся в дверях клети Ээди.

Соскользнув с лестницы и не попадая ногами на перекладины, Густав валится на земляной пол. Ползет на кухню, оттуда в горницу. Зачем? Этого он и сам не знает.

Пули пробивают стену. Свистят над ним. Грохот выстрелов заглушает и путает мысли.

«Зачем я приполз сюда? Ведь Иоханна осталась наверху. Как я заберу ее вниз? Не забрать мне. Бедный ребенок».

Вдруг Густав вспоминает, что именно понадобилось ему в горнице.

«Возьму здесь одеяло. Снесу дочке. Может быть, она и права. Труба защитит ее». — Густав подползает к кровати. Стаскивает одеяло на пол.

Пулемет замолкает.

— Теперь я пойду... с одеялом... — И Густав поднимается.

Кто-то командует на дворе:

— Огонь понизу!

— Та-та-та-та...

Боль. Внезапная жгучая боль.

Густав оседает на пол. Тихо стонет от боли. Пальцы стискивают мягкое одеяло. Комкают его. А сам он словно проваливается куда-то.

Ах, если было бы за что ухватиться. Тогда легче перенести боль.

Он шарит вокруг себя руками. Изо всех сил сжимает ножку кровати.

Пулемет замолкает.

Из комнаты доносится слабый стон Густава.

Освальд подползает к нему. Проводит рукой по его впалой груди.

— Тупс...

— Жив... буду? — шепчет хозяин в ухо Освальду.

А что давала ему эта жизнь? Одни заботы. Провонявшие пóтом башмаки, болезни, всю жизнь мучившие его. А Иоханна? Что ожидает ее? И березы у колодца. Им еще надо подрасти, пока корни не укрепятся в земле...

Большая радость видеть Иоханну, смотреть, как она учится, помогает матери, слышать, как она смеется... Разглядывать на деревьях светло-зеленые ушки распускающихся листиков... Эти радости сильнее будничных забот. Ради них стоит переносить тяготы жизни.

— Потерпи, папаша Тупс. Я тебя накрою одеялом. Согреешься, — бормочет Освальд. Что же ему остается сказать?

— Оссь! Оссь! — кричит из кухни Арнольд. — У тебя все в порядке? Не ранило?

— Со мною ничего. Вот только папаша Тупс...

Арнольд торопится в горницу. Наталкивается на стол. Спотыкается о соломенные тюфяки.

Густав уже не стонет. Биения сердца почти не слышно. Арнольд закутывает в одеяло обмякшее тело папаши Тупса и оттаскивает его в угол комнаты. Разве одеяло поможет ему? Но что он еще может сделать?

— Идут! — кричит Освальд, наблюдая сквозь щели ставен.

На фоне белого снега ясно видны черные силуэты наступающих цепью полицейских. Они совсем не остерегаются. Просто идут. Очевидно, уверены, что пулемет сделал свое дело.

— Погодите же! Нас еще трое! У каждого достаточно патронов.

Гремит залп — два парабеллума и браунинг.

Падают два черных силуэта.

Цепь останавливается.

Полицейские бросаются в снег. Уползают в канаву и за пригорки.

5

Тишина. Абсолютная тишина. Но обманчивая. Смертоносному оружию дали отдых, но угроза осталась. И она бьет непрерывным огнем. Прорывается сквозь стены дома, проникает в самое сердце. От нее нет спасения. Она бьет без промаха.

Вновь пришлось встретиться лицом к лицу с властью и законом буржуазии.

Снова перед Арнольдом угрозы и смерть — то, на чем держится эта власть.

И в который раз! С самого детства. Тогда это были лишь ребяческие стычки. Словно прелюдия к делам более серьезным и трудным. И они не заставили себя долго ждать. Арест. Суд. Тюрьма. Наконец наступила и кульминация — 1 декабря и сегодняшняя ночь. Решающий момент — кто кого?

Тогда, во время первой стычки, Арнольду было всего восемь лет. Отец работал на бойне. Жили они на Ласнамяэ, в одном доме с директором бойни. Семья директора занимала большую квартиру на втором этаже. А Соммерлинги ютились в подвальном помещении в комнате с плитой. Коричневая дверь в длинном полутемном коридоре вела в их комнату.

В доме жило много детей. Поэтому во дворе всегда царили шум и суета. Но сын директора обычно держался в стороне. Очевидно, дома ему запретили играть с другими ребятами...

Как-то весенним вечером, после дождливого дня, во

дворе снова расшумелась детвора — играли в пятнашки.

Босые, грязные ноги не разбирали дороги — в лужах поднимались волны, в грязи отпечатывались ступни и пальцы.

Раздался стук наружной двери. Обычно детвора не обращала на нее особого внимания. Но теперь шум и беготня прекратились разом.

На лестнице стояло видение, в котором не сразу можно было узнать директорского сына.

На голове у него — красно-белый гусарский кивер с золотыми нашивками и блестящим черным козырьком. Над высокой тульей — восхитительный белый султан, такого не было даже на шляпе у директорской жены.

На плечах этого видения красовались широкие золотисто-желтые эполеты. Они были круглые и окаймлялись крупной бахромой, свисавшей чуть не до локтя.

Всю эту роскошь дополняли сверкающая серебром портупея, кушак с блестящей пряжкой и болтавшаяся на боку золотая сабля в ножнах.

Те, кто стоял с замызганными ногами, такого еще в жизни не видывали. Словно онемев, ребята замерли на месте.

Гусар стал спускаться с лестницы. Медленно и с достоинством, как подобало. При каждом движении от него исходило сверкание, совсем как от рождественской елки. Ножны его сабли лихо звенели о ступеньки.

Он спустился во двор к плебеям. Стал прогуливаться, не произнося ни слова. И к чему тут слова! Он и так поразил всю дворовую ватагу.

Опустив руку на эфес, он долгое время щеголял так, лавируя между лужами.

Зрители ждали, чем кончится этот парад. Первое потрясение прошло. Самые бойкие отважились подойти поближе, чтобы потрогать блестевшие на нем украшения.

Директорский сын остановился. И как раз около Арнольда. Выхватил из ножен саблю. Солнце ослепительно заиграло на серебристом металлическом лезвии. Длинная желтая кисточка шикарно заплясала в воздухе.

Сабля вычерчивала над головами ребят круги, словно выискивала место, куда опуститься. Тогда-то гусар-рубака и ткнул в грудь Арнольда другой рукой. В ту же секунду блестевшее лезвие просвистело вниз...

Вряд ли директорский сын осмелился бы ударить сво-

ой красивой саблей. Ведь она может согнуться! А вот угрожать — на это он был горазд.

Арнольд отскочил, серебристое острие пролетело мимо его плеча.

В следующий момент этот картонно-жестяной вояка уже лежал в луже, распластавшись на животе. Сабля его погнулась, эполеты сбились. Кивер упал в лужу и наполнился мутной водой. От белоснежного султана остался лишь пучок грязных перьев.

Как удалось Арнольду опрокинуть нападающего, этого никто не смог потом объяснить. Уж очень быстро все произошло. Одно запомнилось ясно — прежде чем упасть, красно-белый кивер несколько раз перевернулся в воздухе.

Следующее действие этой истории разыгралось несколько позже, в квартире господина директора. Событий здесь было немного. Действие отличалось краткостью.

Господин директор заявил отцу Арнольда, что тот должен строго наказать своего сына.

Так как ни одна из сторон не нуждалась в длительных объяснениях, то на сей раз на этом дело и кончилось.

Весь вечер отец Арнольда был хмурым. Расспрашивал сына о случившемся. Но до ремня не дотронулся.

На следующее утро было разыграно третье действие. Оно тоже оказалось коротким и бедным событиями.

— Мальчишка наказан? — нахмурившись, спросил директор.

— Нет. Я не нахожу, что мой мальчик виноват, — ответил отец Арнольда.

— Ах так?!

— Да, так!

Поскольку директор на это ничего не ответил, отец Арнольда попрощался и вышел.

Шли дни. Семья Соммерлинга не тешила себя напрасными надеждами. Было ясно, что последнее действие еще впереди. Так и случилось.

Ханса Соммерлинга уволили с работы. Повод был по тому времени обычным: раз доходы предприятия сократились, то рабочих приходится увольнять. Никто и не пикнул. У кого власть, у того и сила, у кого мошна, у того и право. А у отца Арнольда не было ни того, ни другого. И ему пришлось искать новую работу.

Когда Арнольд закончил начальную школу на Тартуском шоссе, отец определил его в торговую школу. И не

потому, что заметил у мальчика склонность к коммерции. Отец считал, что деловые способности проявятся позже, когда сын одолеет коммерческую науку. Где-нибудь в конторе все же легче и чище, чем на фабрике или в поле.

А Арнольд был доволен своим новым училищем потому, что его товарищ по начальной школе Георг Креукс поступил туда же. Георг Креукс был другом Арнольда. У этого паренька были поразительные идеи относительно мировых проблем. Он уверял, например, что царя со всеми его министрами надо гнать в шею.

Слова Георга на первых порах пугали. А иногда даже смешили. Ведь у царя армия и жандармы, их всех так просто не прогонишь! Но было в словах Георга и свое очарование. Каждый мальчишка мечтает о великих делах, хотя не всегда понимает, к чему они приведут и как за них взяться.

Арнольд знал, что эти мысли Георг перенял у своего старшего брата, Яана. Но это ничуть не умаляло авторитет Георга. Скорее поднимало, оттого что через Георга и он мог приобщиться к знаниям Яана. И вообще Яан казался ребятам человеком необыкновенным, хотя бы потому, что он был матросом торгового корабля.

Коммерческая деятельность ни капельки не интересовала Арнольда. А вот чтение интересовало и увлекало. Долгие часы он проводил, уткнувшись в книжку.

А сколько гороху уходило на это чтение! Пока глаза его были устремлены в книгу, он обязательно должен был что-нибудь грызть. Читает, не поднимая головы, а рука тем временем то тянется ко рту, то отправляется в карман. Спору нет, орехи или изюм куда вкуснее гороха... Но они не росли на грядке и стоили денег, так что приходилось довольствоваться горохом.

Любовь к чтению не пропала у Арнольда и в коммерческом училище. Даже как будто окрепла. Особенно увлекали его книги про путешествия и истории о неизведанных мирах. Из школьных предметов самыми интересными казались география, естествознание и история. И языки. Русский, немецкий, английский. Сколько новых книг можно будет прочесть когда-нибудь на этих языках!

Все эти мало-помалу накопляемые знания искали выхода. Поэтому Арнольд и не пропускал случая поспорить. В школе и дома. Со сверстниками и со взрослыми. И редко случалось, чтобы он уступил кому-нибудь в этом искусстве.

Весной 1915 года коммерческое училище было закончено, и юный бухгалтер нашел место в москательной лавке. Она помещалась на Тартуском шоссе, как и многие другие учреждения, с которыми Арнольду пришлось столкнуться в жизни.

В обязанности Арнольда входили разные канцелярские работы. Он занимался ими в крохотной задней комнатке, которую важно именовали конторой.

Хотя Арнольд добросовестно выполнял свою работу, хозяин поглядывал на него косо. Объяснялось это просто. Молодой человек держал себя слишком независимо для своей ничтожной должности счетовода. Затевал споры и к тому же нередко побеждал хозяина, что не могло нравиться последнему.

— Этакий голодранец! У самого карманы пустые, а нос задирает! Надо ему указать его место! У таких слишком развито чувство чести. Если бы можно было его запятнать... Тогда он притихнет!

В это утро Арнольд явился на службу в плохом настроении. Жалованье еще когда выдавать будут, а у него в кошельке позвякивают лишь какие-то жалкие гроши. Дома денег просить не хочется. Сам ведь уже зарабатывает. Сразу скажут, что это ты, парень, не по одежке протягиваешь ножки. Транжиришь.

Возможно, в этом и была доля правды. Но, с другой стороны, правда и то, что прожить на эти деньги не проживешь, а умереть и без них можно.

Вешая свое пальто, Арнольд увидел, что «старик» уже на месте. Котелок, пальто с бархатным воротничком и галоши занимали свои обычные места. Удивительно, зачем это он так рано пожаловал?

Снимая пальто, Арнольд заметил под хозяйскими галошами зеленоватую бумажку.

Ну и ну! Арнольд не поверил своим глазам: царская трехрублевка! Прямо под галошей хозяина. Словно поджидала, чтобы Арнольд подобрал ее и сунул в карман.

И правда! Чего тут раздумывать? Найденные деньги принадлежат тому, кто их нашел.

Но... ведь эта бумажка явно выпала из кармана пальто с бархатным воротничком. А если потерявший известен, то у нашедшего нет на нее никаких прав.

Странная история. Ведь «старик» такие бумажки в наружном кармане не носит. За это можно головой поручиться. Только во внутреннем кармане и в бумажнике.

И тут Арнольд ясно представил себе, что произошло здесь, у вешалки до его прихода.

«Старик» снял пальто, скинул галоши и вынул из внутреннего кармана бумажник. Порылся в нем, нашел трехрублевую бумажку, сунул под край галоши и... Где же он сейчас подкарауливает?

Арнольд поднял трехрублевку и быстро распахнул дверь в лавку.

Хозяин был здесь. Его чуть не стукнуло резко открывшейся дверью. Он перебирал какие-то гайки, сваленные на полке. Несомненно, он только что стал заниматься делом.

— Доброе утро, — сказал Арнольд. — Нашел на полу под вашим пальто деньги. Они, наверное, выпали из вашего кармана.

Хозяин кисло улыбнулся. Он не удивился, не обрадовался и даже не поблагодарил.

— Ах так... А может быть, они ваши?

— О нет! — улыбнулся Арнольд и положил кредитку на прилавок перед самым носом «старика». — Все мое состояние умещается в кошелечке для мелочи! Да и там места предостаточно. Позвякивают себе. Одна другую догоняет.

По правде говоря, это было не совсем так. Шла мировая война, и металлические деньги вышли из употребления. Исчезли золотые и серебряные рубли. Люди припрятали их. Что ни говори, драгоценный металл! Потом дошла очередь и до серебряных и даже медных копеек. Вместо серебряных все чаще подсовывали бумажные с портретом царя. Их привозили из типографии листами и отрывали нужное количество, как почтовые марки. Медные копейки заменяли, правда, бумажки побольше, но к бумажкам с царским портретом их не приравнивали. На них был лишь оттиск царского орла и достоинство: 1, 2, 3 или 5 копеек.

Спрятав свою трехрублевку в бумажник, хозяин, сопя, направился в контору. Напялил пальто, надел галоши. Напрасно он так рано пришел. И все из-за этого вздорного и заносчивого мальчишки!

Долго у этого лавочника Арнольд не выдержал бы. Но случилось так, что ему не пришлось искать новое место. Царская армия призвала в свои ряды Арнольда Соммерлинга для защиты России и царского орла. Из бухгалтера он превратился в артиллериста таллинской береговой обороны.

Солдатская служба совпала со свержением царя и Октябрьской революцией. Для молодого солдата это было время серьезных, глубоких размышлений. Он прочитывал без разбору все, что касалось революции и диктатуры пролетариата. То, что восхваляло ее, и то, что порочило. Он с жадностью прислушивался к спорам товарищей, не пропускал ни одного сообщения и слуха о революционных событиях. Сравнивал их с рассказами своего товарища Георга, чьи убеждения, зародившиеся в годы учебы в коммерческом училище, становились все яснее и тверже.

Кое-что солдату береговой обороны удалось додумать до конца, кое-что стало яснее. Но многое оставалось еще туманным, непонятным.

В феврале 1918 года Арнольд снова смог облачиться в гражданскую одежду. Он стал гражданином оккупированной немцами Эстонии. Шли месяцы. Год подходил к концу. Части Красной Армии вместе с эстонскими коммунистическими стрелковыми полками освободили от оккупантов и эстонских белогвардейцев город Нарву.

Власть в Нарве перешла к Эстляндской Трудовой Коммуне.

Освобождение Эстонии продолжалось. Но буржуазия выслала против частей трудового фронта свои войска. Началась гражданская война.

Власти и обстановка менялись с необычайной быстротой. Арнольд старался разобраться в событиях. Сердце чувствовало, что власть трудящихся — это своя власть... Когда в Таллине состоялась демонстрация против буржуазного Временного правительства, ее разогнали немецкие войска. Волк волка не сожрет! Но волей народа никто не интересуется. Все буржуазные страны пытаются поставить пролетарскую Россию на колени.

Наступил 1919 год.

Однажды утром, бесцельно бродя по городу, Арнольд встретил Георга. Он мог поклясться, что товарищ узнал его. Однако Георг сделал вид, что не заметил Арнольда. Ускорил шаги и свернул в первый закоулок.

Удивленный Арнольд поспешил за ним. Они не виделись более трех лет. Сразу после окончания коммерческого училища Георга призвали на службу в царскую армию и отправили на фронт. Арнольд не мог понять, почему Георг теперь избегает его.

Завернув в закоулок, Арнольд увидел своего друга. Тот шел медленно и даже разок оглянулся, словно звал за

собой. Арнольд прибавил шагу, и тут Георг неожиданно скрылся в подворотне.

Они встретились во дворе за сараями.

— Ну что же ты... — горячо начал Арнольд. Но Георг велел говорить тише.

— Я теперь здесь личность нежелательная. Многие господа радостно потирали бы руки, если бы удалось поймать меня, — тихо пояснял он причину своего странного поведения.

— Ах вот как... понятно, — пробормотал Арнольд, хотя в самом деле слова друга казались ему непонятными. Ведь он не мог знать, что Георгу дано задание организовать коммунистическую пропаганду в эстонских военных частях и что он является руководителем военной секции при Центральном Комитете партии.

— Это хорошо, что мы встретились. Я сам хотел разыскать тебя, — поспешно добавил Георг. — А чем ты занимался эти годы?

Арнольд коротко рассказал ему о работе в лавке, о службе в царской армии и о том, что сейчас он без работы.

— Гуляю, живу на отцовские гроши и решаю мировые проблемы, — с улыбкой закончил он.

— И что же ты надумал? — продолжал допытываться Георг.

— Да что тут думать? Республика республикой, а свободы днем с огнем не сыщешь.

— Ты, значит, считаешь, что такая власть не для рабочих?

Арнольд нерешительно кивнул головой.

Легкая усмешка пробежала по лицу Георга. Он взял Арнольда за лацканы пиджака, посмотрел ему прямо в глаза и спросил:

— Значит, ты все еще только кивальщик?

— Как кивальщик?

— Так же, как в училище. Всегда соглашался со мной, кивал, и все.

— Что же мне остается делать?

— Пора бы уже самому знать!

— Что ты крутишь? Говори прямо.

— Значит, догадываешься?

— Ну если и так, что тогда?

— Тогда... пойдешь с нами или нет?

Вопрос в лоб заставляет задуматься. Одно дело рас-

суждать, думать, сочувствовать, другое — активно вмешаться. И ответ Арнольда прозвучал неуверенно:

— Сердцем я давно уже на стороне рабочих.

— И больше ничего? Я вижу, ты все такой же.

— Нет, Георг. Не совсем. Я очень много читал. И что-то во мне изменилось. Иногда чувствуешь, будто не хватает воздуха, и тогда хочется взяться за дело. Только никак не найти, за какое.

— Так поступай хотя бы в порт на работу.

Поговорили еще о том, о сем и стали прощаться.

— Послушай! — вспомнил Арнольд. — Ты сказал, что разыскивал меня. Было что-нибудь важное или просто так?

Георг, прощаясь, еще раз тряхнул его руку и произнес:

— Вот это и было!

Вскоре Арнольду удалось получить место счетовода в Таллинском порту.

«Портовая шпана!» — вот так, с презрением, отзывался высший класс Эстонской республики о тех, кто окружал теперь Арнольда.

И верно, в порту собрались люди, которых не везде встретишь.

Раньше водились там только забулдыги и кабацкие драчуны, тупые силачи и опустившиеся чиновники — те, кто только и мог что таскать ящики да мешки. А теперь страшная безработица пригнала сюда немало умных и способных людей, принимавших активное участие в рабочем движении.

Вообще-то порт был местом, где люди с трудной судьбой находили свой скудный кусок хлеба. Им терять было нечего. И поэтому они никого не боялись.

На первых порах нового счетовода приняли за интеллигентного молокососа, над которым можно было безнаказанно потешаться. Но так как молодой человек в долгу не оставался и зачастую побеждал своих противников, то мало-помалу отношение к нему изменилось.

Этому способствовали случайные беседы.

В день получки компания грузчиков устроила выпивку. Кто-то из них стал жаловаться:

— Сунули, точно нищему, какие-то копейки! Работаешь как лошадь, а получать нечего!

— Подложить бы бомбу начальнику порта! — недолго думая предложил один из рабочих.

Этот план вызвал в подвыпившей компании шумное одобрение.

Арнольд случайно проходил мимо. Он остановился и насмешливо спросил:

— А какая вам от этого польза?

— Ого-о! — загалдели грузчики. — Ишь какой умник нашелся!

— Видно, бережет, сукин сын, шкуру своего начальника!

— Не дрожи, тебя мы трогать не станем! Продолжай протирать свой зад!

Но Арнольд неожиданно подошел к ним ближе, облокотился о ящик и заговорил:

— Ну, скажем, вы уберете своего начальника. Придет новый, а ваших нищенских копеек от этого не прибавится.

Такая перспектива заставила рабочих призадуматься.

— Но, черт побери, тогда сведем счеты с самым главным в нашем государстве! — запальчиво крикнул кто-то и угрожающе потряс при этом увесистыми кулаками, словно намереваясь сейчас же выполнить свою угрозу.

— Ну а это что вам даст?

Среди грузчиков поднялся шум. Выходит, что этот молокосос высмеивает даже такое замечательное предложение.

— Ну, знаешь, многоуважаемый! Ты нашего брата не задевай!

Кулак, приставленный к самому носу Арнольда, как бы прибавлял этим словам вес.

Но Арнольд, отстранив кулак, продолжал:

— От одного избавитесь, сейчас же нового посадят. Будет другой, а копейки в кармане рабочего все прежние.

Над этим стоило подумать. Бутылка снова пошла по кругу. Когда промочили горло, один из них с усмешкой спросил:

— А ну, желторотый, какой же совет ты нам дашь?

Арнольд засмеялся:

— Какой я советчик... А вот рабочие, которые делали революцию, сумели бы вас научить.

Грузчики уже серьезно смотрели на Арнольда. Они точно впервые увидели этого высокого кудрявого парня.

Один из них не удержался:

— А ты, Арнольд, все-таки молодец, черт возьми!

И тут же бутылка с водкой, которая до этого обходила Арнольда, очутилась в его руке.

Все это свидетельствовало о полном признании со стороны рабочих.

Постепенно Арнольд научился понимать замкнутые характеры этих людей, их ожесточенные сердца. Это помогло ему уразуметь истинный смысл слова «пролетариат». Арнольд окончательно понял, что означала мысль, встретившаяся в одной из книг: «Жалка жизнь миллионов, тех, кто несет на своих плечах все тяготы труда на нашей матушке земле и, кроме одежды и куска хлеба, почти ничего не может назвать своим».

Арнольд почувствовал, что его место в рядах рабочего движения. Он пришел к убеждению, что рабочие так дальше жить не могут. И точно последним камнем, завершающим стройное здание его самосознания, явилось страшное преступление, совершенное в Изборске. Этот акт окончательно разоблачил все цели буржуазии. Без всякого суда было расстреляно двадцать пять делегатов съезда профсоюзов. Раз правительство пошло на такие меры, эстонским рабочим добра ждать нечего.

Однажды вечером, когда Арнольд заканчивал в конторе свою работу, к нему явился председатель рабочего союза.

Разговор был коротким и ясным. Пусть Соммерлинг выпишет некоторые данные об оплате труда грузчиков. Правление союза хочет потребовать от начальника порта повышения жалованья, а для этого надо иметь точные сведения о дневном и месячном заработке рабочих.

— Обязательно сделаю, — согласился Арнольд.

И вдруг выпалил:

— Возьмите и меня с собой!

— Пойдем. Неплохо, если в нашей компании будет и конторский служащий.

Через несколько дней представители союза и Арнольд явились к начальнику.

Просторный кабинет и солидная мебель должны были внушать почтение. Это усугублялось и поведением самого начальника. Он сидел, подперев голову, глядя в какие-то бумаги, и не обращал внимания на вошедших.

Арнольд сразу узнал счета, лежавшие перед начальником. Все уже и так ясно. Что еще там разглядывать. Должно быть, капитану просто хочется заставить людей ждать и этим показать свою власть над ними. И эта шикарная

обстановка, и многозначительное молчание начальника рассчитаны на то, чтобы произвести на просителей должное впечатление.

— Что у вас там? — капитан наконец отложил счета и откинулся на спинку массивного кресла. Он мельком оглядел вошедших, оперся пальцами о край стола и, опустив глаза, уставился на свои руки.

Председатель изложил претензии рабочего союза: рабочий день длиннее положенного, сверхурочные не учитываются, жалованье никак не соответствует жизненному уровню...

Капитан томился. Смотрел на часы. Щелкал крышкой часов. Но поскольку председатель, несмотря на эти сигналы, продолжал говорить, капитан махнул рукой и воскликнул:

— Пусть поменьше тратят на водку, тогда хватит!

— Речь идет не о пьяницах. На наше жалованье не проживет и самая расчетливая семья, — спокойно возразил председатель и положил на стол бумагу, где были записаны требования рабочих.

— Значит, не умеют жить! — отрубил начальник и встал из-за стола, показывая, что разговор окончен.

Арнольд почувствовал, как в нем закипает злоба. И прежде чем председатель успел что-либо возразить, Арнольд в запальчивости крикнул:

— А вы сумели бы жить на такое жалованье?

Начальник впервые внимательно посмотрел на пришедших.

— А ты что здесь делаешь? — погрозил он Арнольду пальцем, словно озорному мальчишке, и изобразил при этом на лице удивление, как будто впервые заметил здесь своего счетовода.

— Я не желаю быть с вами на «ты». Прошу вас обращаться ко мне на «вы», — с раздражением заметил Арнольд и добавил: — Вы мне не ответили на мой вопрос!

Спор завершился тем, что капитан оставил делегацию в кабинете, а сам удалился.

Возвращаясь вместе с Арнольдом домой, председатель сказал:

— Зачем с ним пререкаться? От этого не будет толку. Выложил ему свои требования, и баста. Не выполнят — устроим забастовку. Массовое выступление рабочих — это единственное средство, которое заставит их призадуматься. Но... и то не всегда. Да и организация забастовки

дело не шуточное. Тут надо, чтобы все рабочие были заодно.

Арнольд смущенно молчал. Ведь он сам недавно внушал грузчикам, что от пререканий с начальством ничего не изменится. И сам же затеял с хозяином дурацкий спор. А чего добился?

— Да, вот такие дела, — промолвил председатель спустя некоторое время. Взглянул искоса на Арнольда и добавил: — А тебе палец в рот не клади. Видно, не из трусливых.

И забастовка началась. Общая забастовка. Более пяти тысяч таллинских рабочих не вышли на работу. Этот язык поняли даже правители буржуазной республики. Забастовка и брожение в воинских частях заставили призадуматься буржуазию и принудили ее вступить в мирные переговоры с Советской Россией.

Вскоре грузчики доверили Арнольду должность секретаря рабочего союза. Оценили его разум, смелость и инициативу. Да и что скрывать, в правлении союза нужен был образованный человек.

Ему доверяла и на него надеялась и коммунистическая партия. Летом 1920 года Арнольд был принят в ее ряды. Ему исполнилось тогда двадцать два года.

На вопрос Георга: «Пойдешь с нами или нет?» — ответ был твердый. Он как бы занял место Георга, которого в начале июля по процессу 35 коммунистов приговорили к смерти.

В этот день Арнольд, возвращаясь домой, зашел на рынок и купил букет цветов. Дома он поставил их на стол у портрета Георга.

Опустив на колени руки, сжатые в кулаки, Арнольд сидел за столом. С фотографии смотрели задумчивые глаза друга и его слегка улыбающееся лицо.

Казалось, что он хочет спросить сидящего напротив:

— Что же ты, уже хоронишь меня? А семь тысяч бастующих рабочих, окруживших здание суда и требовавших отмены приговора? Неужели ты веришь, что после такой демонстрации буржуазия осмелится тронуть меня и Богданова?

— Не верю. Не хочу верить, — ответил про себя Арнольд.

— Вот видишь! — улыбнулся Георг. — Не забывай, что тысячи сплоченных рабочих — это великая сила.

— Я это знаю, — мысленно согласился Арнольд. — Но мне почему-то захотелось принести тебе цветы... Ты в этом году еще не видел их. Ты ведь с апреля сидишь в тюрьме. Не думай, что я хороню тебя!

— А я и не думаю... Просто ты захотел подарить их мне ко дню рождения. Ты, конечно, не забыл, что через несколько дней мне исполнится двадцать четыре года.

— Вот и хорошо, что ты именно так меня понял, — ответил Арнольд и встал из-за стола.

Буржуазия действительно была настолько напугана забастовкой, что не осмелилась расстрелять Георга Креукса и Владимира Богданова. Расстрел был заменен десятилетней каторгой. Потом Георга обменяли на белых шпионов и спекулянтов и отправили в Советскую Россию.

Арнольд работал не только в рабочем союзе грузчиков, но и в Таллинском Центральном Совете профсоюзов. Там он помогал организовывать забастовки и собрания, произносил пламенные речи. Арнольд был оратором, умеющим увлечь людей. Его любили слушать.

Вскоре ему пришлось столкнуться с правом богачей.

Это случилось, когда он произносил зажигательную речь в кинотеатре «Гранд Марина».

На следующий день Арнольда вызвали в полицию. Речь его пришлась не по вкусу государственным заправилам. Слишком много он говорил о правах рабочих. Да и тон речи был угрожающим. К тому же она была от начала и до конца агитационной, а подстрекать людей к свержению государственной власти запрещается. Оратор даже напомнил о расстрелах рабочих! А это, господин Соммерлинг, оскорбление Эстонской республики!

Разговор закончился тем, что Арнольда оштрафовали на две тысячи марок.

Кругленькая сумма. С помощью товарищей Арнольду все же удалось наскрести ее.

А дальше? Конечно, отнести эти марки в полицию. Но неужели так просто и покорно отнести? Нет. И Арнольд задумал разыграть небольшую шутку.

Прежде всего он отправился в банк и, к удивлению чиновника, попросил его разменять две ассигнации по тысяче марок на бумажки стоимостью в пятьдесят пенни. Набив мешок серовато-синими бумажками, он направился в полицейский участок.

— Пришел уплатить свой штраф.

— Очень любезно с вашей стороны, — саркастически улыбнулся человек в мундире.

Арнольд развязал мешок и высыпал все на стол.

Получился порядочный ворох. Некоторые бумажки даже упали на пол. И неудивительно — все-таки четыре тысячи бумажек!

Полицейский начал пересчитывать их. Считая, он разглаживал бумажки, откладывал на счетах сотни и ворчал на Арнольда. А тот стоял и откровенно смеялся над тем, как мучается блюститель порядка.

Только после того, как все бумажки были дважды пересчитаны, Арнольд отправился восвояси. Здорово он потешился за счет блюстителей закона. Пожалуй, этот поступок был мальчишеским, не имеющим ни особого веса, ни значения. Возможно. Но все же в нем таилась толика презрения к закону.

Наступила осень. Однажды незнакомая девушка явилась к Арнольду и сообщила: завтра вечером в девять часов его будут ждать в Кадриорге у Домика Петра.

В сумерках Арнольд встретил лишь прогуливающиеся по аллее парочки. Ветер срывал с деревьев первые осенние листья. Они летели, кружась в воздухе, и бесшумно опускались к ногам.

Домик Петра ютился под деревьями. Темный, молчаливый. Возле него не видно было ни одного человека.

Арнольд в недоумении остановился. Подождать здесь? Или продолжать прогулку? Наверное, прогулка вызовет меньше подозрений.

Он был уверен, что свидание назначено коммунистами-подпольщиками, его товарищами по партии, из которых он по профсоюзной работе среди молодежи знал лишь некоторых. Конспирация не разрешала, чтобы все члены партии знали друг друга.

Мимо проходили воркующие парочки. Одна из них повернула обратно. Молодой человек и девушка сели на скамейку под деревом. Они смеялись и болтали, как и полагается молодым. Но как только дорожка возле Домика Петра опустела, молодой человек быстро поднялся со скамейки, подошел к Арнольду и поздоровался.

Арнольд сразу узнал его. Это был Ян Креукс. Он встречал его еще в школьные годы. Как-то они даже обменялись незначительными фразами, что случается, когда взрослый мужчина не проявляет особого интереса

к своему юному собеседнику. Теперь Яан был на подпольной партийной работе. Охранка следила за ним.

— Буду краток, — начал Яан и увлек Арнольда за дом, под сень деревьев. — О таких делах долго говорить нельзя. Центральный Комитет поручает тебе организовать союз молодежи, ты известишь об этом Туберика и Мирринга. А кого еще вовлечь, решите сами. Я уже говорил об этом с некоторыми товарищами. Повторяю: союз будет легальным, но он должен воспитать достойную смену всем арестованным и расстрелянным. Что ты на это скажешь?

— Если считают, что мы справимся...

Но Яан решительно развеял сомнения Арнольда.

— Да, считают. Иначе бы я не пришел сюда.

Они еще немного поговорили, и Яан снова подхватил под руку поджидавшую его на скамейке «подругу». Парочка направилась в сторону города. Арнольд же пошел окольным путем в сторону Ласнамяэ.

«Как это хорошо, что организовывать союз предстоит вместе с Туберином и Миррингом, — думал Арнольд, шагая по темному парку. — Лучших соратников и желать нечего».

Несмотря на свою молодость, Вольдемар Туберик уже отсидел в тюрьме буржуазной Эстонии. Она стала для него школой жизни. Его арестовали как сочувствующего коммунистам, когда ему был всего двадцать один год. В тюрьме его поместили в одну камеру с коммунистами. Он видел их мужество, проникался их взглядами на жизнь. И когда Волли через некоторое время выпустили, он из сочувствующего превратился в настоящего большевика. В Доме рабочих на улице Карья он стал теперь своим человеком.

Рихарда Мирринга Арнольд знал еще ближе. Ведь Рихард тоже был выпускником коммерческого училища, как и Арнольд и Георг Креукс. Общаясь со своими школьными товарищами, Рихард познакомился с коммунистическими идеями и полностью принял их.

Арнольд, Вольдемар и Рихард начали вести подготовку к созданию союза, привлекая к своему делу рабочую молодежь. Они созывали собрания, выступали на них, разъясняли задачи союза. Арнольд был прекрасным оратором, поэтому на его долю выпадала значительная часть работы.

В конце октября устав союза был представлен на

утверждение судебных органов. Те всячески тянули, выискивали причины для отказа. Для успокоения господ начальников Арнольд вносил в устав некоторые поправки, лишь бы получить разрешение на открытие этого союза. Наконец комендант города Таллина сообщил, что 5 декабря 1920 года на улице Суур-Карья, 18 разрешено провести первое собрание Союза молодых пролетариев. В конце письма было необычное примечание: «Музыка на открытии запрещается».

— Ну еще бы! — обозлился Арнольд. — Зачем рабочим музыка! Это же привилегия господ!

Он послал министру внутренних дел гневный протест. Как и следовало ожидать, протест остался без ответа. Открытие рабочего союза не должно было быть торжественным и значительным.

Так считал господин министр. Но у молодежи было иное мнение. В воскресенье к десяти часам утра в Доме рабочих на улице Карья на открытие своего союза собралось более трехсот девушек и юношей. Узнав, что музыка запрещена, грянули «Интернационал». Громко, насколько хватало голоса. А триста молодых голосов звучат внушительно!

Возможно, что эти звуки достигли ушей самого господина министра и он корил себя, что не догадался запретить и пение.

Арнольд стал председателем правления Союза молодых пролетариев. Наконец у него было настоящее дело. Проявились и нашли применение его организаторские способности. Выступления, вечера, дискуссии, кружки. Там, где собиралась молодежь, всегда бывал и Арнольд.

На первом торжественном собрании приняли решение войти в состав всемирного Коммунистического интернационала молодежи. А для этого надо было разъяснить всем его цели. Также и тем, кто вступил в союз лишь ради участия в театральном или в спортивном кружках. Ведь наперед нельзя знать, кто из сегодняшних посетителей завтра может стать вожаком!

Кроме бесед и выступлений, нужны были книги, газеты. Необходимо было выпускать и свою газету — орган союза. Но как достать на все это деньги? Может быть, так же, как достают их в буржуазных организациях и союзах? Денежными сборами.

В это воскресенье более пятисот девушек и юношей вышли из Дома рабочих и разошлись по городу. У каж-

дой пары был картонный щит со значками и кружки для денег. Встречный, разрешивший прикрепить себе значок, подтверждал этим, что он готов поддержать союз молодежи, и в кружку сыпались пенни и даже марки.

Вечером, когда подсчитали содержимое кружек, выяснилось, что газету можно издавать хоть сейчас. Из добровольных пожертвований составилась солидная сумма, покрывшая все издательские расходы, включая и стоимость бумаги.

Новую газету решили назвать «Интернационал молодежи».

Арнольд писал прошения и ходил по государственным учреждениям, пока не получил разрешения на ее издание. Вскоре были написаны и статьи для нее.

Казалось, все идет как по маслу. Оставалось только договориться с какой-нибудь типографией. Время шло, а все попытки Арнольда найти типографию оказывались безрезультатными. Некоторые отказывали ему сразу: мол, такую газету они печатать не будут. Другие уклонялись от прямого ответа, придумывая для отказа различные причины.

Обошли все таллинские типографии. Оставались только типографии других городов. Но и там не удалось ничего добиться. Арнольд начал догадываться об истинной причине отказа. И наконец в одной из типографий им откровенно сказали:

— Не старайтесь, министр внутренних дел разослал секретный циркуляр: ни одна типография не имеет права печатать газету «Интернационал молодежи»!

Арнольд проклинал двуличных буржуев, но не сдавался. Не разрешают печатать, так напечатаем сами! Все равно каждый вечер молодежь приходит в союз, принимает участие в кружках, беседует. Так почему бы не напечатать газету самим. Жаль, конечно, что в этом случае тираж ее будет меньше, чем хотелось бы. Министру внутренних дел было послано письмо, в котором говорилось, что газета, размноженная на шапирографе, будет выходить на шестнадцати страницах дважды в месяц.

Но и этот план не дали осуществить.

Дом рабочих давно уже мозолил властям глаза. Очень уж усердно его посещают и слишком явно говорят о том, что рабочий народ должен сам взять власть в свои руки. Коммунистическое гнездо! Зачем Центральному Совету

профсоюзов и прочим рабочим организациям свои апартаменты? Вон!

Промозглым мартовским утром 1921 года вокруг Дома рабочих и в самом доме кишело полицейскими. Выносили имущество рабочих союзов. На улице в сугробах талого снега валялись стулья и столы, шкафы и полки. Порывы ветра трепали подшивки газет и рассыпали по лужам листы бумаги.

Люди, собравшиеся на улице, негодовали.

Конные полицейские теснили толпу. Угрожающе размахивали дубинками, окриками приказывали людям расходиться.

Из дома вынесли длинный стол с ящиками. Арнольд шел сзади и отдавал распоряжения носильщикам. Казалось, будто он здесь хозяин, а полицейские просто организуют переезд этого господина.

Когда стол был поставлен возле другой мебели, Арнольд взял стул и деловито уселся. Он отпер ключом ящик, вынул оттуда кусок кумача. Широкая яркая ткань покрыла стол, свисая до самой земли.

Из другого ящика Арнольд вытащил папки, чернильницу, подставку для ручек и карандашей. Уверенно разложил все по местам, словно начинался самый обычный рабочий день. Только пресс-папье выполняло сейчас несколько необычную роль. Оно было водворено на стопку папок, чтобы ветер не унес листы документов.

Перепалка с полицейскими прекратилась. Людей охватило любопытство. Что этот человек собирается делать? Назревало что-то интересное.

Многие знали Арнольда в лицо и по имени. Некоторым было известно о нем больше: что он является депутатом от рабочих в Городском собрании, что он выступал с речью на вечере рабочих в зале «Валвая», что, будучи секретарем Центрального Совета профсоюзов, он безвозмездно принял на себя обязанности бухгалтера.

Арнольд, казалось, не обращал ни на кого внимания. Он облокотился на стол обеими руками и что-то обдумывал. Потом, словно придумав что-то, удовлетворенно щелкнул пальцами. На столе появились красные чернила и белая бумага. Из кармана жилета — перо для черчения. Его он вставил в ручку вместо обычного пера.

Несколько минут Арнольд сидел, усердно склонившись над столом. Перо кочевало от чернильницы к бумаге, линейка и карандаш равняли строчки. Но вот работа закон-

чена. Арнольд не торопясь уложил свои инструменты. Нашел в ящике две кнопки, встал и огляделся вокруг.

Рядом со столом стояла высокая полка. Арнольд взял исписанный лист, дотянулся до верхнего края полки и прикрепил его.

Большие ярко-красные буквы были видны издали. На листе значилось:

«Всеэстонский Союз молодых пролетариев. Регистрация новых членов».

Окружающие люди, восхищаясь находчивостью Арнольда, засмеялись.

Председатель спокойно вернулся к столу, закурил папироску и углубился в чтение взятой из стола подшивки.

Толпа шумела. Конные полицейские снова принялись орать. Люди отвечали им насмешками.

Начальник полиции, руководивший выселением, был в полном недоумении. Он смотрел то на плакат, то на стол, то на сидящего за столом с папироской Соммерлинга. Какая же статья закона здесь нарушается? Гм... Имеется ли инструкция, запрещающая вывешивать плакаты на улице? Как будто нет. Но, может быть, по закону на улице нельзя сидеть за столом? Вроде и об этом нигде не написано. А не сказано ли где-нибудь, что канцелярия должна работать только в помещении? Тоже нет. Но, черт возьми! Ведь надо же принимать какие-то меры в отношении этого красного!

Как полицейский начальник ни напрягал свою память, он не мог вспомнить ни одной статьи закона, применимой ко всей этой истории, разыгравшейся здесь у него на глазах. Тогда эта опытная лиса решила начать наступление безо всякого плана. Мальчишка этот наверняка попадет впросак. Вот мы и прикроем его канцелярию.

Главный блюститель порядка подошел к столу Арнольда и резко спросил:

— Что это за цирк?

Арнольд с подчеркнутой солидностью поднялся со своего места и с достоинством, сделавшим бы честь любому дипломату, произнес:

— Простите. Всеэстонский Союз молодых пролетариев и регистрация его членов разрешены законом Эстонской республики. Я не понимаю вашего вопроса.

— Понимаете! Я говорю об этих фокусах здесь, на улице.

И полицейский указал на письменный стол и на плакат, прикрепленный к полке.

Толпа за цепью конной полиции настороженно прислушивалась. Шикали на тех, кто кашлял или не замечал, что перед столом, покрытым кумачом, уже появился первый посетитель.

Арнольд продолжал вести себя спокойно и официально. Чувствуя, что толпа ловит каждое его слово, он заговорил громче:

— Эстонское буржуазное правительство решило выселить рабочие союзы из этого дома. Нового помещения нам не дали. А ведь у союзов есть свое делопроизводство, которое должно вестись ежедневно. Где? Видимо, там, куда их временно поместили.

Полицейский понял, что молодой человек старается сдерживаться и сохранять официальный тон. И он решил вывести противника из себя.

— Что вы крутите? Ведь вы под красным флагом занимаетесь открытой агитацией!

Лицо Арнольда озарила смущенная улыбка, словно ему было неловко опровергать глупые доводы своего противника.

— Простите, господин... к сожалению, вы не представились. Вам, конечно, неизвестно, что в Союз молодых пролетариев вступает ежедневно в среднем десять человек. Так что агитационную работу мы считаем совершенно излишней. Ясно, что скоро наш союз будет самой сильной молодежной организацией в Эстонии. И плакат о регистрации новых членов вывешен для того, чтобы люди не уходили разочарованными. Что же касается красного флага, то я его здесь не вижу. Если вы имеете в виду ткань, которая покрывает мой стол, то ее можно закупить аршинами в любом таллинском мануфактурном магазине.

Кто знает, как долго продолжался бы этот диалог между Арнольдом и блюстителем закона, если бы к столу сквозь цепь полицейских не пробрались двое юношей.

— Гляди, вот он, плакат союза! Наконец-то можно записаться! — крикнул один из них.

Другой громко добавил:

— Постой, постой! Видишь, какой-то гражданин в мундире стоит первым. Давай встанем за ним в очередь!

Толпа разразилась хохотом. Арнольд узнал парней. Они уже давно были членами союза. С самого его откры-

тия. Ничего не скажешь, помощь подоспела вовремя. У Арнольда уже начали сдавать нервы.

Что же теперь предпримет господин полицейский?

Ничего. Он попросту ретировался.

Союз молодых пролетариев просуществовал только 129 дней. С 5 декабря по 14 апреля. А количество членов союза выросло с трехсот до тысячи двухсот.

Министр внутренних дел понял, что деятельность этого союза принимает с каждым днем все большие масштабы. Поэтому, согласуя свои действия с планами буржуазного правительства, он вынес решение: союз закрыть, руководителей арестовать! Приказом такого же содержания был закрыт и Центральный Совет профсоюзов. Надеялись, что наконец теперь удастся положить конец растущему революционному движению рабочих.

Начались массовые аресты.

Арнольд вновь лицом к лицу столкнулся с властью толстосумов. Теперь это было серьезнее, чем когда-либо раньше.

Ему удалось скрыться от полиции, но в бумагах полицейской охранки рядом с его именем стояло зловещее примечание: разыскивается.

6

Тишину нарушает крик, раздавшийся со стороны фасада дома, где растут березы:

— Понизу! Огонь!

Заработал пулемет. Свинцовые горошины с треском проникают сквозь бревенчатые стены дома. Злобно свистят и щелкают над полом о поблекшие обои противоположной стены.

— Поверху! Огонь! — кричат во дворе.

Теперь пулемет решетит стены и ставни на уровне человеческого роста.

Есть ли здесь место, где можно укрыться?

Тишина.

Снова та же команда... Огонь поливает боковую часть домика.

На первый взгляд кажется, что тех, кто в доме, может спасти лишь чудо. Но потом выясняется, что есть еще

иная, и гораздо более реальная, возможность, которую следует учесть при обороне.

А именно. Атакующие могут стрелять только с двух сторон: с переднего двора и со стороны дороги. За домом — длинный сарай. Его углы держит под огнем Эдуард. Там пулемет установить нельзя.

К другой стороне дома примыкают каменная клеть и хлев.

Еще одно обстоятельство облегчает оборону. Атакующие не могут стрелять с обеих сторон одновременно. Пулеметные очереди легко пробивают обе стены, и пули вылетают по другую сторону дома. Значит, полицейские могут попасть и в своих.

Арнольд и Освальд должны учитывать все это. Они обязаны предвидеть планы врагов. Поэтому они все время в движении. Переползают из комнаты в кухню, из кухни в клеть к Эдуарду, под защиту каменных стен. Затем снова в кухню. Вскакивают. Прижимаются спиной к печке, что стоит в середине дома, точно маленькая крепость.

Как только пулеметные очереди умолкают, Арнольд и Освальд устремляются к окнам. Сквозь щели ставней глаз различает длинную узкую заснеженную полоску. Там двигаются черные фигуры.

Новая атака.

Заговорил парабеллум Арнольда и браунинг Освальда. Из клети их поддерживает парабеллум Эдуарда.

Хотя полицейские и отстреливаются, цепь атакующих останавливается и падает в снег.

— Ближе! Пробирайтесь ближе к дому! — кричит кто-то сзади. Это, наверное, начальник, который сам благоразумно укрывается в канаве.

Но рядовому полицейскому жизнь так же дорога, как и начальнику. Цепь продолжает отлеживаться.

Защищающиеся стреляют, перезаряжают, стреляют. Нельзя давать передышки лежащим в снегу.

Беспорядочно отстреливаясь, цепь уже второй раз отступает за холмы. Во время первой атаки пули настигли двух полицейских, и это заставило других быть осторожнее. Стрельба утихает. Снова несколько минут передышки.

Освальд отходит от окна. Садится к печке на соломенный матрац. Вынимает из кармана горсть патронов и заряжает пистолет.

Оконные стекла разбиты. Холод проникает в комнату,

пальцы коченеют. Патроны падают из рук и рассыпаются по полу. Обшарив вокруг себя на полу каждый дюйм, Освальд снова собирает драгоценные боеприпасы.

Сквозь рубашку и фуфайку проникает тепло от печки. Освальд еще крепче прижимается к ее теплой стенке. Запрокидывает голову и закрывает глаза...

Почему в доме так тихо?

— Арнольд! — кричит он испуганно.

— Да-да... — слышится из кухни.

— Что ты там делаешь?

— Ищу пулю.

— Какую пулю?

— Ту, что попала.

Освальд вскакивает и бежит на кухню. А сам ворчит:

— Нашел время для шуток! Где ты?

Слышно, как Арнольд усмехается, сидя у печки. Потом говорит:

— Что поделаешь, если иной раз страшное оборачивается смешным. Не волнуйся, футляр от очков принял удар на себя. Он у меня крепкий, из жести. А то действительно могли бы продырявить. Пуля где-то здесь, за поясом.

Освальд облегченно вздыхает.

— Выходит, от твоих очков есть какая-то польза.

— А ты думал! Вот она, пуля. Прошла через стену и была уже на излете. Иначе бы футляр не выдержал.

— Пойду посмотрю, что делает Ээди.

Оссь шарит по стене. Здесь где-то должна быть дверь в клеть. Ручка щелкает. В дверь врывается холод ясной морозной ночи.

— Ээди!

— Что?

Ответ слышится со стороны настежь открытой двери. Со двора падает слабый свет, и за высоким порогом можно разглядеть голову и плечи Эдуарда.

— Как дела?

— Пока неплохо. Отчего ты ушел со своего места?

— Сейчас вернусь.

Дверь снова закрывается. Ээди остается на своем посту один.

Из сенцев слышен голос Арнольда:

— Больно долго они молчат. Что-то придумывают. И не видно ни черта.

Освальд сквозь щели ставен осматривает двор.

Никого не видно. Кажется, что все ушли. Конечно, так думать наивно. Может быть, они надеются выманить людей из домика?

— Который может быть час?

— Кто его знает, — отвечает Арнольд. — Тикали все время на стене, потом что-то щелкнуло, и затихли.

Время тянется, нависает тишина. Шагая от окна к окну, Освальд с горечью думает:

«Сколько пролито крови рабочих — расстрелян Виктор Кингисепп; Яан Креукс, Яан Томп погибли при схватке 1 декабря; убитые в Изборске; жертвы гражданской войны... Всех не перечесть. А сколько трудовых людей брошено в тюрьмы?! На одном только последнем процессе 149-ти коммунистов осуждено на пожизненную каторгу сорок шесть товарищей. На всю жизнь в камеры... Не напрасны же их страдания! Вместо погибших встанут новые и продолжат борьбу. Сколько бы времени ни прошло, но когда-нибудь на Вышгороде на флагштоке Длинного Германа красное знамя будет установлено на веки вечные. Да... Жаль, что никто из нас троих этого не увидит. Нам теперь уже не на что надеяться. И папаша Тупс этого знамени наверняка не увидит. А Иоханна, пожалуй... Где она? Как я мог забыть про девочку?»

Но прежде чем Освальд успевает броситься на поиски Иоханны, раздается пулеметная очередь. Треск выстрелов разрывает тишину. Точно пилой режет по напряженным нервам.

Вторая очередь.

— Стреляют из-за углов сарая, — кричит Арнольд.

Из его парабеллума гремят ответные выстрелы.

Третья очередь. Короткая и злая. Точно атакующий ждал подходящего момента.

Из клети доносится глухой стон. Этот гнетущий звук разносится по всему дому. Кажется, он заполняет все пространство от стены до стены. Вселяет ужас и отчаяние.

Они попали в Эди.

Освальд перебегает к другому окну. Стреляет наобум, для острастки. Снова заряжает браунинг. Опрокидывая стулья, бежит в клеть.

Арнольд из кухонного окна обстреливает оба угла сарая. Наружная дверь клети по-прежнему открыта настежь. За порогом уже не видно ни головы, ни плеч Эди — лишь темные неясные контуры большого неподвижного тела.

То растущий, то стихающий стон свидетельствует о боли, с которой не может справиться даже Эади.

Освальд наклоняется и ползет по земляному, покрытому соломенной трухой полу.

Арнольд методично продолжает стрелять. А со стороны сарая не слышно ни единого выстрела.

Освальд подползает к Эади. Ударяет четвертая очередь.

Пули свистят над головой, щелкают о порог. От порога отлетают острые щепки, попадают в лицо Освальда.

Страшный рев заглушает на минуту стоны Эади. Потом рев затихает и переходит в жалобное мычание.

— В корову попали, — догадывается Освальд.

Он не решается поднять голову над порогом. Где-то там с правой стороны зорко следит человек, который, заметив у двери клети хоть малейшее движение, сразу нажмет на спусковой крючок.

— Эади!

Никто не отзывается. Слышится только слабый стон. Значит, Эади еще жив. Освальд находит руку друга, слабую, безвольную. Пальцы не отвечают на пожатие. Рядом лежит выпавший из рук парабеллум.

Что делать? Как помочь?

Слышно, как Арнольд перебегает от кухонного окна к сенцам. Кажется, что его пистолет бьет отовсюду сразу.

Новая атака? Что делать? Как помочь Эади?

— Горница без защитника. Я должен идти, — точно извиняясь, бормочет Освальд и сжимает холодные пальцы Эади. Рука товарища соскальзывает на земляной пол.

— А дверь... Не оставлять же ее открытой настежь.

Освальд выжидает, пока Арнольд вновь не начнет стрелять из окна, что напротив сарая. Вскакивает и запирает дверь. Крючок щелкает, попав в скобу.

И тут же пулеметная очередь буравит тонкую дверь. Сквозь десятки дырок белыми пятнышками просвечивает заснеженный двор.

Жалкая дверь, жалкий крючок, но сейчас она одна защищает их от врага.

Рука Освальда ощупывает голову Эдуарда, его разбитую бровь. Слабый стон говорит о последних минутах.

— Эади, мне надо теперь идти, — шепчет Освальд. Он ползет на кухню, оттуда в комнату.

Полицейские стреляют беспрерывно. Из винтовок, револьверов, временами из пулемета.

Может быть, они поняли, что клеть осталась без защиты?

Освальд ползет к другому окну. Подтягивается, опираясь на подоконник, смотрит в щель ставня. Никого не видно. За краем канавы и за белыми холмами только вспышки огня.

Отстреливаться — значит зря тратить патроны.

— Арнольд! — кричит Освальд. — Мы остались вдвоем.

И точно в ответ на это Арнольд посылает из окна сенцев несколько выстрелов.

Там, у берез, как будто кто-то вскрикнул.

Стрельба сразу же прекращается, словно этот крик послужил для атакующих сигналом.

— Задний двор мне хорошо виден из кухонного окна, — неожиданно спокойно говорит Арнольд. Словно хочет этим деловым тоном подбодрить Освальда. Но в следующую минуту спокойствие покидает его самого. Поняв, что слова его прозвучали неискренно, он запальчиво кричит: — Хотел бы я посмотреть, кто сумеет пробраться живым через клеть на кухню!

Затем задумывается, охватив руками голову. Молчит. И вдруг спрашивает:

— Дети у них есть?

— По-моему, нет.

— И то ладно, — вздыхает Арнольд.

Тишину неожиданно нарушает грубый, злой голос. Он надрывно выкрикивает:

— Эй вы, красные! Слушайте, что вам говорят! Если не сдадитесь, мы подожжем дом! Поняли?

— Чего орешь? Подходи да поджигай! — кричит в ответ Арнольд, и в сторону берез, откуда доносился голос, летят пули.

От страха и холода Иоханна почти потеряла рассудок. Вдруг она услышала чей-то голос. Отец? Нет, нет! Это не может быть отец! Отец никогда бы так не сказал: дом подожжем!

Огонь! Страшный огонь! О-о... Сено охвачено пламенем! И она сама горит! Вся горит... Ужасно больно! Надо скорее бежать! К отцу! Отец поможет!

Иоханна раздвигает сено и, едва передвигая одеревевшие ноги, идет к люку. Падает. Ползет дальше на четвереньках. Рука нащупывает в люке край лестницы. Она старается ступить на перекладину.

Снизу слышатся стоны. Иоханна замирает.

Со двора опять доносится грубый голос:

— Ну ладно! Если сгорите — пеняйте на себя!

Угрожающий голос страшнее стонущего здесь человека.

Иоханна слезает с лестницы. К отцу!

Девочка подходит к двери. Нажимает на ручку...

— Кто идет? Стреляю!

Тотчас же раздается выстрел. Пуля пробивает бревенчатую стену рядом с дверью.

Иоханна заливается слезами.

— Не ходи сюда, девочка! Не ходи! — слышится из кухни.

И это тоже не отцовский голос.

Плача, Иоханна пробирается в кладовку. Забивается в угол между стеной и шкафом. Как следует, поглубже, поглубже в угол. Закрывается гладильной доской. Теперь она в безопасности. Ведь доска такая толстая. И стены за ее спиной тоже очень толстые.

Пули буравят бревна. На полке над головой Иоханны со звоном разбивается какая-то банка. Острые осколки падают на голые ноги, колют руки.

— Отец... Где ты, отец? — лепечет Иоханна.

Понемногу голоса затихают. Нет больше ни страха, ни холода. Она покачивается и никнет. Падает, падает... Это обморок, который все-таки легче, чем страх.

Арнольд услышал скрип двери кладовой. Потом выстрел и звон стекла. Последовавшая за этим тишина беспокоит его. Он спешит в кладовую.

Под ногами хрустят осколки стекла. Плечо ударяется о полку. Рука нащупывает хозяйственную утварь. Он наклоняется и находит хрупкое, обмякшее тельце.

Арнольд становится рядом с Иоханной на колени. Приникает ухом к ее груди.

Сердце бьется! Как хорошо, что оно бьется! Только бы не остановилось. Только бы они не попали в девочку.

Арнольда охватывает порыв отчаяния.

Имел ли он право привести сюда Освальда и Эдуарда? Может быть, надо было дальше терпеть холод и голод и кочевать из сарая в сарай? До самой границы. И не приносить несчастья в семью Тупсов.

Не с легким сердцем решились они на этот шаг. О нет! Их вынудили холод и голод. Так хотелось хоть часок побыть под людским кровом, набраться сил.

Кто же знал, что все так получится? Да, конечно, никто не знал, но все же следовало предвидеть и возможность такого исхода. Надо было подумать о Тупсах. Поди знай, может быть, хвост следовал за ними все время!

Они трое отдали себя революции. Это их призвание. А семья Тупсов жила тихо и бедно, но по-своему счастливо. Так имели ли они право лишить семью Тупсов даже этого малого счастья — счастья семейного очага? Подвергать ее опасности?

А можно ли вообще так рассуждать? Какой смысл теперь мучить себя? В борьбе погибают не только с винтовкой в руках и не только бойцы передовой линии. Борьба требует и иных жертв. В их числе могут быть и те, кто косвенно помогает достижению победы.

Что заставило семью Тупсов три года тому назад, когда его впервые разыскивали, скрывать в своем сарае его и других товарищей? Кормить их? Что заставило хозяйку Тупс впустить их сегодня вечером, пригласить за стол, снабдить в дорогу бараньим окороком и буханкой хлеба?

Не доказали ли этим хозяин и хозяйка Тупсы, что и они готовы к борьбе. По-своему. По мере своих сил и уменья. Они — это тыл фронта. Они и десятки тысяч подобных им.

Но все же как горько и тяжело думать, что Густав уже никогда не нарежет своей семье хлеба... И что станет с Лийзой? Вряд ли она избежит наказания.

В темной кладовке Арнольд находит какие-то лохмотья. Он укрывает ими девочку. Закоченевшие ноги закутывает попавшимся под руку старым одеялом.

Закрыв дверь кладовой, Арнольд стоит в клети и прислушивается к тишине. Из горницы доносятся шаги Освальда. В хлеву жалобно мычит раненая корова. Скулит Самми. Только здесь тихо.

— Ээди!

Ни единого слова или движения. Хотя бы намек на ответ.

Рука Эдуарда словно окаменела. Пульс не прощупывается.

Сюда, к этому порогу, тебя привела судьба, Эдуард Амбос, спокойный, уравновешенный и преданный товарищ. Ты никогда ничего не говорил о себе. И я ничего толком не знаю о твоей семейной жизни, о твоих мечтах, о желаниях. За исключением того, о чем говорили твои дела. Ты хотел, чтобы легче жилось рабочим. Ты был

красноармейцем, был заместителем председателя Центрального Совета профсоюзов, на днях ты штурмовал казармы в Тонди... Что принудило тебя, опытного токаря, оставить свое спокойное ремесло, пренебречь небольшим, но твердым заработком мастера и выступить за счастье других?

Ответ ясен. Что толкает на это коммунистов? Совесть.

— Арнольд! — слышится голос Освальда. — Куда ты пропал? Что случилось?

— Иоханна спустилась с чердака. Она в кладовке.

— Цела?

— Да... А вот Ээди закончил свой путь...

Они стоят друг против друга, прислонившись к теплой печке. Ощущают близость друг друга.

— Сейчас бы кусочек жареного хлебушка, — улыбаясь, говорит Арнольд. Он поднимает руку. В темноте она опускается на плечо Осся.

— Да, неплохо бы... — шепчет Освальд. Его рука тоже ложится на плечо Арнольда.

Так стоят они и молчат.

Эта печь словно возвращает Освальда в его дом, под Тарту.

Опять вечер. На столе под стеклянным абажуром горит лампа. Отец сидит за столом, уткнувшись в газету.

А он и Рууди присели возле печки. У каждого здесь по маленькой скамейке.

Рууди что-то мастерит. А он, не отрываясь, глядит на пальцы брата. Из обрезка проволоки и кусочка жести получится что-то интересное... Вначале не понимаешь, что это такое, но потом видишь, что фигура чем-то напоминает птицу. Крылья расправлены, сзади хвост, лапки подогнуты.

— Что это такое? Скажи, Рууди?

— Это птица. Птица, сделанная человеком. Железная. Она сажает человека на спину и летит с ним далеко-далеко.

— Сможет даже через нашу реку?

— Конечно! И гораздо дальше! В теплые края, и в очень холодные, и...

— Рууди, а такие птицы и на самом деле бывают?

— Не знаю. Но хорошо, если бы были! Не правда ли?

— Да, хорошо. У нас она была бы на двоих.

Так они с жаром обсуждали по вечерам свои дела. Рууди вечно мастерил что-то. Большей частью такие чудо-сооружения, на которых можно было летать далеко-далеко и высоко-высоко.

Теперь старшего брата нет в живых. Но об отваге красноармейского летчика Рудольфа Пийра говорят орден Красного Знамени и именные часы. Отец хранит письмо, в котором Рууди пишет: «Что бы ни случилось, я со своей летной машиной всегда буду на стороне большевиков и трудового народа. И если ты, дорогой отец, увидишь над нашим родным городом самолет, который раскачивает крыльями, точно человек приветствует рукой, знайте и ты, и все близкие, что это мой привет вам...»

В тишине время ползет очень медленно. И если мысли на какие-то мгновения возвращаются домой, то, когда стряхнешь их, кажется, что прошли долгие часы.

Арнольд и Освальд отходят от печки и спешат на свои посты.

Что делает враг? Может быть, они дали ему возможность безнаказанно приблизиться к дому? Если так, то эти минуты слабости обойдутся им дорого.

Арнольд приникает глазом к щели ставня. На дворе тихая ночь, кругом бело. Ни движения, ни стрельбы. Словно все, что здесь происходило, просто приснилось.

Арнольд чутко прислушивается. Со стороны шоссе доносится шум автомобиля. Он приближается, становится сильнее. На проселочную дорогу заворачивает крытая брезентом грузовая машина. Подпрыгивая на ухабах, подползает все ближе. Почти до берез папаши Тупса. Потом останавливается, но мотор продолжает работать.

Из кузова соскакивают на снег люди в мундирах. В руках у них винтовки. Людей много. Один, два, три... Двенадцать. Может быть, и больше. Еще привезли солдат! Сколько же их всего? Не меньше сорока.

— Смотри, Оссь, не зазнавайся! Солдат-то прибавилось. Целый грузовик! — со злобой кричит Арнольд. — Теперь их — по двадцать на каждого из нас.

Оссь возится у двери горницы. Потом говорит:

— В этой двери тридцать четыре дыры от пуль. Только что сосчитал.

— Рано сосчитал. Наверняка прибавится еще столько же!

Освальд идет через комнату к другому окну и бормочет:

— Тогда уже нам считать не придется...

Грузовик снова тарахтит по шоссе, поворачивает и направляется в сторону Таллина. Солдаты стоят на дороге. Кто-то им что-то разъясняет.

Отсюда до них достаточно далеко. Нет смысла тратить патроны. Если бы можно было взять на мушку! А целиться сквозь щели в ставне и попасть в цель можно лишь по счастливой случайности.

Арнольд опускает парабеллум.

— Хоть бы уж начинали! Чего они так долго возятся? — вспыхивает он вдруг.

Ожидание часто бывает труднее самой борьбы. Зловещая тишина страшнее свиста пуль.

— Они же торжественно объявили, что спалят дом. Но это дело так быстро не провернешь, — отзывается Освальд, пытаясь разрядить гнетущее напряжение. Он потому и дверью занялся, чтобы чем-то отвлечься.

— Если хотят поджечь дом, тогда кому-то из них придется подползти поближе. Поглядим, что у них из этого получится.

Слова эти звучат дерзко и смело, но Арнольд и Освальд прекрасно понимают, что после гибели Ээди осаждающие могут безбоязненно хозяйничать на заднем дворе.

Выстрелы из кухонного окна для них не помеха.

Все еще тихо.

Прибывшие солдаты оцепили дом.

Не слышно ни единого звука. Зловещая, гнетущая тишина. Что она предвещает?

Осажденные переходят от окна к окну. Пистолеты в руках, пальцы готовы нажать на спусковой крючок. Сквозь щели ставен они пристально следят за словно вымершим вражеским лагерем.

У этих двух молодых людей сейчас одна мысль: продержаться как можно дольше.

7

Уже с неделю всем полицейским в мундирах и в штатском были известны приметы разыскиваемого Арнольда Соммерлинга. Но приходилось остерегаться всех. Шпики и доносчики, пробравшиеся в рабочие районы, со-

общали полиции все, даже если в квартиру рабочего заходил новый гость или кто-либо оставался там ночевать.

Поэтому Арнольд жил по нескольку дней то в одной семье, то в другой. Иногда в Сикупилле, иногда в Пельгулинне.

Днем было опасно показываться на улице. И только вечером, с наступлением сумерек, он пытался наладить связь с оставшимися на свободе товарищами. Их было мало, и многих из них наверняка преследовали шпики.

Приходилось соблюдать чрезвычайную осторожность. Но сидеть сложа руки в укрытии тоже нельзя. Союз молодых пролетариев был закрыт. Молодежь нельзя было оставлять в состоянии растерянности и с пораженческим настроением. Те из активистов, кто остался на свободе, должны продолжать работу. Хотя бы тайно, в подполье. Молодежи нужны указания и добрый совет. Одно дело посещать хоровой кружок или выступать на дискуссии, другое — обманув полицию, распространять запретные идеи.

Арнольд остановился перед покрытым вышитой салфеткой темно-красным комодом с медными ручками. Он разглядывал высокую фиолетовую вазу. В ней красовался бумажный цветок на проволочном стебле. На гофрированной красной бумаге лежал слой пыли.

Рядом с вазой, в рамках под стеклом, стояли две старые фотографии.

У мужчины закручены усы, волосы блестят от бриллиантина. У женщины длинная коса перекинута через плечо, руки скромно сложены на коленях, платье прикрывает носки туфель.

Трудно было узнать в них хозяина и хозяйку этой перегороженной подвальной квартиры. От изнурительной работы у лохани в наполненной паром прачечной ясные глаза девушки стали блеклыми и усталыми. Когда она, мать семейства, расставляла вчера вечером тарелки, Арнольд не мог оторвать взгляда от ее рук. Пальцы у нее были распухшие, кожа на них потрескалась. А рано утром надо было снова опускать руки в щелочную воду. Забота о хлебе насущном для семьи не позволяла хозяйке думать о своих больных руках.

«Не может же такая несправедливость существовать вечно! — подумал Арнольд, отворачиваясь от комода. — Трудиться надо при любом строе. Но труд не должен быть только мукой и страданием. Труд, который создает

все на свете, не должен быть наказанием для человека. Не должен стать для него вечной каторгой».

Арнольд поспешно вынул из кармана синий блокнот, раскрыв его, положил на комод, достал карандаш и написал размашистым почерком: «Ты еще остаешься. Поэтому именно тебе с удвоенной силой надо продолжать прерванное дело. Не можем же мы, молодежь, из-за какого-то негодяя министра бросить свою работу!»

Карандаш быстро движется по бумаге. Останавливается.

Призывать и воодушевлять — этого мало. Вернее, это сейчас не нужно. Пеэтер был членом правления союза молодежи: он сам знает, что работу надо продолжать. Но ему следует дать точные указания о его дальнейшей деятельности.

В следующих строчках Арнольд написал о том, как основать новую организацию, как влиться в буржуазные молодежные союзы, пропагандировать там идеи рабочей молодежи и, если возможно, привлечь весь союз на сторону рабочих.

Пеэтер толковый парень. Он учился в семинарии, был образованнее других. Только среди фабричной молодежи держал себя немного робко, неуверенно. Не сумел пока найти с нею контакта.

И Арнольд приписывает в конце письма: «Во всяком случае, на тебя возлагается организация школьников, главным образом семинаристов. Покажи, что и в делах ты — коммунист!»

Арнольд вырвал исписанные листки и сложил их в несколько раз.

На комоде стояла катушка. Оторвав нитку, он обвязал ею пакетик.

Теперь инструкция, предназначенная Пеэтеру Лемпо, умещалась на ладони и ее можно было передать незаметно.

Осторожно ступая по полосатому домотканому половику, Арнольд подошел к окну. Ни один житель дома не должен был слышать шагов в этой квартире. Ведь утром, когда семья уходила, входную дверь запирали снаружи, громко гремя при этом ключами.

Всю бессонную ночь Арнольд обдумывал: пойти со всеми или нет?

Ведь было 1 Мая. До закрытия Центрального Совета профсоюзов и Союза молодых пролетариев к демонстра-

ции шла основательная подготовка. Буржуазия, конечно, узнала об этом, и как раз накануне 1 Мая были произведены массовые аресты. Одним ударом достигнуты сразу две цели: ликвидированы союзы и сорвана демонстрация.

Хотелось бы знать, успела ли партия предпринять что-нибудь? Появится ли на улице рабочая гвардия?

Возможно, что Арнольд, презирая опасность, и отправился бы со всеми, если бы не решительный протест хозяев дома. Толпы полицейских в мундирах и шпиков в штатском в этот день будут сновать по всему городу. От их ушей и глаз никуда не скроешься. В особенности теперь, пока им еще не удалось заточить в тюрьму многих товарищей.

— Но почему шпики должны приметить именно меня! — горячился Арнольд. — Если бояться риска, то, выходит, надо отсиживаться в кустах!

Но горячие речи Арнольда не произвели на хозяина никакого впечатления.

— А ты не кипятись! — сказал он спокойно. — Риск — штука хорошая, но только ради дела. А у тебя его пока нет. Твои дела, ради которых придется рисковать, еще впереди.

И Арнольд послушно дал запереть себя сегодня утром.

На окне висела плотная марлевая занавеска. Сквозь нее было удобно глядеть на улицу: изнутри все видно, а снаружи — ничего.

Первое, что заметил Арнольд, был зеленый росток. Он смело пробивался меж каменных плит тротуара. Слабенький, а упорный! Как только снег сошел, сразу носишко высунул! Растопчут, а он подымется. Выдернут, новый вырастет.

Словно на какое-то чудо, глядел Арнольд на крохотный зеленый росточек.

В окне показались ботинки в черных блестящих галошах. Остановились перед травинкой.

— Смотри-ка, значит, кто-то еще восхищается ею! — улыбнулся Арнольд и пожалел, что не может видеть лица незнакомца.

Рядом с галошей вдруг появился конец черной трости с острым металлическим наконечником. Покачиваясь, он замер над зеленой травинкой. Потом тяжело опустился и придавил ее. Железный наконечник глубоко вонзился в землю меж каменных плит и тщательно пробуравил ее, чтобы росток уж никогда больше не поднялся.

Сделав свое дело, палка и галоши важно двинулись дальше. Поднялись вверх по лестнице. Было слышно, как открылась и снова закрылась дверь.

Вскоре шаги раздались уже над головой Арнольда. Тросточку поставили в угол возле двери.

Арнольд вспомнил слова хозяйки: «Наверху живет домовладелец...»

Стоя за занавеской, Арнольд зло улыбнулся.

«Все ясно. Улица должна быть чистой! Порядок — «орднунг» — превыше всего!»

Арнольду стало грустно.

Из подвального окна видны были только серый грязный тротуар, темные бугры булыжника и несколько растоптанных окурков. Не было ничего, что ласкало бы глаз.

И все-таки! Поглядите!

Забыв об осторожности, Арнольд откинул занавеску, оперся на широкий подоконник. Прижался лбом к стеклу.

В самом деле! Между плитами пробивался другой, совсем еще маленький бледно-зеленый росток. Новый, молодой, дерзкий и смелый. Как хорошо, что он там растет!

Теперь Арнольд увидел множество остроносеньких вестников весны. Земля по краям плитняка была сплошь покрыта ими. Ничего, что они сегодня почти незаметны. Важно, что они существуют. И что их много.

Вскоре вернулись старики.

Арнольд сразу же заметил разительную перемену в их настроении. Внутренняя радость придавала движениям хозяина и хозяйки особую легкость и живость. Разговоров и шуток было больше, чем вчера после возвращения с работы.

Вопросы были излишни. Демонстрация удалась.

— Где же пересчитаешь такую массу народа... Но если сказать, что собралось тысяч десять, то наверняка не соврешь, — рассказывал хозяин, вешая в шкаф свое праздничное пальто.

— Буржуазия рассчитывала смести всех подчистую, но номер не прошел! Правда, часть наших вожаков она выловила, но рядовые бойцы остались. И главный штаб — Центральный Комитет — тоже остался.

Обедали втроем. Беседовали о том, о сем. Арнольд объяснил хозяйке, как проще всего передать Лемпо тот, перевязанный черной ниткой пакетик. Прачка, входящая в чужой дом с корзиной чистого белья, ни у кого не может вызвать подозрений.

Наступил вечер.

Надо было расставаться с домом, где он провел две последние ночи, и искать новое убежище.

Где-то на соседней улице примостился сарай, на дверях которого замок висел только для вида. Там Арнольда ждал велосипед. Сегодня ему предстоял путь в другой конец города.

Подняв воротник, высоко повязав шарф и надвинув до бровей кепку, Арнольд вместе с хозяином вышел в коридор подвального этажа. В воскресный вечер в доме было тихо и спокойно. Вряд ли кому-нибудь понадобится на ночь глядя спускаться в подвал. Но каждый шорох из подвала был слышен во всем доме. Поэтому хозяин несколько раз громко хлопнул дверью сарая и нарочно кинул на пол зазвеневшие замок и ключи. Эти звуки наверняка заглушили тихий скрип двери черного хода, когда ее открыли и снова закрыли за собой.

Выйдя во двор, Арнольд в несколько прыжков очутился за прачечной. Оттуда через сломанный забор пробрался в соседний двор, а затем и в соседний переулок.

Под чахлыми соснами Штромки * уже сгущались сумерки, когда Арнольд свернул на извилистую тропинку. Ехать было трудно. Ветки хлестали по лицу. Арнольд сошел с велосипеда и повел его рядом.

На условленном месте никого не было.

Арнольд помрачнел. Точность — первое требование в секретных делах. Любой неверный шаг, движение, слово, любая минута промедления может сорвать важное мероприятие, подвергнуть товарищей опасности.

Арнольд поставил велосипед под низкую сосну. Еще раз внимательно осмотрелся и сел под дерево.

У хозяйки он выпросил горстку гороху. Он лежал у него в кармане, и Арнольд, чтобы скоротать время, с удовольствием принялся за него.

За деревьями смутно вырисовывалась ограда дома для умалишенных, или, как говорилось в народе, Зеэвальда. Над оградой светились обращенные к лесу одинокие окна.

Лес за Пельгурандом был местом отдыха городского рабочего люда. По воскресеньям здесь резвились ребятишки и горланили охмелевшие папаши.

---

* Штромка — лесок за Пельгурандом.

Продавцы предлагали освежающие напитки. Трубачи играли танцевальные мелодии.

В ранних весенних сумерках лес казался молчаливым и неприветливым. Только случайная одинокая парочка могла задержаться у придорожных деревьев, чтобы поговорить наедине.

Поэтому этот лес был теперь подходящим местом встреч для людей, не желавших попадаться кому-нибудь на глаза.

Двое молодых людей прибыли на условленное место, когда горох у Арнольда уже кончился. Он хотел было поругать их за опоздание, но, услышав новости, забыл о своем намерении.

В знак протеста против произведенных арестов и закрытия своих союзов десять тысяч рабочих вышли сегодня на первомайскую демонстрацию. На сей раз арестов не было, хотя среди народа сновала уйма шпиков. Да разве их всех узнаешь?

Была и другая новость. Партия решила вместо Союза молодых пролетариев основать Эстонский коммунистический союз молодежи. Он будет действовать подпольно. Рабочая молодежь — будущее рабочего класса, ее нельзя отдать на произвол буржуазии, оставить без поддержки и руководства.

Последняя новость особенно обрадовала Арнольда. То, о чем он мечтал и о чем писал в Центральный Комитет, претворялось в жизнь.

Они втроем вышли из лесу на темную улицу, обозначенную лишь несколькими желтоватыми квадратами светящихся окон. За городом этот ряд оборвался. Улица перешла в шоссе, окруженное полями и огородами. Оно вело в Палдиски.

Прощаясь со связными, Арнольд сказал:

— Ничего! Настанет время, когда все будет в наших руках!

— Дал бы бог, как говорит бабушка! — засмеялся в ответ один из молодых людей...

Неожиданно рядом с ними оказался четвертый. На нем была шляпа, воротник поднят. Он резко спросил:

— О чем вы здесь говорили? В чьих это «в наших»? И что значит «в руках»?

Арнольд незаметно подтолкнул своих спутников, мол, убирайтесь поскорее восвояси. А незнакомцу бросил в ответ:

— В наших, значит, в наших. Вам-то какое дело! — И громко крикнул: — Ну, ребята, пока!

Мужчина в шляпе последовал за ним. Его правая рука быстро скользнула в карман пальто.

— Никуда вы не денетесь! — сказал он многозначительно. — Я из охранной полиции!

Не теряя времени, Арнольд вскочил на велосипед.

Двое молодых людей уже скрылись в темноте. Мужчина в шляпе не обратил на них внимания. Видимо, лучше синица в руках, чем журавль в небе.

И прежде чем Арнольд успел отъехать, незнакомец ухватился за руль велосипеда.

— Стойте! Стойте! Молодой человек! Извольте назвать свое имя!

Арнольд остановился, не снимая ноги с педали. Он не торопился с ответом, прислушивался.

Шагов товарищей не слышно, значит, ушли. Это хорошо получилось. Охранка их пока ни в чем не сможет подозревать. Глупо, если бы они так запросто попались. Ведь неизвестно, что надо этому типу в шляпе.

— Я спрашиваю, как ваше имя! Отчего вы не отвечаете? — снова потребовал незнакомец.

— Ах, имя как... — тянул Арнольд. — Имя мое... ну Лепик. Что же из этого?

Мысль напряженно искала возможности избавиться от навязчивого незнакомца. Просто оттолкнуть его и нажать на педали? Но ведь он держится за руль. Если упадет, потянет за собой и велосипед и велосипедиста. Нет, этот план не годится. И почему он не вынимает правую руку из кармана? Впрочем, понять нетрудно. В руке у него револьвер, и палец на спусковом крючке.

— Ваши документы! — потребовал незнакомец.

— Это можно, раз начальству угодно. — И Арнольд стал рыться во внутреннем кармане.

Как этот тип в шляпе разберется в документе в такой темноте? Придется посветить карманным фонарем или зажечь спичку. Ну да! Тогда он должен отпустить руль! Но паспорт-то дать я ему не могу...

— Будьте любезны! — произнес Арнольд весьма вежливым и даже покорным тоном. Он вынул документ и, держа его на уровне глаз незнакомца, с сожалением добавил: — Жаль, что у меня нет карманного фонаря. Братишка, паршивец, пережег батарейки.

Повлиял ли учтивый тон Арнольда и его простодуш-

ная речь или мужчине не терпелось поскорее ознакомиться с документом, во всяком случае, он на минуту позабыл о бдительности — выпустил руль и вытащил правую руку из кармана. Чиркнула спичка. Вспыхнуло пламя, ослепив на мгновение обоих мужчин.

— Соммерлинг! — вскрикнул незнакомец, узнав в лицо стоящего против него молодого человека.

В тот же момент Арнольд толкнул его в грудь и нажал на педали.

Полицейский попятился, шатаясь, взмахнул руками, чтобы вернуть равновесие. Затем стал торопливо вытаскивать из кармана револьвер. Дергал, дергал — никак не вытащить. Черт знает, что ему там помешало. Может быть, спешка и волнение. Во всяком случае, Арнольду удалось благополучно скрыться в переулке.

Петляя по улицам, мчался он через город в сторону Кадриорга. Поднял ли шпик тревогу? На любом перекрестке какой-нибудь полицейский мог заинтересоваться запоздалым велосипедистом...

Но его никто не задержал. Благополучно добравшись до знакомого сарая, он поставил велосипед на место.

Было ли происшествие у Зеэвальда простой случайностью? Быть может, полицейские уже давно следят за пригородными рощами и загородными шоссе?

Трудно сказать. Во всяком случае, от встреч в том лесу придется на некоторое время отказаться. Надо надеяться, что это поймут и связные — и в следующий раз придут на запасной пункт, сюда, в Кадриорг.

Посидев в сарае на чурбане, немного отдохнув и успокоившись, Арнольд направился по новому адресу, полученному от товарищей. На новой явочной квартире возможности для маскировки были лучше. Здесь можно бы спокойно пробыть трое суток.

Двое суток здесь, трое там... Подольше под крылом у Тупса, в их сарае... Время тянулось томительно, и беспокойной, деятельной натуре Арнольда это невольное безделье становилось невыносимым.

Он прочитывал все, что попадалось под руку. Но этого хватало ему лишь на два-три часа. Рабочие семьи не были богаты книгами. А брать их в других местах значило привлекать к себе внимание.

Через связных Арнольд просил, чтобы партия дала ему задание. Ему велели подождать. Вначале он обиделся. Но вскоре понял, что доверить ему ответственное за-

дание сейчас невозможно. Юноша, чьи горячие речи слушала половина таллинской молодежи и розыск которого был объявлен совсем недавно, при малейшей неосторожности может попасть в руки полиции. Надо дать поутихнуть первому пылу охранки. А там партия решит, что ему делать дальше, где и в чем понадобится его помощь.

Если поразмыслить здраво, то все было ясно. Но нетерпение и беспокойство, заглушая трезвые доводы, не покидали Арнольда. Заняться ничем нельзя! Сиди, лежи, размышляй... С ума можно сойти!

Наступила весна. И она еще усиливала волнение в душе Арнольда. Бездействие становилось просто невыносимым. Он никогда не увлекался красотами природы. Но теперь часто представлял себе, как сидит на берегу реки, собирает ветреницы, срывает барашки с вербы. И вдруг ему показалось невероятно важным узнать, расцвели ли уже на склонах Ируского городища душистые первоцветы. Эта мысль не покидала его несколько дней.

И однажды утром терпение его лопнуло. Арнольд решил отправиться к тетке на улицу Катусепапи, где школьником жил несколько зим. Из рассказов товарищей он знал, что полицейские у тетки пока не побывали. Да и подозрительных типов вокруг теткиного дома не замечалось.

Тетка была рада видеть Арнольда. Сразу начала накрывать на стол, предложила поесть, стала расспрашивать о теперешней жизни Арнольда. Услышав уклончивые ответы, прекратила расспросы и перевела разговор на родственников.

Потом ей пришлось оставить Арнольда одного. Надо было открывать мясную лавку, что находилась в соседнем доме: покупатели ведь ждать не станут. Но до ухода она поймала во дворе мальчишку и послала его к сестре Арнольда — Алийде.

Алийде появилась через несколько минут. Забежала прежде всего в лавку к тетке и потом сразу же к брату.

Как раз в это время мать Рикса Пююля из квартиры на втором этаже принялась мыть в коридоре пол.

Алийде приветливо поздоровалась.

Старуха кивнула в ответ и подозрительно посмотрела ей вслед.

Куда это Алийде так торопилась? И почему так стремительно вбежала в квартиру тетки? Точно заранее знала, что ее там кто-то ждет!

Женщина навострила уши. Замерла, наклонившись, с мокрой тряпкой в руке.

Не доносится ли из-за двери низкий мужской голос?

Быстро протирая пол, она приблизилась к двери «мясничихи». Прислушалась. Даже платок сдвинула на бок.

Что правда, то правда! Ей-богу — мужской голос. Хотя и тихий, но все-таки очень знакомый! Как будто она уже много раз слышала его. Ну да! Низкий голос Арнольда Соммерлинга! Точно, он самый!

Мамаша Рикса, не домыв пол, быстро поднялась по лестнице и скрылась за дверью своей квартиры.

Не прошло и минуты, как в коридоре появился сам Рикс. Весь его вид говорил о том, что мамаша подняла его с постели. С взъерошенными волосами, заспанным лицом, он торопливо потрусил на улицу.

Когда радость встречи немного улеглась, брат и сестра обменялись новостями, Алийде ушла, чтобы принести брату одежду и папиросы. Возвратившись, она увидела взволнованных жителей дома, заполнивших коридор. Дверь теткиной квартиры была открыта.

Сердце почуяло недоброе. Так и есть. Комната пуста.

Пока Алийде не было, полицейские увели Арнольда. Они сразу направились к двери теткиной квартиры и вошли в нее. Не иначе как дело рук доносчика!

Так рассказывали жители дома.

Алийде выбежала на улицу и помчалась прямо в полицейский участок.

Навстречу шли люди. Большинство из них уступали ей дорогу, останавливались, качали головами. Многие знали Алийде уже с детства. Так же, как и Арнольда. Велика ли улица Катусепапи, да и весь Ласнамяэ! Весть об аресте Арнольда облетела уже все дома... Потому-то так сочувственно и смотрели прохожие вслед бежавшей Алийде.

Арнольда еще не увели из участка. Он сидел на длинной скамье, под охраной полицейских, спиной к стене, положив ногу на ногу, руки — в карманах пиджака. Спокойное, немного высокомерное выражение лица скрывало его душевное состояние. И только по тому, как он раскрыл принесенную сестрой коробку папирос, она заметила сдерживаемое им волнение.

Когда Алийде снова вышла на улицу и услышала, как за спиной захлопнулась дверь, ей показалось, что эта тя-

желая дверь участка закрыла от нее Арнольда навеки. Она прошла несколько шагов и обернулась.

В эту минуту дверь участка снова отворилась. Внезапная надежда заставила ее побежать обратно. Если дверь отворилась, оттуда может выйти только Арнольд!

И вдруг она остановилась.

Тяжелая дверь пропустила на улицу Рикса Пююля, лоботряса, мать которого утром мыла коридор.

Что за дела могли быть у Рикса в участке? А какое у него самодовольное лицо!

И вдруг Алийде все стало ясно. Неудавшийся канцелярский чиновник Рикс сделался предателем, пособником охранки. Конечно, на этой должности голова не нужна, а только глаза, уши и быстрые ноги. Интересно, сколько этому мерзавцу заплатили за подлость?

Несколько дней спустя жильцы дома получили возможность полюбоваться новыми лаковыми ботинками Рикса. А у мамаши появился новый передник и расписной платок.

Презрение жителей дома не тревожило Рикса. Ведь он был заодно с властями. Чувствовал себя олицетворением власти. Был силен и грозен.

8

Вокруг домика Тупсов царит зловещая тишина. Свинцовой тяжестью проникает она в щели и пробитые пулями дыры, в разбитые окна и сбитую с петель дверь сенцев. Горница и кухня наполнены ею сверху донизу. В этой тишине тяжело дышать, а еще тяжелее думать. В этой сверлящей тишине ширится и растет лишь омерзительное чувство страха.

Как меняются понятия и их смысл! Насколько все зависит от обстоятельств. Тишина может быть прекрасной, а может быть и страшной.

Арнольд стоит за печкой и пристально следит за окном.

Что они замышляют? Неужели решают, как поджечь дом? Не верится. Полицию, наверное, больше привлекает перспектива забрать осажденных живьем. Они постараются выпытать у них имена восставших. А потом расстреляют.

Что делал бы я на месте атакующих? Отгадать не-

трудно. Попытался бы полностью овладеть задним двором. Сейчас мешает кухонное окно. Если его заставить замолчать, то все окажется очень просто; в дом можно ворваться через клеть или через это самое окно. Защищающий горницу окажется под огнем со всех четырех сторон.

И словно подтверждая мысли Арнольда, ставни кухни вдруг отворяются настежь! Виден кусочек заснеженной земли. За ним тускло освещенная дверь сарая.

Арнольд не верит своим глазам. Неужели это ему мерещится? Ставни открываются сами, словно в доме привидения.

Но ставни остаются открытыми. И Арнольд догадывается, что кто-то пробрался к стене дома. Это было очень удобно сделать со стороны хлева. Прокрался шаг за шагом к окну, скинул палкой крючок с петли, и ставни свободно распахнулись.

Наверное, этот человек и сейчас еще стоит там. За стеной. На расстоянии двух-трех шагов. Но... что он думает предпринять дальше?

Если бы этот парабеллум мог прострелить стену! Он превратил бы ее в решето...

Арнольд стреляет. В окно, по бревнам. Крадется к подоконнику. Старается стрелять так, чтобы попасть поближе к стене дома.

Он прекрасно понимает, что в этом нет никакого смысла. Разве что для острастки. Чтобы там, за стеной, не слишком осмелели. Для точного попадания Арнольду нужно высунуть из окна голову и плечи. Видимо, этого они и ждут. Тогда он окажется великолепной мишенью для тех, кто скрывается за углом сарая. Ведь нет больше Ээди, который мог бы их отогнать.

Опять воцаряется тишина.

Осаждающие уже давно не стреляют. Они даже не ответили на яростные выстрелы Арнольда. Кажется, все наступление сосредоточено на человеке, который притаился сейчас здесь под окном. Верно, они выжидают, чем все это кончится. Впрочем, сейчас они и не могут стрелять, опасаясь попасть в своего.

Секунды тянутся. Арнольд ждет, держа пистолет наготове.

Вдруг ему послышалось, что за окном затрещал огонь. Первые вспышки пламени озаряют оконные рамы, желтоватым светом блестят в разбитых стеклах.

— Что такое, Арнольд? — тихо спрашивает из горницы Освальд.

— Сейчас увидим... — бормочет Арнольд скорее про себя, чем в ответ другу.

В окно влетает пылающий комок пакли, ударяется о низкий потолок и падает на пол.

Палец невольно нажимает на спуск. Одинокая пуля вылетает из окна во двор.

Пакля горит, распространяя густой дым. Кухня наполняется запахом горелой ткани и бензина.

В свете колеблющегося пламени виден рабочий стол хозяина, кровать Иоханны, красное ватное одеяло на полу.

К счастью, пол каменный. Но край одеяла совсем рядом с горящей паклей. А если загорится вата...

«Надо потушить!» — мелькает первая невольная мысль. Естественная для человека, видящего огонь в жилом помещении. Сознание готово подчиниться древнему рефлексу борьбы с огнем.

Но Арнольд заставляет себя оставаться на месте.

А противник рассчитывал именно на этот рефлекс. Рассчитывал на то, что человек на кухне кинется тушить огонь. И тогда тому, кто стережет окно, будет нетрудно попасть в стоящего посреди комнаты.

Над подоконником мелькает рука.

В окно влетает шипящий шар размером с кулак.

Арнольд стреляет.

Раздается оглушительный удар. Дрожат стены. Свистят осколки. От печки отлетают куски кирпича. На плите звенят кастрюли. За спиной Арнольда что-то валится на пол.

Маленькая комната наполняется едким дымом и пылью. Желтым пламенем продолжает гореть пакля.

«Я был прав...» — думает Арнольд. Оторопь и испуг проходят, и он чувствует в левом боку острую боль.

Попали!

Он ощупывает бок рукой. Так и есть — рана. К счастью, пустяковая. Только задело.

Желтоватое пламя под облаком дыма и пыли все разрастается. Может быть, загорелось одеяло?

Надо тушить.

Арнольд выскакивает на середину кухни. Кидает на огонь одеяло. Топчет его ногами. При этом не спускает глаз с окна и парабеллум держит наготове.

Он задыхается от дыма. Глаза слезятся. В боку резкая боль, словно его рвут клещами.

Из окна на двор ползут клубы дыма.

Но с пола дым больше не поднимается.

Дышать становится легче.

— Арнольд!

Это голос Освальда. Но ответить он не успевает.

На фоне заснеженного двора над подоконником показывается какой-то странный предмет.

Шапка. Зимняя шапка.

Ха! Проверяют. Старый прием. Что же, давайте!

Слово за парабеллумом. Шапка отлетает в сторону.

— Как у тебя? — кричит Освальд, распахивая кухонную дверь.

— Пока что остались с носом. Ступай обратно. Теперь начнут испытывать тебя.

Едва Арнольд успевает скрыться за печкой, как раздается взрыв. Кухня снова наполняется дымом. На этот раз осколки не попадают в Арнольда. Граната упала возле окна.

В порыве гнева Арнольд думает:

«Высунуться бы! И двумя выстрелами прикончить того, за окном! — И снова побеждает трезвый рассудок: — Ждите, ждите! Я свою голову вам не подставлю!»

Дым рассеивается. В проеме окна глаза различают стену сарая.

Снова над подоконником маячит верх шапки.

— Ха-ха-ха! — громко смеется Арнольд. — Не стоит тратить пули. Я жив и здоров! Попытайтесь еще, сволочи!

В ответ слышится брань.

— Зовите, зовите чертей на помощь! — издевательски кричит Арнольд. — А то вашим солдатам одним не справиться!

Такая бравада бессмысленна. Это Арнольд и сам понимает. Идет не мальчишеская игра в снежки, где осажденные из озорства подзадоривают осаждающих. Да, все это ни к чему, но после только что пережитого напряжения эти слова вносят какую-то, пусть кажущуюся, разрядку. Она необходима. Это выше человеческих сил — ежеминутно молча сознавать, что эта крыша над головой — последняя в жизни.

Дальше ничего не происходит. Планы, связанные с

кухонным окном, явно провалились, и осаждающие вынуждены придумать что-то новое.

Арнольд отрывает от простыни Иоханны лоскут и обматывает себе грудь. Хотя там только царапина, но она сильно кровоточит и нудно пульсирует. Вот теперь бы материнские руки, пузырьки с лекарствами и баночки с мазью.

Арнольд снова видит себя маленьким мальчишкой. Лез на сосну и расцарапал бок. Стоит на кухне и плачет. И тут появляется мама. Несет в коробке пузыречки и баночки. Нет... Эти лекарства и не нужны совсем!

Мать сажает его на край кухонного стола. Поворачивает боком к свету.

Он еще горше плачет.

Мать дует на пострадавшее место и тихо-тихо шепчет каким-то особо таинственным и чужим голосом чудодейственные слова:

— Боль вороне, хворь — сороке, пусть болеет черный ворон! Арно наш поправится!

После этих слов боль и слезы как рукой снимало. Только всхлипывания и мокрый нос напоминали о недавних рыданиях.

И когда мать давала против испуга несколько капель кислоты, которая так здорово шипела в содовой воде, то... то ему казалось, что можно снова бежать во двор и ушибить палец или упасть с дерева!

Отец был совсем другим. Заклинания и снадобья вызывали у него лишь насмешку.

— Мальчишка сам должен переносить свои беды. Никто не будет всю жизнь дуть на его царапины. Миру нет дела до его синяков и шишек!

Старик не верил в людей, как не верит в них и сейчас.

— Если не пустишь в ход собственные кулаки да локти, останешься ни с чем! — Этому правилу он следовал всю жизнь. Хотя ему, портняжному мастеру, так и не удалось добиться удачи. Чаще приходилось терпеть толчки более крепких локтей. Казалось бы, это должно научить его осторожности. Так нет! Будучи волостным старшиной, он выкинул этакую штуку: назначил президента сельским десятником!

У самого первого господина в стране, Константина Пятса, в волости Нехату была усадьба. Батраки работали, а хозяин приезжал летом на дачу. Волостной староста Ханс Соммерлинг возьми да и заяви, что, мол, кем бы ни

был Пятс — президентом или кем угодно, раз он имеет в нашей волости усадьбу, пусть выполняет обязанности, которые волость на него возложит.

Назначение президента десятником вызвало невообразимый шум и, конечно, неприятности. Даже газеты заговорили об этом. В них было сказано, что волостной старшина позволяет себе по отношению к почтенному государственному деятелю глупые шутки. И в заключение добавлялось, что бессовестный старшина получил по заслугам.

Старик невозмутимо принял наказание и только усмехался себе в бороду. Получилось все-таки здорово — господин президент в роли десятника выглядел достаточно смешно.

...В открытое окно врывается холод. Печь давно остыла. Арнольд засовывает пистолет за пазуху и дыханием согревает пальцы.

Интересно, что сейчас делается у него дома? Ведь до них отсюда напрямик всего несколько верст. Может быть, в эту тихую ночь трескотня пулемета и взрывы гранат ясно слышны и там. Пожалуй, никто из окрестных жителей не сомкнул сегодня глаз. Разные слухи передаются, наверное, из дома в дом. Возможно, что даже мать и отец знают, за кем здесь у Тупсов охотятся солдаты и полицейские.

Отец, конечно, сидит у стола. Руки, сжатые в кулаки, положил перед собой. Взгляд устремлен в одну точку, плечи не дрогнут, брови не шевельнутся. Он не произносит ни слова. Не сетует, не возмущается. Под густой бородой не видно страдальческого выражения его лица.

Мать в накинутом на плечи теплом платке, покачиваясь, сидит на краю кровати. Каждый выстрел, каждый взрыв, как ножом, ударяет ее по сердцу. Сколько горячих молитв обращала она, должно быть, к тому, в кого верит лишь в трудные минуты.

Да, немного радости было под их крышей. Только работа да заботы о детях. Чем старше становились дети, тем тяжелее заботы, тем горестнее вздыхала мать. Но он, Арнольд, не избрал бы иного пути, если бы даже можно было начать жизнь сначала.

— Прости меня, мама! Ты всегда была такой доброй. Ко всем, кого ты знаешь. И я хотел быть добрым. Ко многим. И к тем, кого я не знаю.

— Огонь! — раздается короткий приказ.

На дворе, за березами, застрочил пулемет. Из придорожной канавы палят винтовки. Из-за углов сарая поливают перекрестным огнем.

Найдется ли в этом жалком домишке хоть один уголок, недоступный граду пуль?

Осаждающие не могут стрелять одновременно со всех сторон, и это дает Арнольду и Освальду хоть какую-то возможность маневрировать. Они пытаются предугадать направление огня и в соответствии с этим менять позиции у печки.

Но со смертоносным потоком нельзя бесконечно играть в прятки. Нельзя спускать глаз с окон и дверей. Сквозь щели в ставнях надо наблюдать за действиями врага. Не подползают ли они под защитой огня ближе к дому? Не собираются ли повторить нападение с горящей паклей или ручной гранатой? Непонятно, почему они не попытались открыть другие ставни. Ведь все они тоже запираются снаружи и только на крючок. Наверное, не хотят открывать осажденным свои позиции. Кухонное окно — дело другое, из него видна только стенка сарая.

— Ну, значит, я пошел! — произносит Освальд так ясно и решительно, словно отправляется от этой печки невесть в какой дальний путь.

Освальд ползет по полу через комнату. У окна, выходящего на дорогу, он приподнимается на колени. Выглядывает. Как будто кто-то движется в кустах. Стреляет.

В ответ раздается приглушенный стон. И Освальд с ужасом догадывается, что этот стон невольно вырвался из его собственного горла. Он почему-то не может удержаться на ногах и, опрокидывая стол, падает на пол.

Этот шум наверняка услышал Арнольд. И Освальд кричит изо всех сил:

— Ничего, ничего! Бедро задело, только и всего. Нога вдруг отказала.

— Передвигаться можешь?

— Постараюсь...

Освальд шарит рукой вокруг. Нащупывает опрокинутый стол. Опираясь о его край и превозмогая боль, он приподнимается на колени.

Если б хватило сил дотянуться до щели! Что за суета была там, у кустов на поляне?

Нога онемела. Словно нет ее. Только беспрерывная боль.

Держась за стену, Освальд ковыляет к окну... Стреляет. Потом идет к другому.

— Ну как? Помощь нужна? — кричит Арнольд.

— Сам ведь слышишь! Палю вовсю! Какая тут помощь!

Знакомый голос успокаивает Арнольда.

Дом уже не пробивают равномерными пулеметными очередями. Теперь целятся в окна. Тонкие ставни не уменьшают силы пуль.

Кухонное окно пока не трогают. Но Арнольд не решается оставить свой пост и уйти из кухни в горницу к Освальду. Может быть, это обманный маневр. Враг делает вид, что всеми силами атакует горницу. И когда защитник кухни устремится туда, путь из дверей коридора осаждающим открыт.

— Ведь там девочка... в коридоре... в кладовой!

Внезапный страх, что с Иоханной могло что-нибудь случиться, заставляет забыть недавние доводы, и Арнольд покидает свое место у печки. Он бежит в кладовую. Руки нащупывают волосы девочки, потом ее плечи. Задерживаются на них. Да, плечи поднимаются и опускаются. Жива, но все еще не пришла в себя.

«Дал бы бог...» — вдруг мысленно повторяет Арнольд слова матери. Слова, которые мать всегда произносит в большом горе.

Арнольд заглядывает в кухню. Там все по-старому. Он снова уходит в клеть. Находит Эдуарда, лежащего на соломе. Есть ли у Ээди еще патроны?

В кармане у него Арнольд находит их целую пригоршню. Это хорошо. Свои уже кончаются.

Возвратясь на кухню, Арнольд прежде всего посылает в окно два предостерегающих выстрела. Потом кричит Освальду:

— Послушай! У Иоханны все в порядке!

Крик весело разносится по дому. Будто именно эта новость даст им силы выстоять.

Из горницы не отвечают.

— Оссь! Освальд! Иоханна жива! — снова кричит Арнольд.

Ответа нет.

Он открывает двери горницы.

Со двора по ставням бьют одиночные выстрелы. Звенят о рамы оставшиеся осколки.

— Освальд! Освальд!

Не обращая внимания на выстрелы, Арнольд мечется по дому. Стреляет поочередно в каждое окно. Потом кидается на пол и ползет, шаря возле себя руками.

Вдруг рядом раздается голос Освальда. Он еле выдавливает из себя:

— Дай им как следует, Арнольд! Не сдавайся...

Голос слабеет, словно на эти слова ушли последние силы. И когда Арнольд наклоняется над Освальдом, то слышит лишь слабый шепот:

— Не сдавайся...

Он приподнимает голову друга. Рука становится мокрой.

— Осся!

— Да-а...

— Тебе что-нибудь надо?

— Да-а... Отнеси меня... к печке, на мешок... Холодно... — с трудом разбирает Арнольд слова Освальда.

— Сейчас, сейчас! Я еще разок пальну в них!

Парабеллум шлет несколько пуль сквозь ставни. Потом из кухни, из-за подоконника, в сторону сарая.

Арнольд ползет назад к Освальду. Собрав все силы, он тащит тяжелое, обмякшее тело Освальда на соломенный тюфяк.

Может быть, это единственное желание Осся, выполненное на этом свете полностью и до конца.

Сердце еще бьется, хотя пульс едва-едва прощупывается. Поглаживая рукой по лицу Освальда, Арнольд ощущает пальцами искусанные губы товарища.

— Осся!

Ответа нет.

Итак, единственное его желание, выполнённое сейчас, стало его последним желанием.

А его завет?

«Дай им как следует, Арнольд! Не сдавайся!»

Пули бьют о ставни.

Скоро утро.

«Дождусь ли я его?»

На дворе снова начинает трещать пулемет. Стальные горошины летят над полем. Теперь их звук стал еще противнее. Жутко прислушиваться к их зловещему свисту. Страшно думать, что они летят отовсюду в твою сторону, ищут тебя.

«Когда же свершится то, что мне уготовано?

Дуралей, что ты гадаешь!

Отчего здесь вдруг стало так холодно?

Дуралей, ну что ты дрожишь?

Оссь, Оссь! Почему же ты не отвечаешь?

Дуралей, он ведь погиб!

Кто здесь говорит?»

Только теперь Арнольд соображает, что это были его собственные мысли, он сам себя спрашивал и сам отвечал.

— Что это со мной? — громко произносит Арнольд. — Нашел время рассуждать! У тебя пистолет, патроны и руки целы. Поверь мне, Освальд Пийр, я не сдамся!

Арнольд поднимается.

Печь уже совсем остыла.

Как хорошо, что Освальд не знал этого. Хорошо, что он поверил: мое желание исполнилось.

Арнольд перебегает из горницы в кухню, из кухни в горницу. Стреляет. Стреляет за двоих, за троих.

Он остался один. Один против сорока.

9

Примерно в то же время, когда предатель Рикс красовался в лакированных ботинках, Арнольда вызвали на допрос.

Просторная комната, в которую конвоир ввел Арнольда, была мрачной и неприветливой. Вдоль стен тянулась темно-зеленая панель, над ней — зелено-бурые обои. В углу стояли два больших канцелярских шкафа. В комнате было четыре двери и два высоких окна. В одно из них можно было увидеть чахлый каштан и голубые просветы летнего неба. Другое выходило на серую стену соседнего дома.

Под этим окном, спиной к свету, сидел хорошо одетый молодой человек. Перед ним стоял широкий стол, покрытый зеленым сукном. На нем возвышались кипа папок, медная чернильница на подставке и настольная лампа под черным металлическим абажуром.

На зеленом сукне лежали листы белой бумаги. На них — готовая к действию рука, держащая полосатую сине-черно-белую ручку.

— Фамилия? — сухо спросил молодой человек и бросил мимолетный взгляд на сидящего перед столом Арнольда.

Допрашиваемый положил ногу на ногу, обхватил паль-

цами колено. Прямая спина его крепко опиралась о спинку стула. Уверенный и чуть насмешливый взгляд следил за деловито-важной осанкой чиновника.

Первые вопросы и ответы прошли гладко. На бумаге были записаны фамилия, год рождения, место жительства и прочие паспортные данные.

Следователь продолжал все тем же нудным тоном:

— В каких состояли организациях?

— Всеэстонский Союз молодых пролетариев, Таллинский Центральный Совет профсоюзов.

— И еще?

— Это все.

— А коммунистическая партия?

Этот вопрос следователь задал внезапно, видимо, надеясь застать Арнольда врасплох, и уставился на него испытующим взглядом.

Но чиновник увидел только, что насмешливое выражение глаз его противника сменилось явно насмешливой улыбкой. По-видимому, арестованный разгадал намерения следователя. Об этом свидетельствовал и его ответ:

— Я коммунист по своему мировоззрению.

— Значит, член партии?

— Простите, я этого не говорил, — ответил Арнольд подчеркнуто вежливо.

— Что вы крутите!

Чиновник чуть повысил голос. Но сразу же снова заговорил прежним суховатым и нарочито безразличным тоном.

Арнольд широко улыбнулся. Интересно, когда этот самоуверенный молодой человек проявит свою истинную натуру? Во всяком случае, глупо считать арестованного простофилей, который сразу признает себя членом коммунистической партии. Партии, запрещенной буржуазным законом! Большего ведь не требуется. Допрос можно сразу прекратить и заключенного немедленно отдать под военный трибунал.

Отмахивая такт ногой в замызганном сапоге, Арнольд произносит с прежним спокойствием:

— Мой ответ ясен. Больше я не желаю обсуждать этот вопрос.

Рука чиновника на белом листке протокола уже не так послушна, как его лицо и голос. Она предательски дрогнула, хотя выражение лица и не изменилось. Чиновник ледяным тоном произнес:

— С вашими желаниями здесь не считаются. Важно лишь то, чего желаю я.

— Сделайте одолжение. Я с интересом выслушаю ваш монолог о своей принадлежности к компартии.

— Напрасно разыгрываете мудреца!

В голосе следователя появились угрожающие нотки, свидетельствующие о его раздражении.

— Возможно, — улыбнувшись, ответил Арнольд. — Но мне это нравится.

Ручка стукнула о стол:

— Считаю своим долгом предупредить вас! Честное и искреннее признание облегчит...

Сделав руками отрицательное движение, Арнольд прервал чиновника:

— Не надо, не надо! Эта фраза мне хорошо знакома.

На шее следователя выступили красные пятна. Они появились от долго сдерживаемого волнения.

«Интересно, когда он наконец выйдет из себя?» — подумал Арнольд, следя со злорадством за состоянием своего противника.

Однако молодой чиновник хорошо владел собой. Он снова взял перо и осторожно обмакнул его в чернильницу. Потом поскреб пером о край чернильницы, чтобы снять лишние чернила.

Похоже на то, что он решил выиграть время. Ему хотелось вернуть себе прежнее душевное равновесие и официальный тон.

Положив перо на бумагу у конца прерванной строчки, следователь сухо спросил:

— Кто был инициатором Союза молодых пролетариев?

— Я.

— Вы? Один вы? Не верится.

— Сомневаться — это дело следователя.

— И с какой целью вы основали его?

— Об этом сказано в уставе. А устав утвержден соответствующими органами республики.

— Бумаги, найденные в вашей квартире, говорят о другом. Устав ваш был только вывеской. Прикрываясь ею, союз подстрекал молодежь на свержение государственного строя.

— Я при обыске не присутствовал. Не знаю, какие бумаги нашли в моей квартире. Иногда во время обыска неожиданно обнаруживаются такие предметы, которых раньше в квартире и не было.

— Вы хотите сказать, что...

— Я уже все сказал.

Сине-черно-белая полосатая ручка стукнула о стол уже громче. Капля чернил упала на зеленое сукно и медленно расплылась. Чиновник забыл о своей выдержке и с раздражением крикнул:

— Мы все знаем! Зачем вы скрываете? Приказ об организации союза вы получили от коммунистической партии. Вы что, все еще собираетесь отрицать это?

— О-о! У вас богатейшая фантазия! Везде мерещатся коммунисты... Если вам все известно, зачем же допрашивать меня!

Нервы у следователя окончательно сдали. Алые пятна, покрывавшие его шею, заалели теперь и на щеках, совсем как скарлатинная сыпь.

Он встал из-за стола. Отодвинул стул и истерически крикнул:

— Не разыгрывайте мудреца! Эта роль не подходит счетоводу!

Поднялся и Арнольд. Повернувшись к нему вполоборота и высоко подняв голову, он резко бросил через плечо:

— А вы не играйте в допрос. Циркач! У вашего дорогого кормильца, министра внутренних дел, обвинительный акт уже давно готов. Я могу говорить что угодно. Обвинение все равно будет состряпано так, как это нужно буржуазии. Покончим с этой комедией. И вообще я не люблю, когда на меня кричат.

Молодой самоуверенный следователь опирается пальцами о стол и молчит. Он не может себе простить, что потерял самообладание перед этим красным зубоскалом. С такими надо вести себя строго и высокомерно. Им нельзя показывать свою слабость. Его учили этому, и до сих пор он неукоснительно выполнял это требование. Только сегодня он вышел из своей роли. Недаром говорят, что этот Соммерлинг краснобай и ярый спорщик.

«Черт побери! И попался же на мою голову такой меднолобый! Ни одной вразумительной строчки я не смог записать из его показаний...»

Они молча глядели друг на друга. Следователь смотрел прямо, Арнольд через плечо.

Потом следователь положил на подставку ручку с пером и, тихо щелкнув крышкой, закрыл чернильницу. Все

это было сделано медленными и точно рассчитанными движениями.

После этого он вынул папиросную коробку. Открыл ее, не торопясь выбрал папироску, закрыл крышку, постучал о нее мундштуком — тук-тук-тук — и только тогда прикурил. Неторопливым взмахом погасил спичку. С наслаждением сделал первую затяжку. Выдохнул дым к потолку и сухо произнес:

— Ну хорошо. Вы еще пожалеете об этом.

Все эти нарочито размеренные движения преследовали цель внушить заключенному, что он имеет дело с властью, действующей всегда уверенно и обдуманно. И угроза эта сказана не наобум, а в результате трезвого размышления. Так сказать, предупреждение о возможных последствиях.

Слова эти сопровождались пронизывающим взглядом, который как бы подчеркивал их значимость и глубокий смысл.

Совершенно неожиданно Арнольд громко рассмеялся. Не деланно. Смех был естественный, потому что Арнольда и впрямь рассмешила чопорность этого чиновника.

— Ха-ха-ха! А я и не думал, что вы такой наивный. Неужели вы рассчитывали столь драматическим предупреждением вывести меня из равновесия!

Но в то же мгновение веселость его исчезла. И Арнольд, точно он властен распоряжаться здесь, решительно заявил:

— Пусть меня уведут в камеру. Эта беседа с вами мне до смерти надоела.

Следователь снова в упор поглядел на Арнольда. Казалось, он хочет еще раз напомнить заключенному о своей угрозе.

Потом позвал конвоира.

Через несколько дней Арнольд опять сидел в этой мрачной комнате с зелеными панелями.

Шкафы, четыре двери, письменный стол — декорация та же, за исключением небольшой детали: окно перед каштаном было широко распахнуто.

В комнату врывался свежий воздух, чириканье воробьев и оглушительный шум колес с железными обручами, что ударяли о булыжную мостовую, иногда высекая искры.

С каким наслаждением Арнольд подошел бы к окну, простер руки над головой и вдохнул бы полной грудью

летний воздух. Нагляделся бы вдоволь на забавных, суетливых воробьев. Послушал бы цоканье лошадиных копыт, доносившееся с улицы и напоминающее о деловых буднях города.

Все это было совсем иное, нежели холодные и безрадостно серые стены камеры. Грязный соломенный тюфяк на жестких нарах и вечный сумрак. Он напоминал Арнольду удушливую атмосферу молельни.

Не может, ну никак не может он привыкнуть к противоестественному человеческой натуре положению заключенного.

Перед глазами Арнольда мелькнула трехцветная ручка. И сразу же раздался бесстрастный, вышколенный и сухой голос того же молодого чиновника:

— Итак, приступим к очередному допросу.

Но вопроса не последовало.

Вместо этого чиновник выдвинул один из боковых ящиков стола и начал что-то вытаскивать оттуда. Но так как найти разыскиваемую вещь ему не удалось, она, вероятно, затерялась под другими вещами, он начал понемногу выкладывать содержимое ящика на стол. На столе появилась коробка с карандашами, старое пресс-папье. массивный нож для разрезания бумаги. Наконец был вытащен какой-то предмет. Его не показали, а, словно желая утаить, оставили у себя на коленях.

Затем следователь положил рядом с пером стопку белой бумаги и снова принялся укладывать вынутые из ящика вещи. Коробку, пресс-папье, нож для бумаги. Потом взял что-то с колен, и над краем стола мелькнул какой-то черный металлический предмет, ударился о ящик и, звякнув, упал на дно.

«Револьвер!» — пронеслось в голове Арнольда.

И хотя он ясно не видел и не мог поручиться, но вполне вероятно, что у этого человека имелось под рукой огнестрельное оружие. Конечно, он не захотел положить его на стол прямо перед арестованным.

И все же следователь действовал неосторожно. Глаз уловил контуры револьвера. Впрочем, зачем ему скрывать свой револьвер? Какая польза подследственному от сознания того, что в правом ящике стола у следователя лежит заряженный револьвер?

Занеся ручку с пером над бумагой и поправив манжет, чиновник спросил:

— Вы продолжаете утверждать, что один организова-

ли Союз молодых пролетариев, по своей личной инициативе?

— Да.

— И никаких указаний по поводу этого от коммунистов-подпольщиков не получали?

— Нет.

— Была ли у вас позже связь с Центральным Комитетом партии?

— Пытаетесь поймать меня? И так примитивно! — улыбнувшись, ответил Арнольд. — Никакой связи у меня не было ни раньше, ни теперь.

Голос следователя звучал удивительно безразлично. Он как будто не утруждал себя дослушивать ответы до конца. Один вопрос сразу следовал за другим. Казалось, что он не придавал заданным вопросам никакого значения.

«Это подозрительно, — подумал Арнольд. — Куда он клонит? Что последует за этим вступлением, с которым он, как видно, желает поскорее покончить?»

— И вы отрицаете, что у вас при обыске могли найти документы, свидетельствующие против вас?

— Отрицаю.

Следователь медленно встал. Положил ручку и сурово произнес:

— Ваше отпирательство смехотворно. Документы здесь, налицо. Одну минутку.

Высокий, худощавый чиновник встал из-за стола, деревянной походкой прошел по комнате и скрылся за ближайшей дверью.

Дверь захлопнулась.

Арнольд остался один.

За окном шумели деревья. На подоконник сел воробей. Удивленно повертел головой и скрылся. В качающейся на ветру кроне каштана блестело солнце. Пролетела, трепеща крылышками, желтая бабочка.

Арнольд тотчас же вспомнил о револьвере.

Он здесь, в правом ящике, в двух шагах от него.

Разве можно не использовать такую возможность!

Взять из ящика револьвер. Махнуть через подоконник. Комната ведь на первом этаже...

На все это уйдут лишь секунды!

Действуй! Чего ты сидишь! Испугался?

Но он не послушался этого внутреннего голоса.

Не двинулся с места. Ухватился пальцами за край стула, словно хотел силой удержать себя на месте.

Теперь в нем говорили сразу два голоса, два наставника: один из них видел только распахнутое окно и приказывал бежать, другой смеялся над легкомыслием первого и приказывал остаться на месте.

И второй голос взял верх.

Не слишком ли все это просто, чтобы так сразу поверить, что произошло случайно. Не так же глуп этот самоуверенный полицейский чиновник, чтобы сперва показать заключенному, где лежит оружие, а потом надолго выйти из комнаты. Если ему и впрямь что-нибудь понадобилось, он мог приказать принести. Ведь на столе есть звонок, а за каждой дверью какой-нибудь мелкий служащий.

Зачем ему понадобилось вынимать из ящика пистолет, а потом с шумом опускать его в ящик? Бумагу он мог достать оттуда и без этого.

И настежь распахнутое окно!

Не разыграна ли вся эта ситуация? С тем чтобы вынудить его к побегу. А потом? Конечно, пристрелить. Через несколько дней в газетах появилось бы сообщение под жирным заголовком: «Деятель компартии убит при попытке к бегству. При нем найдено оружие».

Теперь Арнольд знал уже наверняка, что за окном его ждут вооруженные полицейские. Не отрывают глаз от окна, и палец у них на спуске.

Неудивительно, если за этой зеленой панелью скрыты щели. И несколько пар глаз следят за каждым его движением.

Ему дадут добраться до окна и сразу же обстреляют с двух сторон! С улицы и из дверей. А револьвер, что лежит в ящике, наверняка не заряжен.

Буржуазия, конечно, боится, что на суде он не станет молчать. Известно, что он любит спорить, острить и разоблачать буржуазию. А мертвый говорить не может. На этом подоконнике с ним были бы сведены счеты. А так суд присудит ему несколько лет. Он отсидит свое, выйдет и снова начнет выступать против ненавистного строя! Ну зачем буржуазии такие неприятности?

Да. Убитый коммунист — это самый лучший для буржуазии выход.

«Ну погодите! Такой радости я вам так просто не доставлю!»

Арнольд положил ногу на ногу. Пальцы, сжимавшие края стула, онемели. Он сложил на груди руки крест накрест и с удовольствием стал шевелить затекшими пальцами.

«Конечно, все это инсценировка. Ведь намекнул же этот сударь на первом допросе, что Арнольд пожалеет. Но, может быть, это был намек не на какой-то крупный подвох с их стороны, а только пустая угроза оскорбленного человека. Это тоже вполне допустимо. Но я лишу тебя и этой радости! Надутый индюк!»

Арнольд закинул голову и тихо засвистел. В комнате прозвучали звуки «Интернационала». Они донеслись на улицу и заставили постовых удивленно покачать головой.

«Одна минутка» следователя растянулась надолго и все еще не кончалась.

«С каким видом появится этот тип здесь, в комнате? — подумал Арнольд. — И можно ли будет прочесть что-нибудь на его физиономии?»

Наконец одна из четырех дверей распахнулась. Чиновник с военной выправкой занял свое место за массивным письменным столом. Холодным, бесстрастным взглядом взирал он на Арнольда, на лице которого играла усмешка. Он быстрым движением положил ручку на медную подставку и небрежно кинул в ящик чистые листы бумаги.

— Документы, свидетельствующие о вашей связи с подпольщиками, сейчас находятся в другом месте. Допрос на сегодня окончен.

Усмешку на лице Арнольда сменила широкая улыбка.

— Жаль. А я ожидал остроумного и интересного спора.

Резким движением следователь скомкал лист бумаги, на котором для виду набросал раньше несколько строк.

Сжал бумажный комок в кулаке. Помял его и бросил в корзину для мусора.

— Вы трус! — выпалил он вдруг. И хотя голос его был по-прежнему сух и сдержан, в словах его прозвучала лютая ненависть.

— О, нет! — самоуверенно заявил Арнольд. — Я бы сказал — провидец!

Следователь схватился обеими руками за край стола и заорал:

— Вон!

Но Арнольд не двинулся с места.

— Извольте вызвать сперва конвоира. Если я один

выйду из комнаты, вы еще сочтете это за попытку к бегству. А я не хочу получить пулю в спину.

Этим и закончился поединок Арнольда с молодым следователем.

Перед тем как Арнольда впустили в камеру, часовой протянул ему «подаяние». Так именовали в тюрьме продуктовую передачу от родственников или знакомых.

«Подаяние», которое сестра Алийде передавала дважды в неделю в тюрьму, не было обычной посылкой. Это была глиняная миска, завернутая в белую салфетку, наполненная картошкой, капустой и кусочками мяса. Вкусное мясное блюдо было необходимой добавкой к скудному тюремному пайку.

Хотя аромат, шедший из миски, и вызывал аппетит, за еду Арнольд принялся не сразу. Осторожно провел он пальцами по узкому выпуклому краю дна миски.

Пальцы нащупали крохотную неровность. В ход пошел спрятанный под нарами кусочек проволоки, один конец которой был отточен о каменную стену. Небольшое усилие — и от неровной поверхности отделился и упал на стол микроскопический кусочек кирпича такого же цвета. Он искусно скрывал отверстие, просверленное в миске.

Потом проволока отправилась в тайничок.

Когда Арнольд потянул за кончик этого надежного приспособления, на свет появилась трубочка из папиросной бумаги.

Мельчайшим шрифтом Алийде писала: «Яссь хочет поговорить с тобой о молодежи. Помоги в свидании. Мать и отец кланяются. Приятного аппетита».

Ах, так! Все ясно: Яссь — Вильгельмине Клементи — ведает делами подпольного Коммунистического союза молодежи Эстонии. Она хочет в день посещения тюрьмы встретиться с ним. Что у нее на сердце? Во время свидания много не поговоришь. По одну сторону решетки родные, по другую — заключенные. Посредине разгуливают надзиратели. Каждый говорит со своими... От этого стоит такой гул, что... Но, может быть, самое необходимое удастся все же передать. Хотя бы самую суть. Уж Яссь-то поймет.

Но свидание разрешено только с очень близкими членами семьи. Что же предпринять, чтобы выдать Виллу * за родственницу? Есть лишь одна возможность. Надо по-

* Виллу — сокращение от имени Вильгельмине.

дать заявление начальнику тюрьмы, что Вильгельмине Клементи его жена и что он просит разрешить с ней свидание.

А что заставит начальника тюрьмы поверить его заявлению? Так каждый заключенный может любую девушку объявить своей женой. Где свидетельство о бракосочетании, прочие документы, доказывающие, что он ее муж?

Арнольд радостно улыбнулся.

Наверняка поверят! На сей раз сплетни буржуазных газет заменят нужные документы. В печати появилась заметка, что Клементи и Соммерлинг живут вместе, но их брак нигде не зарегистрирован. Буржуазии хотелось очернить рабочую молодежь в глазах читателей. Видите, мол, какие они!

Тогда это сообщение рассердило его, но теперь из этого можно извлечь пользу.

С давних пор они с Виллу были добрыми приятелями и единомышленниками. Да и кто мог не дружить с этой живой и предприимчивой девушкой? Арнольд очень уважал Виллу. Как друга и как соратника.

Из-под подкладки пиджака Арнольд вытащил клочок тонкой бумаги и огрызок карандаша. При обыске их, к счастью, не нашли.

Когда ответ был готов, он был водворен в просверленный тайничок. Оставалось закрыть отверстие и замаскировать его. Для этого у Арнольда в кармане были припасены осколки кирпича: на тюремном дворе во время прогулок удавалось иной раз подобрать кусочек и сунуть его в карман. Надзиратель, правда, следил зорко, но если наклонишься, чтобы завязать ботинок, так уж где ему заметить, что ты поднял с земли.

Подходящий по размеру осколок закрыл тайничок. Но не совсем. Трещинка оставалась видна. Тут помогла несложная операция. Край дна надо было смочить слюной, потереть другим кусочком, и глиняная пыль скроет трещинку вокруг затычки. Кто ничего не знал о тайнике, тому почти невозможно было обнаружить его в дне миски.

Во время этих процедур другие заключенные стояли сгруппировавшись вокруг стола, спиной к двери. Когда трещина была заделана, можно было уже не бояться любопытных глаз надзирателя, и кольцо заключенных распадалось.

Сестра принесет через несколько дней новое «подаяние» и получит пустую миску. Так записка выберется из тюремных стен. Пришлось повозиться, прежде чем просверлить трещину. Но это себя оправдывало. Такой тайничок надзиратели не обнаружат.

Потом все вместе отдали должное поварскому искусству Алийде. Ели молча. Наслаждались незатейливым, но зато домашним блюдом.

Мысли из мрачных стен уносились к родному очагу. В лачугу бобыля, в комнату с буфетом, в подвальную квартиру. Кто представлял себе руки матери, кто жены, кто сестры. Сильные, огрубевшие руки. Они чистили картофель, сыпали на сковородку муку для подливы, стирали, штопали, потом прятали листовки под платок и отпирали дверь...

В скважине щелкнул ключ.

При свете коридорной лампы на пороге появились надзиратель и молодой человек с растрепанными волосами.

— Ну, ступай, ступай! — подтолкнул надзиратель остановившегося у порога человека.

— Руки прочь! — смело огрызнулся вошедший.

Но надзиратель снова толкнул его, и тот вылетел на середину камеры.

Дверь с шумом захлопнулась.

Вошедший остался лицом к лицу с сидящими вокруг миски.

Из-под изношенного пиджака виднелась полинялая косоворотка. На ногах были высокие сапоги. Заправленные в них черные брюки свисали по краям голенищ. На узком лице человека чернела давно не бритая щетина.

В первый момент Арнольд ничего не мог определить по внешности прибывшего. Карманник ли это, мелкий жулик или даже убийца, а может быть, политический, как и они сами.

— Привет, ребята, — развязно произнес вошедший.— Что у вас тут за пир? Кажется, я прибыл вовремя. В животе у меня совсем пусто. Урчит вовсю — оглохнуть можно. Это чертово отродье таскало меня с одного места в другое. Выпытывали да выспрашивали, нет того, чтобы покормить человека.

Не дожидаясь приглашения, он быстро, по-свойски подошел к столу, словно твердо решил принять участие в чужой трапезе.

— Опоздал, братец, — сказал Арнольд. — Все уже навернули. Видишь, миска блестит, как лик Моисея!

Незнакомец посмотрел в миску. Словно хотел убедиться собственными глазами, что ему и впрямь не оставили ни крошки.

— Ничего не поделаешь, коли не везет, — махнул он рукой. — Затянем потуже ремешок, пока не примут на казенные харчи.

Новый арестант, не стесняясь, выбрал себе место среди других и стал с откровенным интересом их разглядывать. Заключенные, в свою очередь, глядели на него, и в камере воцарилась тишина.

В тюрьме день тянется долго. Здесь с выводами не спешат, быстро не знакомятся, не откровенничают. Время расставит все по местам и отделит зерна от шелухи.

Новичок казался чересчур непоседливым. Возможно, у него был такой характер. Возможно, что он был в тюрьме не первый день. И потому искал знакомства, чтобы поделиться своей бедой. Ведь разделенная беда — это полбеды. Человек только и жаждет, как бы облегчить ее.

— Вы кто такие будете? — спросил незнакомец, оглядев всех, кто был в камере.

— Кто входит, тот и представляется, — заметил Арнольд.

— Верно, верно, — быстро согласился незнакомец. Казалось, он только и ждал этого предложения. Но рассказывать о себе все же не стал.

— Вы политические? — спросил он шепотом.

Шепот его был неуместен и выглядел настолько комично, что вызвал у многих усмешку. Если кто-нибудь и подслушивает их разговор, то ему уж давно известно, кто за что сидит — чего же тут скрывать?

И Арнольд громко ответил:

— Да, мы политические. Но не преступники, а борцы.

Незнакомец с облегчением вздохнул.

— Слава богу, значит, попал в правильную камеру.

Вскоре Арнольду и его товарищам стала известна вся история новичка до мельчайших подробностей.

По паспорту он значится Антоном Марипуу. Паспорт этот находится сейчас где-то в тюремной канцелярии. Антона переправили из России в Эстонию на подпольную работу. Полночи он бродил по болотам, потом без всяких

помех пролез через проволочное заграждение и в Нарве сел в поезд. До Таллина добрался благополучно. Но здесь начались беды. Адрес, данный ему в России, оказался неправильным. Улица уже кончилась, а нужного номера дома так и не оказалось. Тогда он подумал, а не перепутал ли он номер дома с номером квартиры. Проверил, но на пароль ответили неверно.

Он принялся комбинировать цифры номера дома и квартиры. Полдня колесил по этой улице. Ходил из дома в дом, пока его не застукали фараоны и не увели в участок. Чего он, мол, снует из одного дома в другой. Он пытался оправдаться, что приехал из Валга в столицу навестить двоюродную сестру и забыл ее адрес. Валга назвал потому, что в этом городе был зарегистрирован его паспорт.

В полиции ему почему-то не поверили, и вот он попал сюда, в эту тринадцатую камеру, что само по себе добра не предвещает. Где-то ждут его товарищи, надо выполнить задание...

— Что за чепуха с этими номерами? — произнес Антон, закончив свое повествование. — Не можете мне подсказать, куда бы мне обратиться, чтобы восстановить связь?

Такой вопрос после десятиминутного знакомства показался подозрительным, и Арнольд кратко ответил за всех:

— Не знаю.

Разве заглянешь в душу Антону? Может быть, он честный и простодушный малый. А вдруг шпик? Послан в камеру для того, чтобы вызвать людей на откровенность? Такими приемами в тюрьмах пользовались и раньше.

Неприветливый ответ Арнольда и сдержанное поведение остальных заключенных не укрылись от внимания Антона.

— Конечно, ребята, — произнес он, смущенно улыбаясь, — вы правы. Не можете же вы ни с того ни с сего поверить мне на слово. Был бы я на вашем месте, так тоже сомневался бы. Конечно, обидно, когда чувствуешь, что тебе не верят. Но ничего не поделаешь. Вы тоже люди бывалые... а шпиков подсовывают всюду...

Некоторое время в камере стояла тишина.

Искренность Антона, его простота и сообразительность склоняли людей на его сторону. И верно: нет более

тяжелого положения, чем когда товарищи отгораживаются от тебя стеной недоверия.

— Ладно, — грустно произнес Антон. — На сегодня хватит об этом. Время покажет, кто я и что я. Одно еще хочу сказать.

Говоривший бросил взгляд на дверь и продолжал шепотом:

— Мне удалось под бельем провезти изрядную сумму. Шарили все больше по карманам и под подкладкой пиджака... Если знаете какого-нибудь надзирателя, который согласен закрыть на все глаза, то... Может, удастся устроить побег. Деньги здесь.

Новичок поднял ногу на нары и засучил край штанины. Остальные окружили его, чтобы нельзя было увидеть в дверной глазок.

Из-под спущенного носка показался край белых кальсон. Он был туго обвязан тесемками. Антон размотал тесемки. Показалась солидная пачка ассигнаций.

— Теперь вы знаете, — произнес Антон, снова завязывая свой тайник. — Эти деньги общие. При случае можно будет пустить в ход.

И эту новость приняли молча. Хотя никто и не отрицал, что искренность Антона произвела приятное впечатление.

Уже на следующий день на тюремном дворе во время прогулки заработала «машина» по сбору информации. Данные собирали в камерах, при случайных встречах в коридоре, в умывалках.

— Тринадцатая камера... новый. Среднего роста, худощавый, глаза серые... нижний передний зуб кривой... Разговорчивый, непоседливый... Перешел границу... имеет деньги... имя Антон Марипуу...

Отрывочные данные передавались от одного к другому. К вечеру их имели все.

Такими же скудными, тут и там оброненными фразами постепенно стали прибывать ответы.

«Не знаю». «Ничего не могу сказать». «Такого не встречали».

Казалось, подозревать Антона не было основания. По крайней мере, провокатором его никто не считал. Но товарищи по камере держались с ним все же холодно. Как могло случиться, что на подпольную работу по-

слали человека, о котором несколько десятков политзаключенных ничего не слыхали?

Время покажет. И вообще, как гласит старое правило конспирации: десять раз проверь и только тогда поверь.

Несколькими днями позже к заключенным в тринадцатую камеру прибыло тревожное сообщение:

— Опознан во время прогулки. Чиновник охранки. Из Тарту. Ловкач.

— Значит, все-таки шпик!

Завозят легавых даже из Тарту! Ну да, их ведь в Таллине почти никто не знает.

Разговор с Антоном в камере был ясен и короток.

— Ах ты, скотина! Вынюхивать пришел? А ну давайте сунем эту падаль головой в парашу! — скомандовал Арнольд без лишних разговоров.

Антон не удивился и не стал притворяться. Он все понял. Не произнес ни слова протеста. Поди-ка знай этих угрюмых людей! С них может статься, что и сунут в эту проклятую посудину. А может произойти и худшее...

Антон попятился к двери. Изо всех сил начал колотить в нее кулаками. Колотил неистово, отчаянно, точно взывал о помощи. Но прежде чем охранник успел его вызволить, ему порядком намяли бока.

На следующее утро Арнольда посадили на три дня в карцер, в одиночную камеру, на хлеб и воду. Он обвинялся, как значилось в приказе начальника тюрьмы, в «издевательстве над служителями церкви».

Нетрудно было догадаться, что это было дело рук Лжеантона.

А случай этот произошел несколько дней назад, когда в тринадцатую камеру явился слуга божий в черной одежде и с золотым крестом на груди.

— Дорогие братья! — кротко начал неожиданный гость. — Только что я завершил общее тюремное богослужение. И, к своему великому огорчению, узнал, что никто из этой камеры на нем не присутствовал. Потому я и явился сюда. И мне хочется здесь, у вас, еще раз поведать вам истину из сегодняшней проповеди. Поведать о том, что говорит наш господь бог о злом заговоре и бунтарстве против законной власти...

— Аминь! — поддразнил его кто-то.

— Не трудитесь! — перебил Арнольд.

Но пастор был терпелив и продолжал нараспев:

— Вы молоды, сын мой. Почему в сердце своем вы даете волю злым помыслам и жестоким планам против нашей дорогой государственной власти?

— А почему эта дорогая власть сама вынашивает против нас злые помыслы и коварные планы?

— Сын мой...

Но закончить свою речь пастору на сей раз не удалось. Арнольд ударил кулаком по столу и крикнул:

— Не оскорбляйте меня, называя своим сыном!

Пастор замолк и тяжело вздохнул.

Среди заключенных послышались недовольные возгласы:

— Хватит брехни!

— Дверь вон там!

Пастор был в недоумении. Что предпринять? Истинный проповедник слова божьего не может дать так запросто выкинуть себя за дверь! Да еще кому?

Вдруг пастор вспомнил о библии, которую он все время судорожно сжимал в руках. Эта святая книга поможет ему с достоинством ретироваться.

— Я оставляю вам священное писание. Читайте его. Читайте и вдумывайтесь в мудрые слова библии. Я уверен, что в свете этой мудрой истины вы...

Арнольд снова прервал речь пастора:

— Нет смысла оставлять. Бумага для нас неподходящая. Закрутки не свернешь!

Но тут притворное спокойствие пастора лопнуло. Глаза его засверкали. И, отступая к двери, настежь распахнутой надзирателем, он крикнул угрожающим голосом:

— Вы безбожники! Вас ожидают страшные муки!

И под смех заключенных Арнольд вдруг комично затрясся и, запинаясь, проговорил:

— О-о, чернориэец! Как вы нас, бедных, напугали. Что станет с нами, несчастными... Беда ждет! Беда ждет! С Вышгорода! С Вышгорода!

Дверь за попом затворилась. Антон подошел к Арнольду и, похлопывая по плечу, одобрительно сказал:

— Здорово ты ему выложил! Начисто срезал старика!

А теперь этот шпик-лицемер сумел ублажить своих господ хотя бы тем, что дал им повод посадить Арнольда в карцер.

Эту тесную душную клетку Арнольд хорошо изучил в дни заключения. Протест против насилия частенько приводил его сюда. Но, не страшась карцера, он не упускал случая высказать свое мнение.

10

В лунном свете дремлют березы. Под ними наготове солдаты с оружием. Много солдат, много оружия. Точно черные личинки на белом снегу.

Арнольд один против всех.

Может быть, последний выстрел, который Арнольд еще услышит, прогремит уже в следующую минуту. Может быть, пройдет еще час, два, три. Какое значение имеет теперь время?

Имеет. К чему же тогда борьба? Отчего даже в самом безнадежном положении оставляют для себя последнюю, а не первую пулю?

Арнольд сидит на каменном полу. Мысли приходят и уходят.

«Мне двадцать шесть лет. Вся жизнь еще впереди, — так говорят о людях моего возраста. Многообещающие слова, потерявшие для меня смысл.

Грустно ли мне? Нет. Только устал, страшно устал.

Куда девалось отчаяние? Почему не испытываю отчаяния при мысли о последнем выстреле?

Есть только трезвый расчет: столько-то осталось патронов, никого нельзя подпускать к кухонному окну... Есть ощущение холода, от которого коченеют руки. Есть острая боль в боку.

Откуда же спокойствие и твердость? Желание продержаться как можно дольше?

Откуда... Что тут рассуждать! И так ясно. Я сам избрал этот путь. Сегодняшняя ночь не случайность или несчастный случай. Я принял на себя обязанности и выполняю их. Выполняю свой долг. Это и дает мне спокойствие и уверенность. Отгоняет сомнения. Да разве я сомневаюсь? После того как Георг там, за воротами, спросил: «Пойдешь с нами?» — я перестал сомневаться.

...Георг. Где ты сейчас? В последний раз я видел тебя в квартире Вакманов 1 декабря днем, после восстания. Тогда Анвельт велел нам разойтись, постараться переправиться через границу. А Георг должен был остаться: надо было сплотить раздробленную партию. Почему я тогда не остался с Георгом?»

Передышка закончилась. Пулемет осаждающих снова начинает методично простреливать домишко Тупсов. Только печь защищает от свистящих пуль.

Арнольд выбрасывает из-под печки дрова и залезает под нее. Скорчившись, он вполне умещается здесь, и, кроме того, отсюда можно стрелять как в сторону окон, так и дверей.

Осаждающие понимают, что в доме отстреливается только один человек. Поэтому весь огонь сосредоточен на кухонном окне, двери и стене возле нее.

«Почему они не врываются в окна горницы или в дверь гумна? Трусят? Может быть... Ну да, они ведь знают, что мне все равно не спастись. К чему тогда рисковать, подставлять свою голову под пули парабеллума! Они потеряли надежду захватить меня живым. Им нет смысла рисковать. Хотя обстреливают издали и наобум, но все равно когда-нибудь да попадут».

Патроны надо беречь, и Арнольд стреляет редко. Стреляет только для того, чтобы держать осаждающих подальше от дома. Помешать массовому наступлению на окна и двери.

«Конечно, есть смысл стрелять с дистанции, в особенности когда патронов много. Однако они могли бы покончить со всем этим гораздо быстрее».

И Арнольд делает вывод:

«Они просто трусы. Каждый из них думает: вдруг попадут в меня? И не выходят из своего укрытия. Конечно, их можно понять. Рисковать своей шкурой за жалованье вряд ли кому-нибудь хочется. Ничего другого, что заставило бы рисковать жизнью, у них нет. Нет идеи. Если представилась бы возможность, то большинство из них побросало бы оружие в лесу и убежало бы домой к женам и к детям. Здесь, у этого дома, остались бы только те, кому вывихнула мозги националистическая брехня буржуазного правительства». Стрельба прекращается. Тишина.

Враг прислушивается: не попали ли в того, последнего, в этом темном доме?

Но им нельзя дать долго прислушиваться. Тишина придает им смелости. Вот они уже начинают подбираться ближе.

Арнольд бежит в горницу. Стреляет сквозь ставни. Потом из своего парабеллума посылает предупреждающие выстрелы из кухонного окна. Распахивает входную дверь и несколько раз стреляет в сторону берез.

«Так. Теперь они знают, что близко подходить к дому все еще опасно».

Арнольд лежит возле печи, среди разбросанных по полу поленьев.

Неожиданно приходит мысль: «Хоть бы кто-нибудь сообщил матери о моей смерти».

И еще он от всего сердца желает, чтобы это был человек из числа его соратников. Чтобы матери не вручили одно лишь извещение о смерти, казенную бумажку с печатями. Чтобы мать утешили теплые слова товарищей.

Как-нибудь очень грустным вечером мать вынет это письмо из ящика комода. Начнет читать, и рядом с грустью возникнет другое, теплое чувство.

Перед глазами Арнольда удивительно ясно возникает письмо Георга матери и отцу после убийства брата Яана на улице Татари. Он погиб не в открытой борьбе. Охранник в штатском трусливо выстрелил Яану в спину.

Арнольд случайно прочел это письмо. Многие строки из него он запомнил слово в слово, точно выучил наизусть. Возможно, Арнольд и не представлял себе, что Георг может писать такое, и поэтому слова друга так остро врезались в память.

Георг писал:

«Дорогие родители! Разве слезы помогут?

...Когда мне по телефону сообщили, что Яан убит, меня охватила дрожь, но вместе с тем и другое чувство, от которого сжались губы...

Дорогая мама, не плачь, не жалей о том, что он участвовал в борьбе. Знай, что он был сыном трудового народа и выполнил по отношению к нему свой долг, остался верным этому делу до самой смерти...».

Арнольд помнил, как и его корила мать порой: «Скажи, отчего это ты занимаешься делами, которые могут навлечь на тебя одну лишь беду!»

Но когда знакомые или даже чужие в присутствии матери хорошо отзывались о ее сыне, хвалили его за выступление, за энергию, за смелость, Арнольд всегда улав-

ливал в глазах матери какой-то удивительный блеск, который она безуспешно пыталась скрыть от сына.

Радость и забота живут рука об руку. А если говорить о чувствах матерей, то это именно так, тысячу раз так.

Слышать похвалу людей и тут же видеть скрытую гордость матери было для Арнольда большой радостью и вселяло в него силу, вдохновляло на новые дела.

Каменный пол источает холод. Тело словно одеревенело. Арнольд поднимается, садится. Дышит на окоченевшие пальцы.

Несмотря на боль, холод и ожидавшую его пустоту, пытливый ум бодр и деятелен. Хотя ему и удается направить свои мысли по другому руслу, неуловимые нити все же вновь возвращают их к восстанию.

Он пытается думать о далеких землях, которые он так хотел увидеть. Еще мальчишкой мечтал о них, увлеченный книгами о путешествиях. Может быть, он под влиянием своих детских увлечений и пустился бы в какое-нибудь путешествие, если бы постоянные заботы Алийде о пропитании, деньгах и жилище не заставили его задуматься о другом.

Далекие земли — это ведь и горы и реки России. И они еще не обхожены... Россия... Первое в мире государство рабочих... И снова мысли возвращаются к восстанию.

Он вспоминает дедушку и его рассказ о мальчишке-работнике, которого наказали плетьми в хлеву на мызе. Надсмотрщик обвинил мальчишку в том, что тот в полдник рано распряг лошадь. Не дождался, пока старшие батраки закончат работу.

От этих воспоминаний до мыслей о восстании — один шаг.

Арнольд выходит из-за укрытия и делает свой обход. За окнами горницы глаз не различает никакого движения.

Луна опустилась немного ниже и повисла как раз на уровне глаз, среди березовых веток. На снегу распластались длинные-предлинные тени стволов, словно на белой земле пролегли узкие канавки.

Тихая зимняя ночь. Ступай на двор, потянись, набери полные легкие морозного воздуха.

Да-а... Там тебя стерегут крохотные черные ружейные дула. Выжидают, когда покинешь свой пост. Чтобы прикончить точным выстрелом.

Арнольд быстро пересекает комнату, ступает через порог и из-за печи смотрит в сторону окна.

Виднеется уголок мирного заснеженного двора. За ним — стена сарая, разделенная надвое тенью крыши дома. Ниже до самого снега тянется широкая черная полоса. Над ней глаз ясно различает отдельные бревна и даже круглые следы от сучков.

Тишина. Неподвижность. Кажется, что полицейские ушли и забыли о нем.

Но долго так продолжаться не может. Каждый миг что-то готовит. И сам он не в состоянии предотвратить это.

Тело постепенно напрягается. В нем словно гигантская пружина, которую непрерывно заводят. Сердце начинает неистово колотиться, его удары отдаются всюду, даже в животе и в кончиках пальцев.

«Успокойся! Успокойся! — уговаривает он себя. И со страхом замечает, что самовнушение бессильно. Напротив. Кажется, что пружина закручивается еще туже... Еще и еще... До каких же пор? — Я больше не выдержу, — проносится у него в голове. — Я должен что-то сделать! Я не в силах ждать! Я должен сейчас же...»

Рука поднимается сама по себе, бессознательно. Поднимается и стреляет в окно. Пуля сбивает остатки стекол в раме.

Дзиннь-нь...

Постепенно звук выстрела затихает в ушах. И снова тишина.

И вдруг! В кухонное окно беззвучно влетает граната. Она поднимается к потолку, не задевая его, летит вниз и падает возле печки.

Арнольд не успевает броситься на пол. Взрыв швыряет его о стену. Жгучая боль обжигает все тело. Рука инстинктивно ищет опоры. Опоры нет, и Арнольд опускается на каменный пол у самой печной дверцы.

«Стреляй! Стреляй!» — кричит в нем какой-то повелительный голос. Этот голос сильнее, чем боль, охватившая все его тело.

Он хочет поднять руку, ту, что держит парабеллум. Напрягает все силы. Рука стала невыносимо тяжелой. Словно каменные плиты пола притягивают ее к себе.

Наконец он овладевает своей рукой. Рука поднимается, направляет парабеллум в сторону окна.

Прежде чем Арнольд успевает спустить курок, его оглушает новый взрыв гранаты.

В плечо точно вонзается каленое железо.

«Стреляй! Стреляй!» — снова кричит кто-то.

Он выпускает в квадрат окна всю обойму.

«Стреляй еще! Стреляй!» — приказывает тот же властный голос.

Он нажимает спусковой крючок и не может понять, почему пистолет не стреляет.

Тогда он приподнимается, садится. Опирается плечом о печь.

Сердце в груди колотится как одержимое, стучит словно молот. Лоб покрывается испариной.

Откуда столько боли?

Арнольд кладет парабеллум рядом с собой, на гладкий, вытоптанный камень. Находит в кармане горстку патронов и ссыпает возле оружия.

Не спуская взгляда с окна, начинает заряжать пистолет. Заряжает медленно, с большим трудом. Словно ему приходится делать это впервые. И только теперь Арнольд замечает, что все это время действовал одной только правой рукой.

«Почему это так? Ведь у меня две руки!» — удивляется Арнольд.

Как он ни старается, левая рука не слушается своего хозяина.

«Ну ладно, хватит и одной, — успокаивает он себя. — Как-нибудь втолкну эти несколько патронов. Главное, чтобы полицейские не подобрались за это время слишком близко».

В голове у него прояснилось. Голос подсознания замолк. Мысль работает четко. Если бы только не эта боль!

Одежда прилипает к телу.

Наконец последний патрон отправлен в обойму.

Опираясь о печь, Арнольд сползает на пол. Холод каменных плит проникает сквозь одежду. Это хорошо. Это даже уменьшает боль.

Он вытягивает правую руку с пистолетом вперед. Он готов принять новый бой.

11

Уже целый год заключенных держали под предварительным следствием. Их допрашивали, били, угрожали, подбивали на предательство. Потом буржуазия широко

оповестила, что скоро начнется судебный процесс, где на скамью подсудимых сядут 115 коммунистов, пытавшихся свергнуть государственный строй.

В ответ на это сообщение двадцать тысяч таллинских рабочих с сотнями знамен и лозунгов вышли на первомайскую демонстрацию.

Во время шествия демонстрантов на Нарвском шоссе возникла перестрелка. Убили одного полицейского. Сразу начались аресты. Среди арестованных нашелся человек, который дрожал за свою шкуру. Этот человек по имени Линкхорст предал Виктора Кингисеппа. Буржуазия торжествовала, но вместе с тем боялась и нервничала. Неизвестно еще, что предпримут рабочие, узнав об аресте Кингисеппа. И на следующую же ночь после жестокого допроса Виктора Кингисеппа убивают.

Это убийство вызвало протест многих рабочих организаций даже за границей. В коммунистической печати всего мира появились воззвания, посвященные вождю эстонского трудового народа. Советское правительство решило пограничный город Ямбург переименовать в Кингисепп. Это явилось как бы предупреждением эстонской буржуазии: ни в одной стране революционеры не одиноки, во всем мире у них миллионы преданных идейных соратников.

В такой обстановке 19 мая 1922 года начался суд над 115 коммунистами.

Было теплое весеннее утро. Ранние пешеходы — рабочие, торопившиеся на заводы, — исчезли с улиц. Настал черед конторских чиновников, школьников и хозяек, спешивших на базар. С грохотом катились телеги по булыжной мостовой. Иногда громко гудели проезжавшие автомобили, пугая лошадей.

На Тартуском шоссе, перед невысоким каменным зданием, которое называлось Домом солдата, взад и вперед прохаживались группы из трех-четырех мужчин. Бедная одежда и огрубевшие руки свидетельствовали о том, что это рабочие.

Люди приветствовали друг друга, курили, чтобы скоротать время, или, собравшись в группы, обсуждали что-то вполголоса.

После восьми утра прибыла полиция.

— Что здесь за сборище? Расходитесь!

— Вот еще! Выходит, что по улицам уже ходить нельзя?

— Ну и потеха! Видно, у больших господ из-за нас коленки трясутся!

— Неужто какой-нибудь кровопийца откупил все Тартуское шоссе! Будет один по нему прогуливаться!

Полиции был дан строгий приказ не подпускать к зданию суда подозрительных людей, чтобы не возникло никаких демонстраций.

Рабочие не обращали внимания на городовых. Только отшучивались.

В конце концов группы людей удалось рассеять. Полиция радовалась: не надо больше возиться с рабочим людом. Но сразу же прибыло новое распоряжение: запретить и отдельным лицам стоять и ходить перед Домом солдата.

И снова началась перепалка.

— Разве вам не известно, что объявлено военное положение? — закричал полицейский с толстым загривком. — А в такое время всякое сборище запрещается!

— С кем вы войну затеяли? Со своими же рабочими!

— У нас ведь, кажется, республика? А царские законы все еще в ходу!

Перебранка продолжалась до тех пор, пока не стали привозить заключенных. Полицейские оцепили вход, чтобы оградить арестованных от поджидающих их рабочих.

Улица огласилась приветствиями и добрыми пожеланиями:

— А вот и Яан! Привет!

— Держись, ребята!

— Эх, черти! Глядите-ка, и грудные дети тоже под судом!

Действительно, одна из молодых женщин несла на руках малыша. Куда же было Элле Кару девать своего Тазуя, когда ее вели в тюрьму?

Одну половину судебного зала занимали подсудимые, другую — публика. На каждого подсудимого впускали только одного человека. В разных концах зала сидели шпики.

Навострив уши, они прислушивались к разговорам родственников и знакомых. Может, говорят что-нибудь крамольное.

Раз военное положение, то и суд военный. В зал вошли офицеры. Теперь они будут судить рабочих.

Подсудимые тихо переговаривались между собой.

Большинство из них были оживлены, даже веселы. Не хотелось показывать свою тревогу ни родственникам, ни судьям.

Но некоторые заключенные все же сидели понурившись, обхватив руками голову или удрученно глядя перед собой.

Вдруг закричал маленький Тазуя. Крик его громко разносился по всему залу. Казалось, малыш хотел сказать:

— Только история сможет судить мою мать. А суды я не люблю. Кричу, когда мне вздумается, и все тут!

Господа офицеры за судебным столом хмурились. Дежурный офицер подскочил к матери с ребенком, чтобы выдворить их из зала суда.

Началось установление личности подсудимых и другие предварительные процедуры. Они продолжались долго. Потом был объявлен перерыв.

Родные стали протискиваться ближе к подсудимым. Вдруг удастся тайно пожать руку, подбодрить простым добрым словом. Но вооруженная стража плотным кольцом оцепила заключенных. Оставалось только приветствовать друг друга взглядом или помахать рукой.

После перерыва председатель начал зачитывать обвинительный акт:

— ...появились листовки, призывавшие к свержению государственного строя... Депутаты профсоюзов называли себя в Государственном собрании группой коммунистов... Члены Союза молодых пролетариев получали инструкции от запрещенной партии коммунистов, от Виктора Кингисеппа.

Едва прозвучало это имя, как все сто пятнадцать подсудимых встали. Их примеру последовали и сидящие в зале родные заключенных.

Мужчины и женщины стояли со строгими и суровыми лицами.

Председатель пришел в замешательство и прекратил чтение обвинительного акта. Судьи растерянно смотрели на людей, заполнивших зал, которые перед лицом закона поступали по своим законам. Дежурный офицер стоял сам не свой, не зная, что предпринять, ждал приказаний начальства.

Минута молчания продолжалась.

В мертвой тишине зала послышался шелест бумаги. Председатель нервно перебирал листы обвинительного

акта. Наконец, сообразив, что делать, он громко и неожиданно вежливо произнес:

— Прошу сесть!

Зал не реагировал. Мужчины и женщины, стар и млад, стояли в молчании.

— Сесть! — с ожесточением выкрикнул дежурный офицер.

И это не подействовало! Ведь минута еще не прошла. А память чтят минутой молчания.

Дежурный попукал заключенных. Грозился выгнать публику из зала. Но все сели лишь после того, как прошла минута.

Председатель продолжил чтение обвинительного акта. Каждый раз, когда в нем фигурировало имя Виктора Кингисеппа, он старался произнести его побыстрее, словно имя это обжигало его огнем.

Чтением длинного перечня обвинений закончился первый день судебного заседания. Заключенных начали препровождать обратно в тюрьмы.

Перед зданием суда стояла толпа. Снова прозвучали приветствия и добрые пожелания. Полицейские силой разгоняли рабочих.

Наступил второй день суда.

— Арнольд Соммерлинг, признаете ли вы себя виновным в том, что, будучи членом коммунистической группы Государственного собрания, вы принимали участие в работе подпольной коммунистической организации?

Медленно, с чувством собственного достоинства Арнольд встал со своего места. Он был одет в длинную ярко-красную рубашку, опоясанную ремнем. Красные рубашки были и на многих других заключенных.

Арнольд поправил ворот рубашки, расправил плечи и пригладил складки на спине. Покрасовавшись перед господами судьями своей красной рубашкой, он ответил свободно и уверенно:

— Предъявляемое мне обвинение, будто я являюсь членом подпольной коммунистической организации, — это провокация со стороны охранной полиции. А сделано это для того, чтобы Союз молодых пролетариев и другие рабочие организации, действующие против буржуазии, лишить права легальной деятельности и отдать их под военный трибунал.

Потом зачитали дополнительное обвинение, выдвинутое против Арнольда. В прошлом году вечером, в мае ме-

сице, у Зеевальда, когда полицейский хотел схватить Сommерлинга и его двух товарищей, Арнольд будто бы выстрелил в охранника, но, к счастью, не попал в него.

Точно ужаленный вскочил Арнольд со своего места и крикнул на весь зал:

— Это заявление, будто я, решив пристрелить охранника, не мог попасть в него на расстоянии двух шагов, считаю для себя оскорбительным. Бьюсь об заклад, что если вы поставите этого полицейского к той стенке, — Арнольд указал рукой на заднюю стену зала, — и дадите мне в руки оружие, то он уже больше никогда не подпишет ни одного протокола и не сфабрикует ни одного доноса!

Зал зашумел. Арнольд продолжал:

— Все это понадобилось вам для того, чтобы хоть в чем-нибудь меня обвинить. Да вы и сами понимаете наивность вашего первого обвинения. Оно не может отстранить меня от моей вполне легальной деятельности.

Арнольд с достоинством сел на свое место. Ему невольно вспомнились угрожающие слова бесстрастного следователя: «Вы еще пожалеете!»

Не сфабриковано ли это обвинение, чтобы выполнить ту угрозу? За вооруженное сопротивление охраннику трибунал имеет право приговорить к смертной казни.

Вызвали свидетелей, которые подтвердили, что Арнольд Соммерлинг находился в тот вечер у них и что они никогда не видели у него оружия.

Один из судей спросил Арнольда:

— Вы говорите, что вы хороший стрелок. Но тогда вы должны иметь оружие. Иначе как вы можете утверждать это?

Широко улыбаясь, Арнольд поднялся со своего места. Оправил на себе красную рубашку и сказал:

— Этому меня научила царская армия. Я был лучшим стрелком в своем полку. Я и теперь попаду в цель! В особенности в охранника!

Зал разразился хохотом.

Чем дальше, тем больше беспокойства причиняли заключенные военному трибуналу. Судебное заседание грозило превратиться в трибуну для выступлений молодых пролетариев. Не только у Арнольда, но и у многих других подсудимых на вопросы суда были всегда готовы остроумные ответы, высмеивающие буржуазное судопроизводство. Всем было ясно, что высказывания заключен-

ных не останутся в этих четырех стенах. Матери и отцы, сестры и братья наверняка распространят их по городу. Конечно, подсудимые понесут наказание, но их смелые доводы и бесстрашные речи пустят свои ростки в сердцах юного населения рабочих окраин. Чего доброго, еще получится, что такой трибуны, как здесь, в здании самого суда, у молодых пролетариев до сих пор никогда еще не было. А их главарь в красной рубашке особенно остер на язык.

На шестой день подсудимым было предоставлено заключительное слово.

Кто говорил о пытках во время допросов, кто заявлял, что буржуазия стремится уничтожить всех революционно настроенных рабочих, чтобы как-то удержаться у власти, кто утверждал, что отдал все свои силы борьбе за освобождение угнетенного народа и чист перед своими товарищами, а у буржуазного суда ничего просить не будет.

Заключительное слово Арнольда прозвучало так:

«Я говорю сейчас не для того, чтобы оказать влияние на суд. Надеюсь, что кто-нибудь из сидящих в зале товарищей передаст мои слова рабочему классу.

Нас обвиняют в том, что Центральный Комитет Коммунистической партии Эстонии признал якобы список депутатов Таллинского Центрального Совета профсоюзов и агитировал в их пользу. Почему же не оглашают протокола собраний Центрального Совета, из которых стало бы ясно, кто является истинным составителем этих списков?

Я будто бы получал инструкции от Коммунистической партии Эстонии, но их не нашли только потому, что они мною якобы уничтожены. А я скажу, что прокурор мог получать инструкции от Виктора Кингисеппа! И их у прокурора не обнаружили только потому, что он их уничтожил!

Пророки господствующих классов Эстонии почему-то делят коммунистов на две категории. Одни, видите ли, идейные, а другие террористы. Прокурор, основываясь на материалах охранной полиции, сделал из меня двуглавого змея, при виде которого честных обывателей бросает в дрожь. Я, с одной стороны, агитирую за коммунизм, и вместе с тем я террорист.

Что касается агитации и того, что я сторонник идейного коммунима, то не собираюсь этого отрицать. Я — коммунист по своему мировоззрению. Сам, по своей инициативе, основал Союз молодых пролетариев и агити-

ровал за коммунизм и в Таллине, и на островах Сааремаа и Хийумаа. Моей целью является власть рабочего народа, защищающая интересы рабочих, и служащих, и всех тех, кто не эксплуатирует других, а живет собственным трудом. К такой власти должен стремиться каждый честный человек. Это тот государственный строй, за который я готов пострадать. Я знаю, что боролся за лучший общественный строй. И делал это на основе конституции демократической республики. А Союз молодых пролетариев и группы в Государственном собрании, от которых я выставил свою кандидатуру, были учреждены и избраны на законном основании. Какое бы наказание меня ни ждало, я и не помышляю отказываться от своего мировоззрения и буду агитировать за него до последнего вздоха. Что же касается террористических выступлений, то это попросту беспомощная выдумка охранной полиции. За эти дни мы наслушались их вдоволь. И я снова заявляю, что могу попасть в любого полицейского, поставленного у той стены, хотя, как утверждает свидетель, я и не имею оружия. Что же касается свидетельских показаний охранной полиции, то они были настолько противоречивы и настолько наивны, что ни один здравомыслящий человек им не поверит. Один «свидетель» сказал, что я поехал в сторону деревни, другой — что поехал в город. Вспышку при стрельбе ни тот, ни другой не видел.

Я с презрением отклоняю эти обвинения. Это неприкрытое лжесвидетельство — и удивляться тут нечему! На кого же охранке и фабриковать ложь, как не на коммунистов, пролетариев? За это их хозяева и платят им жалованье!

Вы судьи и вольны поступать, как вам заблагорассудится. Мы в вашей власти. Но победного шествия рабочего класса не остановит ни один судебный приговор. И пролетариат установит новый общественный строй. Он сделает это, несмотря ни на какие запугивания!»

Во время речи Арнольда в зале царила глубокая тишина. Для всех это была самая важная минута за всю неделю судебного процесса. Слова, сказанные в этом зале звонким и смелым голосом, не были вызубрены и зачитаны по бумажке. Это была горячая речь вождя молодежи, твердо верящего в правду своих убеждений и не отступающего от них никогда.

Судья не успел еще ничего сказать, как раздался громкий крик Тазуя. Он пронесся над рядами, проник в

сознание всех сидящих в зале. И казалось, что ребенок крикнул за них громкое «ура».

На восьмой день суда председатель зачитал приговор. Равнодушным, монотонным голосом. Вместе с другими офицерами он сделал свое дело так, как этого желало буржуазное правительство и предписал министр внутренних дел. Комедия закончилась!

В последний день судебного процесса в зале собрались всякие господа и золотопогонники. Они самодовольно развалились в креслах и, улыбаясь, обменивались мнениями. Пятьдесят лучших сынов рабочих будут брошены в тюрьмы. «Свободная республика» вновь почувствовала почву под ногами.

Председатель читал:

— Арнольд Соммерлинг — десять лет каторги с лишением всех гражданских прав.

Арнольд крикнул со скамьи подсудимых:

— Только и всего? Экая малость!

Скучающая, невыразительная поза председателя вмиг изменилась. Снова этот краснорубашечник! Соммерлинг! Неужели ничто не заставит этого выскочку замолчать? Даже десять лет каторги?

— Молчать! Не разговаривать! — крикнул председатель резким, раздраженным тоном.

Дежурный офицер бросал свирепые взгляды. В зале полно начальства, надо же показать свое усердие. Кто еще посмеет здесь пикнуть?

Читаются новые приговоры.

Звучат новые насмешки в адрес судей.

Дежурный подбежал к подсудимым.

— Элла Кару. Шесть лет каторги с лишением всех прав.

Когда прозвучали эти слова, мать подняла своего малыша и крикнула:

— Вы забыли ребенка! Разве ему вы не даете шесть лет каторги?

Дежурный пробирался меж скамей. Было неясно, что он намерен предпринять. Но ему не удалось пройти дальше. Плечи заключенных закрыли ему путь к матери и малышу.

— Молчать! — злобно орал председатель. — Здесь суд!

— Нет! Цирк!

— Кто посмел? Привлекаю к ответственности за оскорбление суда!

Виновника не нашли. Угрозу осуществить не удалось.

Зал торжествующе шумел. И те, кто, волнуясь за близких, сидел здесь с заплаканными глазами, почувствовали облегчение.

После того как были оглашены имена всех пятидесяти подсудимых, их под охраной полиции и конвоиров начали выводить на улицу.

На тротуаре не видно было ни единого прохожего, не говоря уж о провожающих. Пусто было и на мостовой. Улица словно вымерла.

Лишь вдали виднелась цепь полицейских. За ней стояли люди и автомобили. Движение по Тартускому шоссе в районе дома, где состоялся суд, было закрыто.

«Вот оно что! — подумал Арнольд с горечью. — Боятся демонстрации».

Выслушав приговор, Арнольд прежде всего подумал о матери. Наверное, ждет на улице... Можно будет хоть взглянуть на матушку... Перекинуться словечком... Все же десять лет!

Отец все эти дни был в зале суда. Сидел как каменное изваяние. Борода скрывала взволнованное выражение его лица. Ничто не выдавало его боли. Старик умеет владеть своими чувствами.

Каждый день Арнольд ждал: уж сегодня во время перерыва отец обязательно проберется к нему. Попытается сквозь ряд конвоиров пожать руку или крикнет хоть словечко.

Но этого не случилось. Гордость и упрямство удерживали старика. Арнольд хорошо представлял себе ход мыслей отца: раз не дают поговорить открыто, так тайком не желаю.

Арнольду очень хотелось увидеть свою мать — хоть издали, хоть на мгновение. А она в это время стояла далеко, за цепью полицейских.

С опустошенным сердцем шел Арнольд по булыжной мостовой. Словно он навеки лишился чего-то светлого и дорогого.

Уверенность, владевшая им в судебном зале, казалось, там и осталась. После недели нервного напряжения смертельная усталость охватила его. Безрадостные годы, ожидавшие его впереди, казались невероятно долгими, пустыми. Человек остается человеком.

Арнольд оторвал взгляд от мостовой.

Небо было по-весеннему голубое. Солнце уже грело. По краям тротуара зеленели деревья. Стаи голубей перелетали с одной крыши на другую. В одном из домов были настежь открыты окна. На подоконнике стояла женщина и мыла стекла, блестевшие на солнце.

Весна, весна!

Только в душе его нет весны, хотя прожил он немногим более двух десятков лет и его возраст считается весной человеческой жизни. Если ему придется просидеть за тюремными стенами десять лет, то, когда он вновь выйдет на свободу, в его жизни уже наступит пора лета. Правда, говорят, что после тридцати лет для человека наступают лучшие годы. Там будет видно... Сможет ли он сделать больше, чем сейчас? Путь его ясен. От него он не отступится.

Со скрежетом открылись тяжелые ворота и впустили заключенных в узкий двор, стиснутый каменными стенами. Здесь начнется сортировка: кого куда. В маленькой Эстонии тюрем много.

Вдруг раздался громкий плач Тазуя. Крошечные розовые кулачки поднялись к узкой полоске неба над каменными стенами.

— А мальчишка-то клянется отомстить, — сказал кто-то.

Ворота за колонной арестантов закрылись.

Тазуя захлебывался в крике. Словно требовал возвратить ему солнце, которое не впустили на этот узкий двор.

Полицейские ушли, и улица перед Домом солдата вновь была открыта для пешеходов.

Когда мать Арнольда прибежала к главным воротам тюрьмы, она не услышала ничего, кроме неистового плача ребенка.

— Господи боже мой! — испуганно прошептала женщина. — Что за люди... Даже детей не щадят!

Откуда-то появился часовой и дружелюбно сказал:

— Пройдите-ка подальше. Здесь стоять не положено.

— Там ребенок... — взволнованно проговорила мать Арнольда. И если бы кто-нибудь спросил ее тогда, кого она имела в виду — своего взрослого сына или того плачущего малыша — она вряд ли смогла бы на это ответить.

Часовой быстро огляделся. Это был высокий крепкий парень с сильными руками кузнеца. И боясь, что его сло-

на может услышать кто-нибудь посторонний, он наклонился к матери Арнольда, поднес ладонь ко рту и тихо сказал:

— Ничего... Пусть копит злобу. Она ему еще пригодится.

Мать Арнольда пошла дальше. Почему-то она направилась к центру города, хотя делать ей там было решительно нечего.

Теперь она думала лишь о своем взрослом сыне, понимала, что часовой был прав: тюрьма еще больше разожжет гнев Арнольда. Уж настолько-то она знала своего мальчика.

В ноябре 1922 года Арнольд в порядке обмена заключенными был отправлен из таллинской тюрьмы в Петроград, где ему вместе с другими молодыми эстонцами было поручено восстановить разоренное во время войны пригородное поместье Рекково и организовать там образцовую коммуну.

Здесь Арнольд и работал до пасмурного дня поздней осени, того дня, когда он и три его спутника тайно перешли границу. Так он вернулся на свою родину.

12

С пистолетом в вытянутой руке, лежа на каменном полу, Арнольд ждет новой атаки.

Яростный беглый огонь из кухонного окна, хлынувший после взрыва двух гранат, обескуражил осаждающих.

Со двора доносятся приглушенные голоса. Кто-то шлет проклятья. Слышно щелканье винтовочных затворов.

Боль в ногах и плече с каждой минутой усиливается. Все тело горит, словно он лежит под палящими лучами солнца. Одежда жжет огнем. Жар пронизывает тело, и мышцы слабеют. На него накатывает горячая волна и захлестывает его с головой.

Рука с пистолетом бессильно падает. Металл звякает о каменный пол.

И вдруг Арнольд видит ярко-голубое небо. Пылающий солнечный шар висит над его головой. Он источает невыносимый жар.

Вокруг ржаное поле. Такое же жаркое и золотое, как солнце. Режет глаза, звенит в ушах, и по лицу течет пот.

Коса в его руках тяжела, как лом. Он стискивает зубы и продолжает упорно работать. Старая косилка испортилась. А колосья уже роняют зерна... Значит, надо косами...

Взмах, еще взмах...

Тихо шуршит коса, срезая стебли. Тяжелые колосья дрожат, качаются и, склоняясь, падают к его ногам.

Из-за пояса он вынимает брусок. Коса начинает звенеть, словно радуется отдыху.

Он точит и оглядывается.

Все остальные сильно отстали. За каждым косцом следует девушка, вяжет снопы. А за ним идут две!

Это хорошо! Так и должно быть! Председателю полагается быть впереди всех и на поле.

— Арнольд, ты что, сумасшедший, так вкалываешь? — кричит кто-то.

Он смеется, машет бруском и, немного красуясь, подзадоривает:

— А ну, скорее за мной! Что вы там копаетесь!

Так чудесно ощущать свою силу. И чувствовать себя хозяином косы, хотя она постепенно становится тяжелой, как свинец.

Чух! Чух! Падают колосья. Стекает пот. Обжигает солнце. Ой, как жжет!

Ему не впервой опережать других! Весной, когда разбрасывали навоз, парни начали бахвалиться. Я да я!

Надо было внести в этот спор ясность. Кто впереди, тот — герой. Кто позади — работник плохой.

Парни встали у поля в ряд. У всех вилы на плечах, точно ружья.

— Начали! — скомандовал он громко.

Вилы мелькали, кучи разлетались по всему мокрому полю.

Дойдя до противоположного края поля, он первым воткнул свои вилы в землю. Мускулы гудели, спина была мокрой от пота, а сердце ликовало! И не только из-за этой маленькой победы. Приятно было потрудиться в полную силу. Это совсем иное дело, чем просиживать в канцелярии, перебирать бумаги и ломать голову над тем, как расчетливее использовать ограниченные суммы. Здесь дыра, там дыра...

Картины прошлого тускнеют перед глазами Арнольда. Мысли путаются. Боль и потеря крови дают себя знать...

Какое-то мгновение он на грани обморока. Но сила духа преодолевает физическую слабость. Кажется, что эти минуты беспамятства стали отдыхом, и мысли снова проясняются. Пальцы нащупывают парабеллум. Нажимают спусковой крючок. Из окна раздается одинокий выстрел.

А мысль продолжает свой путь, словно и не прерывала ее минутная слабость.

...Потрудиться пришлось немало, но старое поместье восстановили. «Эстокоммуна». Это название обязывало. К тому же окрестные крестьяне относились к ним недоверчиво. Находились и недоброжелатели, распространявшие слух, что обмененные из буржуазной Эстонии заключенные — настоящие преступники и бандиты. Пришлось на деле доказывать, что это неправда и что эстонские коммунисты умеют работать.

Чудесное время. Трудились и мечтали... Хорошо, что он, не колеблясь, согласился, когда им предложили основать коммуну.

«Почему я сейчас вспоминаю эту коммуну, — удивляется Арнольд. — Сам не знаю... Странно... В жизни было многое, а у меня перед глазами ржаное поле да снопы. Будто это самое важное, что мною сделано. Может быть, и так. Человек рожден для свободного труда. Это естественное состояние человека. И наш труд в коммуне был свободным и нужным... Я счастливый человек. Я знаю, что значит работать без надсмотрщика... Когда же все эстонцы добьются этого? Черт возьми, жаль, что я уже ничего не смогу для этого сделать! Теперь бы я сумел гораздо лучше... Время и лишения научили многому».

Вновь застрочил пулемет.

Поливает через окно. Через дверь. Сквозь стены горницы.

Так же внезапно пальба прекращается.

Тишина и слабость отзываются звоном в ушах.

— Не попали! — устало порадовался Арнольд.

И сразу, прямо перед ним, взрывается граната.

Осколки бьют Арнольда по лицу.

— Теперь они войдут... В дверь... Я должен... — Он заставляет себя ползти.

Доползает до кровати Иоханны.

— Я должен... Что же я должен? Должен повернуться лицом к двери...

Это удается ему с большим трудом. Потом силы иссякают. Голова склоняется на одеяло, лежащее на полу.

Как хорошо, мягко...

Ржаное поле... Колосья, колосья. А он стоит среди поля. И говорит речь. Поднимает высоко руку к солнцу и восклицает:

— Товарищи... Не забывайте... Где Иоханна? Люди, где Иоханна? Она еще жива? Она должна жить...

Чей это голос? Кто идет? Дверь заскрипела...

«Стреляй! Стреляй!»

Арнольд приподнимает голову с одеяла.

В эту минуту кухонная дверь распахивается настежь. На пороге стоят трое.

«Стреляй! Стреляй же!»

Арнольд нажимает спусковой крючок.

С порога звучат в ответ три выстрела.

Это последние выстрелы в это утро в этом маленьком домике.

На востоке, за лесом, на краю небосклона едва занимается заря. До восхода солнца еще далеко. На это нужно время. Но солнце взойдет.

Расталкивая полицейских, вбегает хозяйка Тупс.

— Иоханна! Иоханна! Где ты?

— Здесь... мама... — доносится голос дочери.

Мать торопливо открывает дверь кладовки и шепчет:

— Ты жива! Ты осталась в живых!

Всех не убить.

Утренняя заря еще боролась с тьмой, но день был уже близок.



В основу этой повести положена биография Оскара Шера, бывшего в 1941 году первым секретарем Центрального Комитета ЛКСМЭ.

Эта книга состоит из ответов разных людей на вопросы автора. Но пусть товарищи, с которыми я беседовал, не посчитают себя за того или иного рассказчика, ибо каждая из глав — это воспоминания многих лиц, сведения, найденные в архивах, и художественный домысел самого автора.

Приношу большую благодарность всем товарищам, любезно помогавшим мне в сборе фактического материала.

Автор



Ответ первый

ТОВАРИЩ ПО ДЕТСКИМ ИГРАМ

Оскар? Какой Оскар? А-а... Маленький Оскар! Как же мне не знать его. Мы ведь ребята с одной улицы. Да и не больно длинная была та улица Роози... Несколько домов, все одноэтажные. У иных и фундамента настоящего не было. Кончалась улица — и тут же начиналась мусорная свалка.

Было нам тогда, пострелятам, лет по пяти-шести... И делай с нами что хочешь, но мусорная свалка эта была для нас самым любимым местом! Дня без нее не обходилось! Плошки всякие, обручи от колес и прочий хлам были для нас таким ценным товаром, что о-го-го! Мы меняли, покупали, продавали. Торг шел вовсю!

Ах, да! Мне ведь надо об Оскаре... Вечно со мной такое случается! Начнешь говорить об одном и вдруг набредешь на другое...

Ах, каков был Оскар? Что же мне рассказать о нем? Живой был мальчуган. Маленький, словно пуговка. И худенький такой, тонкокостный. На язык остер, но не больно говорлив.

Да нешто все прошлое до мелочей удержишь в памяти?.. Резвились мы тогда скопом, словно воробьи... Ведь с тех пор минуло добрых пятьдесят-шестьдесят лет. Стареет голова, не переберешь всех этих мальчишеских проделок...

Гм-да-а... Один случай мне все-таки ясно запомнился. Может, я бы его и забыл, но позже, когда я уже стал постарше, у нас дома частенько о нем вспоминали.

Наша мать с презрением говорила: ох уж эта Мария, Оскарова мать, сквалыга изрядная. Комок навоза — и тот с улицы подберет.

Само собой. Иначе ведь домов себе не поставишь. Вначале она обзавелась небольшим домишком. Потом появился другой, деревянный, двухэтажный. А перед второй мировой войной и третий, каменный, подвели под крышу и впустили в него жильцов. Разводила она и свиней, и, кажется, корова у них тоже была. А в деревянном доме Мария держала лавку...

Отец Оскара был возчиком. Одно время они завели даже двух лошадей. Возил он песок, а если кто переезжал, то и домашнюю утварь. И покойников возил. Бедняков, значит, тех, что городская управа хоронила за свой счет. На телеге лежал черный гроб, старик восседал на нем и правил. Мы, ребята, пугались, когда нам навстречу попадался такой груз. А Оскаров отец и в ус не дул... Даже в лице ни капельки не менялся. Мол, не все ли равно, что возить... И водочку попивал, но пил немного. Кошелек хранился у жены, и вообще хозяином в доме была Мария. Средний сын, Иоганнес, был полностью в ее подчинении. То улицу подметал, то в лавке торговал, то его посылали в помощь отцу грузить поклажу... Иоганнес этот был странным парнем. Высоким, черноволосым, с крючковатым носом. Слова из него не выдавишь. Одни считали его придурковатым. Другие рассказывали, что он, как только улучит момент, уткнется в книжку, а потом все ходит и думает... И в гимназии он учился, но не закончил ее. Один только год ему оставался.

А о старшем брате Оскара, Роберте, на нашей окраине много ходило толков. Ну и башка же была у парня! В начальной школе за год четыре класса прошел! Такое не каждому по плечу. Потом посещал Таллинскую учительскую семинарию. А позже поступил в Тартуский университет. Все экзамены сдавал на круглые пятерки! Хотел за три года покончить с университетом. Да только со второго курса его забрали и упекли на шесть лет за решетку. Это было в тысяча девятьсот двадцать четвертом году, вскоре после декабрьского восстания. Оказалось, что Роберт уже с давних пор вел подпольную агитационную работу.

Да чего там толковать, разве эти господа с Тоомпеа могли допустить такое? В особенности после того, как прогремело декабрьское восстание. Тогда и началось гонение на товарищей. Полиция охотилась за красными бунтовщиками и подстрекателями, как их именовали в газете «Пяэвалехт».

Выйдя из тюрьмы, кажется, в тридцать первом году, Роберт тайно перебрался в Россию. Закончил там университет и работал где-то адвокатом. Что с ним потом сталось и жив ли он еще — ведать не ведаю.

Да, конечно, такую семейку, где один непохож на другого, и днем с огнем не сыщешь.

Взять хотя бы эту Марию... Копила, собирала... Но

как выглядело их жилье — вспомнить страшно! Известное дело, особого богатства ни у кого из нас не было: комод, шкаф, кровать... У иных еще на комоде полевица в вазе красовалась. Крашеная. Синяя, алая, золотая.

Но такой безалаберщины, как у Марии, нигде не примечал. Как сейчас вижу их стол: салачьи головы, огрызки хлеба, немытая посуда... не перескажешь даже, чего только там не валялось. Нет, на ведение хозяйства у Марии ни времени, ни денег, ни глаза не хватало.

Но в одном можно отдать ей справедливость — сыновьям своим она образование дала. Двое учились в гимназии, третий в университете... Немалых денег это стоило. Я вот так сужу, что и дома-то она ставила ради сыновей, чтобы им потом было легче жить да поживать на свете.

Глядите-ка, куда я опять забрел со своими разговорами! Толкую о том, о сем, а об Оскаре ни слова. Мда, но если разобраться, то это вроде бы и об Оскаре! Верно я говорю? А?

Ах, значит, что делал Оскар в мальчишескую пору? Вам-то хорошо спрашивать, а я ведь дневника не вел.

О том, что мы шуровали на мусорной свалке, я уже рассказывал. Кидались камнями, играя в войну, и в прятки играли, и в казаки-разбойники, лазили по заборам... Вот так и проводили время... Но, по правде говоря, Оскара мы считали каким-то особенным. Копошится где-нибудь, словно размышляет о чем-то про себя. Может, это и нельзя назвать размышлением, этакому шпингалету и размышлять-то не над чем было, но порой его будто что-то тяготило.

Ах да! Вспомнил все-таки одну историю!

На улице Роози меж домов оставалась открытая площадка. И стоял там ларек, или киоск, как их теперь называют. Одна бойкая тетка торговала там всякой снедью. Стручки, леденцы, папиросы, соль и... Да всех ее товаров и не припомнишь.

Киоск этот тоже, кажется, принадлежал Марии. Выстроив, она сдавала его в аренду. Зашибала, значит, добавочно деньгу на дом и мальчишкам на учение.

А тетка в киоске, известное дело, продавала тайком спиртное. Ведь «монопольки» работали только днем, да разве в дневное время кто помышлял о водке? А к вечеру охота пображничать разгоралась, и мужчины, бывало, облепляли будку, точно пчелы.

Тетка та разводила, конечно, водку водицей, а цену набавляла и недурно подрабатывала. Одна беда — могла нагрянуть полиция. Тогда уж подпольным торговцам было несдобровать.

За киоском торчали какие-то развалины — остатки фундамента; заросшие крапивой и сорняком. Настоящие африканские джунгли. В летнее время пьянчуги полеживали там и знай себе бражничали. А торговля у тетки процветала.

Мы, мальчишки, то и дело бегали тайком поглядеть на это веселье. Даровым балаганом было оно для нас, да и только. Одни, сцепившись пальцами, мерились силой, другие сражались в подкидного, а уж тарабарили такое — животики надорвешь.

Но не всегда они так уж попусту балаболили, порой разговоры бывали совершенно иного рода. Тогда лица мужчин становились серьезными, суровыми. Война к тому времени только закончилась. Та самая, по словам буржуазных газет, «благородная, освободительная война».

Мужчины об этих военных делах промеж себя и толковали. Кто жалел, что Красная Армия не разгромила эстонских беляков. Кто костил финские и шведские войска, пришедшие на помощь нашим белякам. Кто роптал на нищенское жалованье и скудную жизнь. Были, конечно, и поверившие сдуру, что эстонское буржуазное правительство проявит заботу о рабочих. Ругани и споров невпроворот. Стопка водки всем развязывала языки.

Всякие эти разговоры мы, мальчишки, пропускали мимо ушей, много ли мы смыслили в таких вещах. Но, признаться, кое-что и на ус мотали. Хотя бы то, что красные и белые — как огонь и вода и что большинство наших отцов стоят за красных.

Но самое интересное наступало, когда за мужьями приходили их жены. Такая кутерьма поднималась, только держись!

— Ребятишки дома без хлеба! А ты наши жалкие гроши пропиваешь! Подумал бы о семье, негодник эдакий!

Вот так эти женщины там кричали да попрекали, а иногда устраивали и целое побоище. Подвыпившим мужьям доставалась от жен такая здоровая порция тумаков, что мы диву давались, как только бедняги на ногах держатся.

А лавочница подбегала то к одним, то к другим и, простирая руки, умоляла их успокоиться, мол, нагрянет

полиция. Кому нужны эти передряги? И нет ее вины в том, что мужиков именно сюда бражничать тянет. Но тогда и ей приходилось выслушивать много разных крепких словечек. Бывало, более рьяная из жен и по уху ее треснет. Дескать, не знаем мы разве, где наши мужья за большие деньги водку достают!

Помнится, полиция не раз обыскивала этот киоск. Но, верно, ничего подозрительного не находила, потому как коммерция тетки-ларечницы процветала по-прежнему и за решетку ее никто не упекал.

Случалось, что и Мария приходила к ларьку за своим стариком. Тогда Иоганнесу доставалось наравне с остальными.

Вспомнишь обо всем этом теперь и поневоле скажешь — поганое то было место. Без стыда и совести вытряхивала та бестия из пьяниц все до последнего пенни.

И глазом, бывало, не моргнет, когда ребятишки, следуя за матерью в поисках своего отца, видели, как его дубасят и как он на карачках ползет по земле.

Признаться, когда мы, наблюдая эти сценки, давились со смеху, Оскар молчал и лица на нем не было. Стоило еще и Марии напуститься на своего старика, так мальчуган сразу же убегал. Спрячется куда-нибудь подальше и только его и видели в этот вечер. Поди знай, где он пропадал и что творилось в его детской головенке.

Ишь ты... Наговорил тут с три короба, а не сказал, что мы с Оскаром вообще-то ладно дружили. Маленько покрепче, чем с другими. Мда... Хотя какая там может быть особая дружба у таких шпингалетов? Должно быть, главным для меня было то, что Оскар не больно дорожил побрякушками с мусорной свалки. Иногда пружинку какую или жестянку отдавал мне задаром, если только я сам не находил что-нибудь подходящее. Я был страстным любителем сооружать всякие автомашины. И в разных пружинках, винтиках, железках нуждался позарез.

Должно быть, это и тянуло меня к Оскару... Жмотом он не был — это верно. И в наших мелких мальчишеских сделках не участвовал, может быть, был не способен на такое — бог его знает. Я ведь уже говорил, что он казался нам не в меру серьезным.

Э-эх! Опять за свое! Забалаболил о всяком разном. Что поделаешь, если мысли идут вразброд...

Теперь уж постараюсь не сбиваться... Однако поди знай! Горбатого лишь могила исправит...

Однажды, стало быть, Оскар застал меня за сараем. Верно, я опять сооружал какую-нибудь машину. Подошел и говорит: «Знаешь, Эрни, теперь мне известно, где Лонни-ларечница держит свои бутылки с водкой».

Мне в тот раз было невдомек, что в этих словах кроется нечто важное.

— Подумаешь, пусть держит где хочет! — ответил я.

Оскар же стал уговаривать, чтобы я вечером, когда стемнеет, отправился с ним к тому месту, он мне их тоже покажет.

— Чтоб глотнуть разочек-другой? — спросил я. Выражение это я сотни раз слышал от тех же пьяниц.

Оскар на мою шутку и бровью не повел, а продолжал настаивать, чтобы я с ним во что бы то ни стало пошел. После того, конечно, как Лонни закроет ставни своего ларька и отправится восвояси.

Наконец я согласился, ладно, мол, пойду.

Вечером, стало быть, когда стемнело, мы встретились с ним за киоском. Кругом тишина, ни звука. Лонни ушла, и пьянчуги отчалили по домам, либо их увели насильно.

Поначалу я не обратил внимания, что Оскар одет както чудно́. Но потом, разглядев его необычный наряд, так и прыснул. Что и говорить, картина была презабавная. На дворе душный летний вечер, а на Оскаре брюки до земли, верно, старые отцовские... Широченные такие, затянутые на груди ремнем. Концы брюк запиханы в носки, а на ногах стоптанные башмаки. На голову нахлобучена ушанка, завязанная под подбородком тесемками. А на руках — верьте или не верьте — рукавицы!

Ни дать ни взять ряженый в мартов день!

Не в силах вымолвить и словечка, я продолжал хохотать. Может, под конец я что-нибудь бы и сказал, да лицо у Оскара было больно серьезное. Глядя на него, я даже смеяться перестал.

Он таинственно огляделся и шепнул мне на ухо, что ему пора.

— Куда это? — ничегошеньки не понимая, спросил я.

Он указал куда-то в сторону развалин и крапивника.

— Зачем? — спросил я снова.

— Чтоб забрать бутылки с водкой! — ответил Оскар.

— А к чему ты напялил на себя эту хламиду? — все еще не уразумев его планов, поинтересовался я.

Оскар объяснил, что там страсть как много крапивы, а в таком наряде можно шпарить напролом сквозь самую

гущу. И даже не почувствуешь. Велел мне ждать его здесь, дескать, он живо вернется.

И пошел. Заросли крапивы сомкнулись за ним. Я оторопело смотрел ему вслед.

Мы, мальчишки, и раньше проделывали всякие шутки. Считали их страшно таинственными и важными. Но такой грандиозный план никому из нас в голову еще не приходил. Кто знает, сколько дней пришлось выслеживать Оскару, потом облачаться в этот наряд и... наконец, позвать с собой лишь одного приятеля. Ведь каждую свою затею мы осуществляли обязательно всей ватагой. И как только что-нибудь придумывали — сразу принимались за дело.

Необычной какой-то была вся эта история... Мне стало страшновато, пока я стоял там, за будкой. Дрожь охватила меня... Я присел на корточки. А мурашки по спине так и бегают. Я даже прилег на живот.

Немного погодя заросли крапивы снова расступились.

Оскар возвратился.

Я вскочил и... что же увидел?

Да-а, это было зрелище!

Оскар шел с тремя большими бутылями водки. Теми самыми, трехчетвертными. Потом их стали называть «рийгиванем», что значит «глава государства».

Но ведь это, подумал я, настоящее воровство, не иначе! Снова мурашки забегали у меня по спине. Я бы с радостью пустился наутек.

Оссь положил бутылки возле меня на траву и опять исчез в крапивнике.

Я стоял ни жив ни мертв и не отрываясь смотрел на бутылки. Еще не совсем стемнело, и виден был блеск их стекла.

Вдруг я услышал чьи-то шаги: шарк-шарк по улице. Ух ты, страх-то какой! Я снова кинулся наземь, словно громом пораженный.

Но вскоре скрипнула калитка, шаги стихли, и я, как говорится, облегченно вздохнул.

Теперь эта история меня еще больше захватила. Что же получится из нашей затеи? И что за фортель выкинет Оскар с этими бутылками? Прикидывал и так и этак, да много ли соображает семилетний парнишка? Иное дело, если б Оскар хоть словечком обмолвился.

Вскоре мой напарник снова выбрался из крапивника. И опять у него бутылки крепко прижаты к груди.

— Забирай! — распорядился он и указал ногой на бутылки, поблескивающие в траве.

Вот еще! Такого тона я от него раньше не слыхал. Оскар всегда либо выполнял приказания других, либо держался в стороне, когда затевалась какая-нибудь шалость.

Я схватил бутылки, а Оскар уже понесся во всю прыть по улице в сторону мусорной свалки. Мне пришлось поднапечь, чтобы не отстать от него.

Не знаю, что получилось бы, попадись нам кто-нибудь навстречу. Я бы наверняка бросил бутылки и пустился наутек.

Возле свалки Оскар остановился. Огляделся, будто выискивал что-то. Я топтался возле него, обеими руками прижимая бутылки к животу.

Оскар прошел еще несколько шагов, там валялась огромная железяка. Какой-то механизм от машины. Мы, мальчишки, частенько пытались приподнять ее, да силенок не хватало.

Я последовал за Оскаром.

Он положил свои бутылки рядом с этой железякой и велел мне сделать то же самое.

Это было весьма кстати. Руки мои затекли — того и гляди, вся батарея бутылок рухнет мне на ноги.

Наконец разыгралось последнее действие! Оскар схватил одну из бутылок за горлышко и кинул о железяку. Раздался резкий звон. Бутылка, ясное дело, разлетелась вдребезги. По железному каркасу стекала водка. Кругом распространился едкий запах спирта.

Нечего и говорить, что я совсем обалдел. Этакое даже представить себе не мог.

Просто страх на меня напал, когда я глядел на Осся. Сам он весь в черном, вроде пугала или черта. Знай себе кидает бутылки о железяку. Дзинь да брынь! Дзинь да брынь! Ни слова не говорит, только покрякивает.

Когда последняя бутылка была разбита, Оскар, развязав тесемки ушанки, сорвал ее с головы.

Точно не припомню, но, верно, луна уже взобралась на небо. А то как же мне было увидеть, что лицо Оскара лоснилось от пота. Именно лоснилось. Как в парилке.

Донышком шапки он вытер пот с лица и направился обратно, в сторону улицы Роози. Я же, словно преданная собака, поплелся за ним. Так я был ошарашен, что и спрашивать ничего не стал.

Возле нашего дома Оскар остановился и сказал мне:

— Теперь не будут больше лакать!

Так и сказал: «лакать»! Поди знай, откуда у него такое слово на язык подвернулось. Теперь уж не помню, ответил я ему на это что-нибудь или нет. Должно быть, побрел молча к воротам. Ведь это пьянство меня особенно и не касалось, потому что отец наш был трезвенником. И папиросы-то курил шутки ради, если кто ему пачку прямо под нос ткнет. Может, я немного даже пожалел, что Оскар теперь лишил нас потешного зрелища. Ведь гульба там, за будкой, была для нас вроде веселой кинокомедии. Где нам было понять мерзкие стороны такого веселья.

Несколько дней вокруг будки и впрямь царила тишина. Мужчины, правда, заходили туда, но никто из них там не задерживался. У крапивника и развалин торчать было тоже ни к чему.

Лонни-ларечница стала мрачнее тучи. Шипела на каждого, точно кошка, повстречавшая пса. В особенности доставалось ее покупательницам. Верно, считала исчезновение водочных запасов делом их рук.

Ясное дело, что после этой истории все вскоре стало на старые рельсы. Мужчины снова горланили средь развалин, жены приходили, чтоб спровадить их домой. Лонни сияла. А мы учились новым ругательствам и хохотали до колик в животе.

Только Оссь уже никогда больше не приходил глазеть на это гульбище. И все это так и осталось для меня неразрешимой загадкой. В особенности непонятным показался мне один случай...

...Была та самая вечерняя попойка после двухдневного поста.

Почему-то мне в тот раз надо было пораньше домой. Кажется, была суббота и у нас дома топили баню. В прачечной нагревали в котле воду, а из колодца набирали в лохань холодную... Мылись в деревянной кадке. Мы с отцом отправлялись всегда первыми. Мать и сестренка шли во вторую очередь... Так что опаздывать было нельзя. Ведь прачечная остывала. И кому пришло бы в голову расходовать дрова, чтобы огонь под котлом горел зря.

Надо же! Снова я отвлекся от главного!

Побежал, стало быть, я домой. Вдруг вспомнил, что сегодня еще не побывал на свалке. Будь что будет, пусть даже в баню опоздаю, но на «мусорку», так мы называли

мусорную свалку, сбегать надо! К тому же сегодня привезли туда несколько возов всякой всячины.

Примчался я туда и вдруг встал как вкопанный.

Что бы, вы думали, я увидел?

Там сидел Оскар! Сидел на земле возле той самой железяки, окруженной осколками, и плакал. Глядел перед собой, точно слепец Ааду с нашей улицы, и рыдал. Слезы градом текли по его щекам. Но он и пальцем не пошевелил, чтоб утереть их. Только всхлипывал или охал иногда. Ничего я не мог понять.

Вдруг я почувствовал, как комок к горлу подступает. Глупая у меня тогда привычка была, не мог видеть, как плачут другие. У самого слезы сразу наворачивались.

— Что с тобой? — спросил я у Оскара и, наверное, сам уже вовсю шмыгал носом.

Он несколько раз всхлипнул, но не оглянулся. Потом вдруг вскочил и крикнул:

— Пошел к черту!

Что я мог ответить ему?

Тогда он схватил комок земли и швырнул его в мою сторону. Я отскочил. Снова полетел комок... Мне ничего не оставалось, как пуститься наутек.

Вот и вся история про Оскара.

Потом, ясное дело, мы опять славно ладили. Посещали на Тартуском шоссе одну и ту же начальную школу. Номер ее был тринадцатый... Мы частенько шутили, что тринадцать — наше счастливое число. Ведь мы оба родились в тысяча девятьсот тринадцатом году. Оскар родился второго сентября. Это я хорошо помню, потому что Оскар вечно сетовал, что в день рождения оставался всегда без подарка. Мать, мол, говорит, какой еще нужен подарок, коли к началу школьных занятий ему и без того справляют всегда новую куртку и новые ботинки.

Мда... Хоть мы и дружили, но какая-то преграда всегда ощущалась между нами... Вспоминаю сейчас обо всем этом, так и сяк прикидываю и, признаться...

Попробуй-ка тут все ясно изложить...

Ну да ладно! Сами разберетесь.

В общем, я бы сказал так: мне виделась жизнь как бы с одной стороны, а ему с другой. Я на его лад видеть не умел. А он на мой лад не желал.

Вот, стало быть, в чем была разница...

БРАТ ШКОЛЬНОГО ПРИЯТЕЛЯ

Они сидели на одной парте. В Ляэнемааской учительской семинарии. Мой брат и Оскар. Необычная пара. Один высокий и медлительный. Другой тщедушный и прыткий. Нет, прыткий — не то слово. Оскар бывал и спокойным. То есть... как бы это сказать? Под внешним спокойствием словно что-то кипело. Все время чувствовалось: вот сейчас он что-нибудь скажет или сделает! Правда, не всегда так бывало. Но каждый раз все чего-то ждали.

Летом он приехал к нам. На хутор. Брат пригласил его. Отец был сперва против. Лишний рот за столом. А когда увидел Оскара — согласился. Городской ребенок. Бледный, худощавый. Пусть наберется сил. Отец не заставлял его работать. Иной раз кликнет, чтоб помочь, если случалась работенка полегче.

Брата запрягали на целый день. Работал за взрослого. Я был младше. Мне легче было. Большую часть дня я проводил с Оскаром. Разделял его досуг. Так и отец порешил.

Теперь город с деревней на одно лицо. Нет, гм... не совсем, конечно. Но все же. Большей частью. И ребята похожи. По своим интересам, по одежде. Тогда же Оскар казался мне необыкновенным. В особенности его фотоаппарат.

Когда он вошел к нам во двор, я сразу заметил: он нес ящик и палки! Для чего? Потом я узнал. Он расставлял палки, и получался треножник. А ящик устанавливал на него. И снимал. Отца, мать, наш дом. Я не отходил от Оскара. Все расспрашивал. Что это да зачем? Он объяснял, но скупо. Так, в нескольких словах.

Гуляли мы по деревне. Каждый день. Очень ему это нравилось. Старые постройки, амбары, гумна. Все его интересовало. Спрашивал, допытывался. А я пояснял с важным видом. Здесь уж я чувствовал себя умнее и опытнее.

Он обычно шел с ящиком. А я тащил треножник. Оскар все время снимал. Домишки, крестьян. А я страшно важничал. Говорил, мы снимали. Будто это я снимал!

Может, снимки эти и сейчас где-нибудь хранятся.

В каком-нибудь старом альбоме. Он их просто так дарил, денег не брал.

А где он их делал? Где проявлял стеклянные негативы? Копировал снимки? Гм! Выветрилось из памяти! Вроде в нашей кладовой. Там места хватало. Окошко крохотное. Легко было завесить. Помню какие-то бутылочки. Хранились они у него в чемоданчике. Химикаты, конечно.

Аппарат и химикаты были у него от дяди. Это он рассказывал. Нет, гм... Рассказывал ли? Или я про то узнал позже? Да не в этом суть...

Дядя его жил в Хаапсалу. Был светописец. Так их в те времена называли, фотографов. И в деревню ездил, когда приглашали, забрав аппарат с собой. На свадьбы, крестины, конфирмацию. Годами позже я видел это своими глазами. Он ехал на машине, рядом сидел шофер. В те времена это было шиком. Поневоле заглядишься. Зарабатывал, верно, здорово.

Хе! Вспомнил... Тогда в ходу была даже какая-то шуточная песня. Солдатская. И пелось в ней про светописца. Как же она звучала? Хм? Ах да, начиналась, кажется, так: «Надоел фотограф жутко, просит: ой, еще минутку...»

Ладно! Что об этом распространяться...

У нас за домом протекала река. Довольно широкая и глубокая. В ином месте выше головы. Плавать Оскар умел. Держался на воде, но силенок у него не больно хватало. Иногда мы плавали наперегонки. Я всегда побеждал. Известное дело — мальчишки. Радости-то сколько, что городской попал впросак! Верно, потому и в памяти удержалось.

И рыбешку ловили. Я учил его насаживать червяка на крючок. Это ему было не очень по душе. Прокалывать червяка крючком! Под конец привык.

В реке было много раков. Их мы тоже ловили. Этому он так и не научился. Глядь, опять рак схватил его за палец клешней. Не знаю... Может, он и сумел бы, или сам не хотел. Вообще он был... Гм! Как бы это сказать? Нет, не чувствительный, это звучит жалко. Просто он не привык к деревенской жизни. Так будет вернее. Мы охотились за червями. Нанизывали их на хворостину. Он побаивался. Наверно, брезговал. Отец зарезал петуха. Оскар случайно увидел. Потом к петушиному жаркому даже не притронулся.

А спорить он был мастак! И не зря как-нибудь, из пустого в порожнее. Нет, какое там! У него была своя тема. Только затронь ее — и пошло кипеть ключом.

Тогда я в это не вникал. Лишь позже уразумел. Отец охотно пересказывал эти истории. И по многу раз. Уже будучи стариком.

Одна из них была такова.

Отец позвал нас сено возить. Брат с отцом кидали в телегу. Я и Оскар укладывали.

Настал час обеда. Домой мы не пошли. Остались на лесном покосе. Отец развязал суму со снедью. Принялись за еду. Не знаю, как завязался этот разговор... Отец сказал, что в городе живи — не тужи! Рабочий, мол, отпотеет свои часы, закроет фабричные ворота, и забот как не бывало. Весь вечер вольная птица. Занимайся чем хочешь. А в деревне одна работа наседает на другую. С первых петухов и до вечерней зари. Пыхти да спину гни. И все равно что-то остается недоделанным.

Известное дело, старая тема. В деревне все так рассуждали. Наш отец тоже. И частенько. Старость надвигалась. Уставать начал. Видно, мечтал отработать свое, и все. Чтоб после й вздохнуть свободно можно было.

Слово отца было для нас законом, правота его непоколебима. Спорить с ним и на ум не приходило. Ни матери, ни брату. Не говоря уж обо мне. Поэтому я очень испугался, когда Оскар ответил:

— В городе хуже!

Отец был горячего нрава. Мог из-за пустяка обозлиться. Но на сей раз не обиделся. Кажется, такой ответ его даже позабавил.

— Тоже выискался мудрец из мудрецов — все ведает, все знает, как свои пять пальцев! — усмехнулся отец.

Он любил пространные речи. Всегда ругал меня за односложные ответы: «Сделал», «не сделал». Этого он терпеть не мог. Требовал обстоятельного рассказа. Мол, как, когда и каким образом.

— В Таллине несколько тысяч безработных! — пояснил Оскар.

А отец в ответ, это, мол, лодыри и тунеядцы. Мы и здесь таких видали. Поле у них захирело, скот отощал. Крыша прохудилась. Рубище едва перед и зад прикрывает, а бутылка торчит из кармана.

Оскар свое: иное дело лодыри. Они найдутся повсюду. А фабрики все-таки закрываются. Одна за другой. Рабо-

чих гонят на улицу. В том числе и умельцев. Разве это справедливо? Как им жить? Как прокормить семью?

Отец не торопясь отпил глоток молока, подержал во рту, проглотил и произнес:

— Ты словно по книге читаешь! На все у тебя ответ готов. Ни дать ни взять — пастор. У того тоже готовенькие ответы по полочкам разложены. Беден — значит, так и надо. На том свете разбогатеешь. Ежели здоров, выходит, на тебе благословение божье. Заболел, значит, бог тебе ниспослал испытание... Смиряйся да помалкивай!

— Разговор о боге совсем не к месту!

Отец помрачнел. Это я сразу заметил по его лицу. Брови нахмурились. Над переносицей появилась складка.

Мне захотелось оправдать Оскара. Я сказал, что у него в чемодане есть книги. Много книг. Так оно и было. Иногда они с моим братом рассматривали их. Меня не приглашали. И я делал вид, что это меня не интересует.

Отец поднял голову. Поглядел на Оскара. Я увидел, что складка над переносицей исчезла.

— Ишь какой выискался... Может, по субботним вечерам приходить к тебе ума-разума набираться? Ведь другого времени у нас нет! — с усмешкой произнес отец.

У меня отлегло от сердца... Насмешка эта уже была не страшна. Отец больше не сердился.

Тогда я не сообразил, но теперь понимаю, что отцу стало совестно...

Помню еще один вечер. Нет, гм... Да разве я бы запомнил! Кто его знает! Отец про тот случай тоже часто рассказывал. Уже когда Оскар был взрослым и руководил районным партийным комитетом.

Сидели мы на ступеньках, на крыльце амбара. Кажется, был субботний вечер. Мы уже помылись в бане. А иначе откуда досуг?

Брат и я стругали что-то. То была наша забава. Всякие кривые суки тащили из лесу домой. И корневища. Все перекладины на чердаке были загружены загогулинами этими. Одни ждали ножа. Другие были уже готовы: вырезаны глаза, сзади хвост. Лисы, змеи, аисты... Все, что мы сумели изобразить...

И Оскару полюбилось это занятие.

Сидели, значит, да вырезали. Отец попыхивал трубкой.

Возле нас стояла кружка с квасом. Каждый мог хлебнуть.

Оскар, увлекшись делом, склонился над суком. Кромсал себе да кромсал. Не привык еще к этому делу. Рука не владела ножом. Большой палец был обмотан тряпкой. Порезался.

Слышу, мурлычет он какую-то песенку. Как это обычно делают во время работы... Мотив был мне незнаком.

А отец, наверное, знал его. Он сказал:

— Тебе что, парень, получше песен на ум не приходит, чем эти бунтовщицкие? Из-за них можно в каменный каземат угодить, на хлеб да на воду. Изволь-ка носи тебе туда передачи!

Оскар вскинул голову. Резко так, словно его кольнули. И произнес, отчеканивая слова:

— Это — революционная песня!

По субботам отец пребывал в добром настроении. Всякий раз. Даже после неудачной недели. Помоется в бане, и ничем его не выведешь из себя. Прощал все шалости. До единой. Это стало каким-то незыблемым правилом. И продолжалось, пока помню себя ребенком.

Отец отхлебнул квасу. Собрался с мыслями и произнес:

— Ах так, значит... Выходит, бунт и революция — не одно и то же! Ну, смехота! Кабы ты сюда к нам этим летом не забрел, наш брат так дураком бы и помер!

Оскар вспыхнул. Видно, насмешка вывела его из себя.

— Да, это не одно и то же! — воскликнул он.

Кажется, история эта начала забавлять отца. По лицу заметно было. Глаза его лукаво прищурились. Палец принялся крутить ус. То был добрый знак.

Он переменил тон:

— А ты, браток, сразу-то не кипятись! Ну, скажем, я не знаю, а ты знаешь. Так попытайся и мне растолковать. Мол, такие вот дела, одни называют это так, а другие этак. Видишь ли, вся закавыка в том, кто как называет. Одним революция — это быку красный плат. Этакий человек порочит революцию, именуя ее попросту бунтом. Не так ли? Глядишь, и я кое-что пойму!

Оскар умерил пыл.

— Сами все знаете... Только дразните...

Я взглянул на Оскара. Выражение лица было у него какое-то особенное. Такого я раньше не замечал. Совестно ему стало.

Отец примирительно произнес:

— Послушай, Оскар, мы вроде с тобой до сих пор

толком и не побеседовали... Что же твои отец и мать поделывают там, в столице? В вашей семье еще дети есть?

Оскар рассказал. И об отце, и о брате, которого звали Иоганнес. Но на этом и кончил. Замолчал, продолжая ковырять ножом.

Отец не унимался.

— Ну а мать у вас ведь тоже есть? Чем же она занимается?

Оскар выдавил сквозь зубы:

— Мама дома.

Тон у него был недовольный. Вопрос пришелся ему не по душе.

Отец вскинул брови. Даже я понял: о матери Оскар рассказывать не желает. Это меня испугало. Что же он такой неблагодарный? Или мать плохая?

Вспомнилась соседская Тильде. Она била детей. Каждый божий день. Крики доносились до нашего двора. Но Тильде была мачехой. Таких мы уже по сказкам знали!

Отец набил трубку. Потом снова начал. Издалека.

— Ну, положим, она дома... А чем дома целыми днями занимается? Была бы у вас усадьба, тогда другое дело...

Оскар живо перебил:

— У меня еще брат есть!

Отец подхватил его слова.

— Вот как... А он что поделывает?

Оскар весь напрягся и произнес:

— Он сидит в тюрьме!

Я снова струхнул. Испугался смелости Оскара. Впрочем, нет. Гм... какой там смелости! Его голоса. В нем звучала гордость. Вот именно! Необычайная гордость!

Оскар продолжал. Страстно. Слова лились потоком.

— Он революционер! Основал в Таллинской учительской семинарии подпольную организацию. И в Тартуском университете руководил марксистским кружком. Выступал с речами, направлял, разъяснял... Что в семьях рабочих нужда, что нет у них никаких прав, что им бы постоянную работу и жалованье побольше. Что справедливости должно хватить на всех.... Он ведь правду говорил! Это ведь хорошо, если все счастливы! Если хозяину не позволят толкать да пинать рабочего! Если людей перестанут унижать... Это же замечательно! А его объявили

мятежником и посадили в тюрьму! Несправедливо это! Несправедливо!

С каждой фразой голос Оскара становился все громче, резче, пронзительнее. Напрягся до предела. И даже раз сорвался.

Многого я из его речи понять не мог. Но оробел. Какой-то он был особенный. Взволнованный, возбужденный, размахивал руками. Скорлупа, в которой он хранил свои чувства, раскололась. Теперь полились слова. Нет, гм... Разве только слова! Конечно, и слова, но вместе с ними и боль. И гордость. Понятия эти вроде бы не сочетаются. Знаю. Но так это было. И отец сказал. Когда вспоминал позже. Вот как он выразился:

— То было душевное страдание, вырвавшееся там, на нашем амбарном крыльце. Но пользы от него никакой. Такому страданию нет предела. Страдание, излитое на такой лад, начнет скапливаться сызнова, словно вода на полу в подвале. Ты ее выгребаешь, а она снова прибывает, выгребаешь, а она снова прибывает... коли дом на водоносной жиле стоит. Эдак выливай всю жизнь, и нет конца-краю. Тяжела будет доля этого паренька! Он весь переполнен гневом, болью и гордостью!

Мы долго сидели на том амбарном крыльце. Мать выходила, звала спать. Несколько раз выходила. Отец только отмахивался. Мол, оставь нас в покое...

Оскар угомонился. Понемногу. Словно против воли. Они о чем-то с отцом говорили. Серьезно, один другому. Я толком не слышал. Брат сидел поближе. И, как обычно, молчал. Стругал и раздумывал. Иногда оборачивался к Оскару и отцу.

Иные фразы я запомнил. Нет, гм... Были ли они точно такими? Может, и нет. Но мысль! Она запомнилась. Мысль Оскара. Он сказал:

— Роберта арестовали четыре года тому назад. Мне минуло тогда одиннадцать. Уж не я ли слезы проливал... Роберт был мне ближе всех... Его арест заставил меня задуматься над людской несправедливостью. Тогда я считал, что таких, кто обидел Роберта, один-два человека. Теперь я знаю, что это буржуазная власть, которая ненавидит и боится правды...

И еще он сказал:

— Эту жадность до денег страсть как ненавижу. Что она сделала с моей матерью! Во что превратила наш дом!

Вскоре меня стал одолевать сон. Я полез на сеновал.

Сразу и заснул. Остальные остались внизу. Разговаривали, кажется, до глубокой ночи.

На следующее утро мне было как-то не по себе возле Оскара. Он оказался намного выше меня. И даже моего брата. Вровень с отцом. Только гораздо загадочнее, непонятнее. Так мне казалось.

Снова мы вместе бродили по лесу. Обследовали старые строения. Плескались в реке. Удили рыбу. Стругали сучья и корневища. Кидались сосновыми шишками. Но только в том случае, когда это предлагал или начинал сам Оскар. Роли переменились. До сих пор зачинщиком был я. А теперь он. Я уже больше на это не отваживался.

Он чувствовал это. Спросил, что со мной. А я не сумел объяснить. А если бы даже сумел, то не открылся бы ему. Мой разговор был короток: да и нет, иди посмотри!

Через неделю Оскар уехал.

Мне было жаль. Но не сказать, чтоб очень.

Я глядел ему вслед. Они с отцом шли рядом с телегой, трясся чемодан.

Странная мысль пришла мне в голову. Примерно такая: «Почему он носит короткие штаны? Ему бы надо носить длинные брюки! Обязательно длинные!»

Ответ третий

ОДНОКЛАССНИЦА

Откровенно говоря, литературного портрета его я нарисовать не сумею. Ведь недаром народная мудрость гласит, что для этого надо с человеком пуд соли съесть... А бывает, и того мало. Человек — явление сложное, он и сам себя толком познать не может. Что же говорить о других. Им видна лишь внешняя оболочка. То, что происходит там, в глубине, остается обычно за семью замками. И случись, что какой-нибудь из замков поддастся и что-то выйдет наружу, так это всего лишь одна из семи или семидесяти тайн, скрытых в человеке.

Два таких «извержения» я помню ясно. Если, конечно, это можно так назвать... Но для меня они оказались неожиданными, и выражение это тут очень подходит. А неожиданными еще и потому, что я была тогда весьма

примерной девочкой. Прилежно готовила уроки, приказания учителей выполняла беспрекословно, а все остальное оставалось в стороне от моего мира школьницы. Конечно, были и книги, и школьные вечера, но ничего такого поразительного и ошеломляющего я в них не находила.

Теперь и вспомнить стыдно, что на первом-втором курсе семинарии я была еще такой овечкой.

Скажу без преувеличения: первую брешь в моем полном иллюзий и гармонии мирке пробил именно Оскар.

Точнее, первая трещина возникла на уроке закона божьего. Какую разбирали тему, я уже не помню, но разговор шел о рождении Иисуса Христа.

Верующей я не была, но когда в начальной школе либо в учительской семинарии заговаривали о боге и о сыне божьем как о чем-то естественном и серьезном, то сомнения меня не одолевали. Точно так же, как я не сомневалась в истинности математических и физических формул или в правилах эстонской грамматики. Объясняли, что это именно так, и я все это вызубривала. И, конечно, бывала довольна, когда учителя хвалили меня и ставили хорошую оценку.

Как же велик был мой испуг, когда Оскар вдруг поднял руку и заявил, что он в эту историю рождения сына божьего не верит. Однако то, что произошло дальше, показалось мне настолько ужасным, что я даже боялась поднять глаза.

Оскар не раздумывая заявил, что ни одна женщина не может забеременеть от какого-то святого духа, что эта истина всем известна и доказана наукой еще на заре человечества.

А сообщил он это молодой миловидной учительнице, чьи модные платья всегда у нас, у сельских девушек, вызывали восторг.

Было ли это все так или я невольно преувеличиваю, но мне помнится, что весь класс замер. Даже учительница не смогла сразу произнести ни слова.

Наконец она ответила примерно так, что доводы Оскара довольно веские и что позже они, конечно, обсудят этот вопрос, но сейчас надо продолжать урок.

Кажется, впервые в жизни я не слышала слов учительницы. Была сама не своя.

Оскар сидел на две-три парты впереди меня и был спокоен, будто ничего особенного и не случилось.

Надо сказать, что вообще на уроках он вел себя тихо и спокойно. Только иногда спорил с учителями. Если слова учителя оказывались ему не по нраву, он сразу поднимал руку и высказывал свое мнение. Это было особенно заметно на уроках истории. А на переменах часто спорил с мальчишками. Спорил рьяно и горячо, но не шумел и не скандалил. Как бы это точно сказать? Он был абсолютно убежден в своих доводах и доказывал свою правоту с особой страстностью. И голос его звучал громче обычного, резко и даже чуть пронзительно.

О чем они спорили, мне сказать теперь трудно. Кажется, обсуждали какие-то политические вопросы, которые меня не интересовали. Я держалась на переменах поближе к своей компании. Мы, девушки, прогуливались по залу и болтали.

Теперь, на этом уроке закона божьего, Оскар представился мне словно в другом свете. Мальчишки, бывало, несли всякую чушь. Иная девчонка обрезала таких, другая жеманилась и хихикала, а третья, паинька вроде меня, пропускала их слова мимо ушей.

Но чтобы Оскар шутил на такие темы, я никогда не слыхала. А теперь сам высказал на весь класс истину, о которой говорили обиняком либо отпускали непристойные шуточки. Да еще кому, самой учительнице! Учительнице закона божьего! Молодой женщине!

Несмотря на то, что Оскар был тщедушен да и ростом невелик, сейчас он превратился в моих глазах в мужественного человека, можно сказать, в настоящего мужчину. И не потому, что возразил учителю. Нет, так поступали иногда и другие мальчишки. Но у них это превращалось в обычное мальчишеское прекословие, охоту попетушиться, как говорил один из наших учителей. Протест Оскара был совсем иной, веский и принципиальный. И что меня больше всего потрясло — о вещах, доселе казавшихся постыдными, он говорил совершенно просто. Без всякого ложного стыда. Так это можно назвать. В тот раз такое выражение я применить бы не сумела.

Глядела Оскару в спину и вспоминала, по какому это поводу он вступил недавно в пререкание с историком? Тот, кажется, сообщил о выдающихся людях Эстонии. И Оскар спросил, почему не расскажут также о Кингисеппе и об Анвельте?

Эти имена были мне незнакомы, и я пропустила сло-

за Оскара мимо ушей. А теперь и этот вопрос показался мне значительным и принципиальным. В особенности если учесть ответ учителя, что эти двое являются врагами всего эстонского народа.

По окончании урока закона божьего учительница сказала Оскару, что, если он пожелает, она может после уроков побеседовать с ним о религии. Пусть Оскар зайдет в учительскую, она будет его там ждать.

Оскар с большим достоинством ответил, что непременно придет.

Уроки кончились. Я не спускала глаз с Оскара.

К моему удивлению, он сразу побежал к интернату.

«Удирает! — пронзило меня чувство горького разочарования. — Вот, значит, какой он, лишь бахвалится своей смелостью!»

Примерно так я тогда думала. И другие, кажется, тоже что-то вроде этого кричали ему вслед.

Не успела я уйти домой, как снова показался Оскар.

Следует упомянуть, что наша школа находилась за городом. Я в интернате не жила, а квартировала у одной старушки.

Свою школьную сумку Оскар, видно, оставил в общежитии. Я заметила, что он нес в руках только какую-то тоненькую книжечку. Что это была за книжка, я до сих пор не знаю. Лишь догадываюсь. Немногим позже его шкафчик в интернате, кровать и чемодан обыскали. Говорили, что нашли у него политическую литературу. Возможно, в тот раз, направляясь на беседу с учительницей, он и захватил с собой что-нибудь в таком роде. Может, хотел вычитанное из своей книги противопоставить библейским изречениям.

Оскар вбежал в школу. Мальчишки, правда, что-то кричали ему вслед, он не удосужился ответить им.

Я была уже возле входной двери, но какая-то неведомая сила заставила меня вернуться. Желала ли я убедиться в том, что Оскар действительно войдет в учительскую, или мне захотелось, чтобы он меня заметил, сказал бы мне что-нибудь, — не знаю. Во всяком случае, я ринулась вслед за ним, словно меня потянуло магнитом.

Оскар уже стучался в дверь учительской. Потом отворил ее, и я услыхала, как учительница закона божьего сказала:

— А-а! Мой юный безбожник...

Дверь за Оскаром затворилась.

У меня замерло сердце, бросило в жар. Я, кажется, даже сделала несколько шагов в сторону двери. Но подслушивать не стала.

Тут же я увидела других любопытных, возвратившихся со школьного двора. Рядом со мной стояло несколько мальчишек, только что подтрунивавших над Оскаром.

Они оказались предприимчивее меня. Один из них прижался ухом к двери и приложил палец ко рту, чтобы мы помолчали.

Он замер подслушивая. Наконец, махнув рукой, на цыпочках подошел к нам.

— Ни шиша не слышно! — прошептал он.

Хорошо помню, как он это сказал, потому что «ни шиша» было его любимым выражением. Его он вставлял повсюду, когда надо и когда не надо. Так мы его Шишом и прозвали.

А любимым выражением Оскара было: «Вот так да!» Подсмеиваясь над чем-нибудь, он говорил: «Вот так шутка!», «Вот так премудрость!», «Вот так герой!», «Вот так еда!»

Мальчишки пошептались. Мне, конечно, ничего не сообщили, ведь я никогда ни в чем не принимала участия. Но все-таки кое-что донеслось и до моих ушей: Шиш войдет с листком бумаги в учительскую и начнет выписывать из классного журнала имена отсутствующих. Если учительница спросит, зачем ему это, Шиш скажет, что так приказал классный руководитель.

Утвердив стратегический план, парнишка постучал в дверь и скрылся за ней.

Все мы были взволнованы до предела.

Через секунду Шиш снова появился.

— «Вероучка» раскусила... Прогнала из комнаты! — пояснил он.

— А что ты слышал? — воскликнула я неожиданно для себя.

— Ни шиша! — отмахнулся он.

Восседали, мол, оба на диване, как новобрачные. Ossь только успел ответить, что у Маркса об этом сказано совсем иначе... После чего учительница выдворила разведчика из комнаты.

— Кто же этот Маркс? — с удивлением протянул мальчуган. — Ни шиша не пойму!

Мы посовещались немножко, что еще предпринять... Вернее, решали мальчишки. Я же мысленно повторяла:

Маркс, Маркс, Маркс, чтобы не забыть это имя. Почему-то оно показалось мне тогда очень значительным.

Мальчишки судили да рядили, но ничего толкового придумать не смогли. Так мы, несколько разочарованные, и разошлись.

Помню, и следующий день нам ничего нового не принес. Оскара, правда, забросали вопросами, но он только заявил, что положил библию на обе лопатки.

Вначале я толком и не поняла, что это означает. Потом другие объяснили, что это термин из спортивной борьбы. Кто положил противника на обе лопатки, тот и выиграл. А как себе представить, что Оскар победил библию?

Шиш попытался подразнить Оскара Марксом, дескать, это еще что за новый помощник у него выискался.

Оскар же только сказал:

— Вот так да, даже Маркса не знает!

Одни полагали, что Оскар уступил в споре с учительницей, а теперь хорохорится, видите ли, «положил на лопатки». Другие считали, что учительница, наверное, велела ему молчать. А третьи уверяли, что даже сам директор пожаловал в учительскую и приказал Оскару, чтобы тот не смел больше задавать каверзных вопросов и не мешал учительнице вести урок.

Как бы там ни было, но для меня Оскар был окружен теперь ореолом таинственности и казался на голову выше других учеников.

Вскоре я стала участницей нового события, которое напугало меня и произвело настоящий переворот в моем маленьком спокойном налаженном мирке и создало вокруг Оскара ореол почтения, смешанного со страхом.

Выражаясь современным языком, можно сказать, что празднование Первого мая было в нашей семинарии мероприятием грандиозным. Конечно, тогда не упоминали о пролетарской солидарности и других подобных понятиях. Ведь семинария готовила учителей для Эстонской буржуазной республики, и поэтому, естественно, всех их строго ограждали от всякой «социалистической заразы».

Надо сказать, что, несмотря на усилия преподавателей, избежать этого не удалось. Годом позже все, даже такая тихоня, как я, знали, что в семинарии действуют молодые социалисты. Конечно, тайно. Вскоре я выяснила, и кто такой был Маркс, и что существует прила-

гательное «марксистский», что молодые социалисты изучают марксистскую литературу, читают в кружках рефераты и проводят беседы по вопросам марксизма. Толкуют о том, как улучшить положение рабочих. И еще дошло до моих ушей, что Оскар был одним из членов организации молодых социалистов.

Начинались наши майские торжества с того, что всех семинаристов выстраивали перед зданием школы. Потом на балкон выходили директор и учителя. Следующим пунктом программы была речь директора. Обычно он говорил о весне, о цветах и о том, что мы сами, цветы родины, скоро разъедемся в разные края, чтобы всячески помогать расцвету молодежи нашей Эстонии. Что май — это радостный праздник возрождения природы и за спиной у нас осталась трудовая зима...

Примерно в таком духе всегда звучала его речь.

Потом на балкон выводили девушку, одетую во все белое. Это бывала какая-нибудь старшеклассница.

Она символизировала Первое мая, сияние весны и чистоту наших душ.

Мы кричали ей «ура» и аплодировали изо всех сил. После речи директора это было приятной передышкой, возможностью поразмяться и выплеснуть свою энергию. А потом следовали шествие и костер. Мы проходили мимо балкона, направляясь через школьный парк в ближайший лес.

Здесь была приготовлена большая поленница. Мальчишки зажигали костер. Пламя вздымалось все выше и выше...

Только теперь мы могли по-настоящему развернуться. Пели, танцевали, водили хороводы...

Нашу радость и восторг у праздничного костра, видимо, нет надобности описывать.

Итак, костер пылал, лес был полон смеха и веселья.

Не стану скрывать, что я нет-нет да оглядывалась по сторонам, отыскивая взглядом Оскара. Знала, что танцевать он не любит, а может быть, даже не умеет. И все же я надеялась, что он не откажется от участия в празднестве. Хотелось, чтобы эти гомон, сутолока и возня както соединили, сблизили нас.

Настолько-то соображения у меня хватало, что я не стала полагаться лишь на случай. Смекнула, что и со своей стороны надо что-то предпринять, или, выражаясь современным языком — организовать.

Ходила среди праздничной толпы и глядела во все глаза. Даже подруг сторонилась, чтобы они меня куда-нибудь не затащили.

Как бы я поступила, встретив Оскара, я еще не знала да и не задумывалась над этим. Верно, надеялась, что инициативу проявит он.

Наконец увидела, что Оскар стоит возле костра. Просто стоит. Не ворошит головешки, не подбрасывает сучьев. Стоит и держит под мышкой какой-то черный квадратный предмет.

Там, у костра, было много народу. Поэтому я смело остановилась рядом с Оскаром. Никто бы меня не обвинил в преднамеренном желании увидеться с ним.

К своему изумлению, я заметила, что у Оскара под мышкой библия. Черная обложка и золотой крест на ней не вызывали никакого сомнения.

Всякое могла я предположить, глядя издали, но только не это.

Первая моя мысль была, что учительнице закона божьего удалось обратить его в веру!

Но тут же поняла, что такой поворот в настроении Оскара невозможен. К тому же ни один верующий никогда не станет разгуливать с библией под мышкой.

В нашем классе училась очень богобоязненная девчонка, и родители ее были религиозными. Но на майских праздниках она всегда принимала участие в хороводе и хохотала от всей души. Может быть, и во хвалу господа, но все же пела и танцевала. Ведь весна — дар господень своим чадам. Цветы расцветают, птицы распевают... И все, как полагают верующие, во славу божью.

Но гулять с библией под мышкой! Кажется, Оскар увидел, что я не отрываясь смотрю на него. Он повернул голову, и наши взгляды встретились. Тут я совсем струсила: выражение его глаз было какое-то холодное, застывшее.

Он не улыбнулся мне, как я, по простоте душевной, ждала. Впрочем, он, видимо, и не замечал меня. Смотрел, но я чувствовала, что ему от моего присутствия ни холодно ни жарко. Лицо его было повернуто в мою сторону, но взгляд был устремлен куда-то вдаль.

Хотя взгляд его меня испугал, но в то же время и приковал к себе, не дав сдвинуться с места. От него исходила та же таинственность, которой я окружила Оскара в своем воображении.

Вскоре он снова отвернулся и уставился на пламя. Но лишь на мгновение. Словно что-то окончательно уяснив для себя, он шагнул к костру, вытащил из-под мышки библию и кинул ее в огонь.

Не знаю, что в этот момент произошло со мной, закричала ли я, рванулась ли вперед, чтобы спасти эту книгу книг. Может, даже по глупости крикнула о помощи. Это тоже вполне возможно, ибо уважение, необъяснимое уважение к книгам о слове божьем проникло в мою плоть и кровь.

Библия и молитвенник постоянно лежали на бабушкином комоде, на самом почетном месте. Их стерегли две белых свечи в медных подсвечниках. Мои отец и мать сами никогда не молились, однако зубоскальство над божьим словом считали тягчайшим проступком. К этому надо добавить еще многие годы обучения в школе, где закону божьему придавали гораздо большее значение, чем другим предметам.

Я видела, как языки пламени охватили библию, переворачивая страницы и превращая их в разлетающийся пепел. Обвалились горящие головешки, рассыпая искры, хороня книгу в черной обложке под углями.

Языки пламени с новой силой взмыли вверх, весело, по-домашнему затрещали, словно в большой бабушкиной хлебной печи.

Я почувствовала, как кто-то дотронулся до моей руки.

То был Оскар.

Теперь его глаза смотрели на меня. Действительно только на меня.

Я отпрянула. Он подался за мной.

Я пустилась бежать. Пронеслась сквозь толпу веселящихся. Спотыкалась о пни и корневища...

Лишь у самого железнодорожного полотна остановилась. Я задыхалась, ноги дрожали от усталости.

И тотчас же услышала за своей спиной шаги. Знала, что это Оскар.

Он тоже остановился.

Я слышала его тяжелое дыхание и подумала, вернее взмолилась: «Господи, пусть он только ничего не говорит мне!»

Но у бога в отношении меня были свои намерения. Я не выдержала. Обернулась и закричала Оскару прямо в лицо:

— Ты страшный человек!

Еще хотела крикнуть: «Убирайся!» — но это было уже выше моих сил.

Оскар стоял передо мной с таким веселым видом, будто мои слова были для него похвалой и даже льстили. Казалось, он сейчас пережил что-то очень приятное.

— Вот так да! — засмеялся он. — И с таким человеком ты должна учиться в одном классе!

Я искала с ним встречи. Теперь мы наконец были вместе, совсем одни.

Бежали рельсы к горизонту. Помню, я еще подумала, бегут рядом, а соединиться не могут!

— И ты еще смеешься! — с испугом воскликнула я.

— Вот так да! И посмеяться нельзя! — отозвался он, по-прежнему улыбаясь. Потом стал серьезным и спросил: — А ты верующая? Я и не знал!

Волнение мое постепенно улеглось. Испуг, охвативший меня в минуту, когда библия упала в огонь, не давил больше.

Я спокойно ответила Оскару, что я вовсе не верующая, но книгу, все равно какую, сжигать нельзя.

Сама удивилась, почему я не сказала «библию».

Тут совершенно неожиданно Оскар приуныл. И, ковыряя носком сапога кочку, пробормотал:

— Наверное, ты права... Книги и впрямь нельзя сжигать...

Я почувствовала себя хозяином положения и с укором спросила, зачем он это сделал.

Он снова поковырял кочку носком сапога. Теперь уже пришлось ждать дольше, пока он наконец через силу выдавил:

— Надо было...

А я ему опять: зачем же надо было и как это понять?

— Вера — это ложь и обман, так неужели человек должен быть всю жизнь рабом, как сказано в библии!

Голос его прозвучал так же пронзительно и резко, как и в споре с мальчишками.

И я насмешливо крикнула, неужели он думает, что так можно сжечь всю религию на земле?

— На земле нет! Ты права... Но в себе я сжег! Символично! — ответил он мне.

Я молчала, не зная, что сказать. Хотелось с ним еще немного поговорить, но почему-то боялась. Вдруг я почувствовала, что ненавижу его. За то, что он отнял, похитил у меня прекрасный, радостный майский праздник.

После того что произошло у костра, после нашего разговора я уже не смогу ни смеяться, ни танцевать, ни играть в горелки.

Что-то у меня словно оборвалось внутри. Шагнув мимо Оскара, я направилась к школе. Он пошел со мной. Мы не произнесли больше ни слова. У школы каждый из нас повернул в свою сторону. Он к интернату, а я на Хаапсалуское шоссе.

Мы и потом не особенно-то дружили.

Но на уроке закона божьего я всегда пребывала в каком-то нервном возбуждении. В ожидании чего-то все глядела в спину Оскара. И если ему порой снова хотелось поспорить, я была бесконечно рада. Будто это я сама его же словами спорила с учителем.

Иногда я думаю, что, может быть, именно там, у майского костра, Оскар символично сжег книгу книг и для меня.

Ответ четвертый

УЧИТЕЛЬНИЦА

А знаете, как он выступал в кружке риториков на конкурсе ораторов? Это было поразительно! Это было великолепно. Можете мне поверить. Я всю жизнь была учительницей в школе. Старалась привить своим питомцам любовь к нашему родному языку, к богатству его и благозвучию. Я обучала их декламации и благородному искусству красноречия.

Знаете, этот юноша был прирожденный оратор. Это так же верно, как то, что я с вами здесь беседую.

Простите, я, кажется, очень громко говорю, но я плохо слышу. Что поделать, годы...

Наш кружок риторики высоко ценили в школе. Там царил свободный дух. Я бы сказала более: там торжествовала подлинная демократия! Верите или нет, но на занятиях кружка ученики имели право спорить даже с учителями. О, разумеется, это происходило в рамках приличия. И конечно, нельзя было порочить Эстонскую республику.

Да-а, пробой таланта был тот конкурс, о котором я упомянула.

Тема его: «Что делает человека прекрасным?» Надеюсь, вы согласитесь со мной — тема благородная! Вечная тема! Человек всю жизнь должен стремиться к красоте. И к душевной и к телесной. Я всегда отмечала это.

Ах, этот Оскар!

Многие уже успели выступить со своей конкурсной речью. Главным образом ученики старших классов. Восемнадцати-девятнадцатилетние юноши и, конечно, несколько девиц. Одни говорили лучше, другие хуже.

И представляете — на кафедру взошел второклассник! Можно сказать, мальчик еще. Взошел смело, с достоинством и уверенностью.

Сердце мне сразу подсказало: именно он одержит победу. Интуиция не обманула меня. Он стал победителем!

Простите, но я не в силах вам пересказать, о чем именно говорил Оскар. Надеюсь, вы поймете меня... Прошло все-таки более сорока лет. А память человека не молодеет, а дряхлеет, к сожалению...

И так ли уж важно точное содержание? Критерии сути и красоты изменились. Верю, что вы правильно поймете меня. Я человек старого времени, как принято говорить.

Когда комиссия подвела итоги и уже не было сомнения, кто станет победителем, поверьте, я не выдержала и побежала наверх, в свою комнату. Там, на моем письменном столе, лежала книга, купленная мною недавно. То было «Воскресенье» Эстер Стальберг.

Вы знакомы с этим замечательным произведением? Ах, вот как! Вам, следовательно, гораздо легче понять меня. Я тогда уже дважды успела прочесть эту книгу, и она все больше и больше нравилась мне. Жизнь, расцвет и смерть юноши... Что может быть прекраснее и трагичнее! О-о, мне не стыдно признаться в том, что я рыдала, читая это сочинение.

Уже когда я бежала по лестнице, мне было ясно, что я преподнесу ее этому замечательному оратору.

Я схватила свою любимую книгу, написала посвящение и побежала обратно в зал. Ради Оскара мне было не жаль расстаться с этим романом.

Может, вы не поверите, но я говорю вам от чистого сердца: в тот день я почувствовала, что еще чем-то обязана порадовать этого мальчика. Я словно предвидела его

дальнейшую судьбу, и что-то толкало меня вмешаться в нее.

Разумеется, в тот раз я не впервой приметила его и услышала о нем. Хотя, к сожалению, я не преподавала в его классе. Но я знала, что говорили о нем другие педагоги. И над этим, знаете, стоило задуматься. Он никогда не участвовал в мальчишеских проделках, но с ним, однако, следовало быть начеку. Никто никогда не знал, когда он бросит вам вызов. И всегда его вопросы оказывались политического и именно левого толка. Когда рассказывали об освободительной войне, он спросил, кому она принесла свободу. А когда говорили о едином эстонском духе, то он заявил, что между богатыми и бедными никакого единства быть не может. Вообще он был каким-то ожесточенным и замкнутым в своем собственном мире. По мнению моих коллег, такое поведение Оскара было вызвано тем, что его старший брат отбывал наказание за подпольную деятельность.

Все это привлекло мое внимание к нему еще задолго до конкурса ораторов. В этом юноше было что-то особенное, но это что-то вступало в противоречие с тогдашним государственным строем. Поверьте, я почувствовала, что должна помочь ему. Надо было отогнать от него эти назойливые мысли.

Простите меня за мою откровенность. Вы человек вежливый. На вашем лице я ничего не могу прочесть, но вы, верно, втайне про себя посмеиваетесь. Ишь, какой преданный слуга буржуазии! Ведь так тоже иногда выражаются, не правда ли?

Осмелюсь доложить, что, может, тогда, в юные годы, я такой и была. Так меня воспитали. И я видела свой долг в том, чтобы передать то, что воспитали во мне, другим.

Прошу прощения, что я отклонилась от основной темы. Возможно, такое отклонение было даже необходимо для верного понимания моих действий.

И, знаете, что я сделала? Я, молодой, неопытный педагог. Пригласила этого юношу к себе вечером в гости. Он жил в интернате, и я искренне верила, что порадую его этим. И может быть, мне удастся завоевать его доверие больше, чем моим коллегам.

Сперва мое приглашение его смутило. Это отразилось на его лице. Кажется, он даже покраснел.

Такое отношение меня весьма порадовало. Я верила, что мое пустяковое внимание ему приятно. Я ведь знала о нем так мало. Возможно, он никогда не слыхал доброго, приветливого слова, и это превратило его в нашего противника. Выходит, что я в своих стремлениях избрала верный и благородный путь.

Сперва он смущенно молчал, но потом пообещал прийти и пришел.

Мы сидели за столом и ужинали. Он жевал без всякого аппетита. Глядел на стол и в ответ на мои простые вопросы, связанные со школьной жизнью, отвечал односложно.

Ах, знаете, я и сама была весьма и весьма взволнована. Теперь даже немножко смешно вспоминать об этом, но так было. Мысленно перебрала все премудрости педагогики, которыми нас напичкали, но чувствовала все же, что подступа у меня к нему нет. О такой ситуации, когда учитель сидит со своим учеником за чаепитием, не упоминалось ни на одной лекции!

Моя наивная вера, что одно мое приветливое отношение к нему вызовет его на откровение, рухнула.

Тогда я избрала новый путь, надеясь, что на искренность мне ответят искренностью. Возможно, вы удивитесь, но я рассказала ему о своих родителях, о моем пути к просвещению. О том, какой радостью для меня является то, что я могу теперь здесь, в нашей семинарии, обучать будущих учителей нашему благозвучному родному языку. Потом спросила, любит ли он читать.

— Да, все газеты читаю, и еще кое-что... — ответил он.

То была его первая фраза, произнесенная за нашим чайным столом. Я с радостью ухватилась за это.

— Да? А что же еще? В чем это «кое-что» заключается? — с трепетом спросила я.

Он впервые внимательно посмотрел на меня.

Я увидела, что глаза у него серые и нос в веснушках. И взгляд какой-то скрытый, недоверчивый. Не отталкивающий, но, безусловно, неподатливый.

Поглядев на меня с минуту испытующе, он произнес, подчеркивая слова:

— Еще читаю политическую литературу, все, что удается заполучить.

И, вообразите, весьма вызывающе добавил:

— В особенности ту, в которой говорится о социализме!

Не знаю, представляете ли вы мое положение. Даже здесь, в моем доме, он не преминул подразнить своего учителя социализмом...

Признаться, я на мгновение поверила мнению моих коллег: кроме бунтовщика, из Оскара ничего не получится. И вообще, его место не в этом учебном заведении. Не может же наша республика разрешить выпускать враждебно настроенных учителей. Они отравят все наше молодое поколение. После восстания первого декабря прошло всего пять лет!

К счастью, досада моя быстро улетучилась. Юноша, умевший с такой внутренней страстностью говорить о красоте, не мог быть отъявленным бунтовщиком. Рассуждая так, я уверила себя в том, что слова и мысли эти пристали к нему извне. Многие молодые люди, как слышно, распространяли социалистические идеи и в нашей семинарии. Возможно, он щеголяет такими словами и занимается пропагандой попросту из мальчишеского удальства. Или стремится выделиться, покрасоваться. Вроде какого-нибудь своего сверстника, который бравирует своей силой или глупыми остротами.

— Почему же ты читаешь такую литературу? — спросила я.

Я старалась задать ему этот вопрос вскользь, словно продолжая обычный разговор, чтобы у него не возникло впечатления допроса или назойливого выпытывания.

И, знаете, как это ни странно, он улыбнулся. Весело так, совсем по-мальчишески, откровенно.

И, улыбаясь, сказал:

— Не хочу быть политическим слепцом. Хочу прозреть!

Конечно, я была тогда наивна и верила красивым словам буржуа о великом счастье эстонского народа. Поэтому Эстонская республика представлялась мне чем-то завершенным, идеальным. Неужели этот юноша ищет чего-то другого! Неужели смеет быть недовольным! Это казалось мне немыслимым.

Я снова задала ему вопрос. И опять в духе непринужденной беседы.

— И на что же ты надеешься?

Ответ последовал быстро. Так быстро, словно он давно уже приготовил его.

— Хочу знать, каким должен быть справедливый государственный строй. И как бороться за него!

— Наш теперешний государственный строй тебя не удовлетворяет? — испуганно воскликнула я.

Он посмотрел на меня испытующе.

Откровенно говоря, мне стало порядком не по себе. Ведь он изучал меня! О, я полагаю, вы представляете мое положение. Ученик разбирает своего учителя! Совершенно открыто, не стесняясь. Доселе не ведаю, была то искренность или наглость.

— Нет! — кратко ответил он мне.

Вы, конечно, понимаете, что я ожидала другого ответа. Его «нет» больно резануло меня. Итак, все-таки бунтовщик!

Я еще спросила его:

— И что же ты собираешься предпринять?

Он ответил:

— Этого я еще не решил.

Простите, может, вы сомневаетесь в моих словах и не верите, что весь разговор можно столь точно удержать в памяти. Но, уверяю вас, наша беседа протекала именно так. Все сохранилось в моем сознании, ибо то была первая из подобных ситуаций в моей педагогической практике. А первые переживания запоминаются надолго.

О-о, знали бы вы, как я хотела проникнуть в его душу!

Что мне оставалось делать? Какой предпринять ход? Только наступление, атака, что было вовсе несвойственно моему характеру. И все же я пошла на это и произнесла следующую тираду:

— Скажи, зачем ты ломаешь голову над всеми этими политическими проблемами? Тебя ожидает впереди самая прекрасная, самая возвышенная профессия. Ты играешь в школьном оркестре на скрипке. Усердно посещаешь любительский кружок фотографов. В нашей библиотеке есть замечательные книги. Ты хороший оратор. И сегодня ты высказал столько чудесных мыслей... Неужели все это не приносит тебе удовлетворения, не наполняет твою душу добром и красотой?

Простите меня за многословие. Впрочем, в тот раз едва ли я говорила именно эти слова.

Да, а знаете, что он тогда ответил мне? Великий боже! Я и сейчас еще ощущаю оцепенение, охватившее меня.

Взгляд его, направленный на меня, был совершенно невыносим. И он выпалил, я бы сказала, с неистовым гневом умудренного опытом жизни взрослого человека:

— А вы жили в фабричном бараке? Где смертельно усталые люди, возвратившись с работы, валятся с ног? Где детям даже поиграть негде. Где царит страх перед завтрашним днем. Где жизнь — каторга. Где никнет сила духа. И разве вашему брату прилепили ярлык крамольники и упекли в тюрьму? Лишь за то, что он требовал рабочим лучшей жизни, требовал, чтобы они хоть ели досыта!

О-о, поверьте, после этих слов я была не в состоянии смотреть в глаза этому мальчику. Я, учитель, склонила голову! Словно бы я, а не он, виновата в чем-то! Вы представляете себе мое положение?

Долго ли мы так сидели, сказать не могу.

Наконец я услышала, как он встал из-за стола и очень тихо и вежливо произнес:

— Мне надо идти готовить уроки. Большое спасибо! До свидания!

О-о, да-а... В тот вечер я уснула не скоро. Тревожные мысли об ушедшем госте не покидали меня. Я поняла, что мне этот твердый орешек не по зубам. Теперь я была совершенно уверена, что взяла на себя задачу не по силам.

Вы, верно, сами представляете, какое это душевное потрясение для молодого учителя. Но я не хотела признать себя побежденной.

Во мне поднялось необъяснимое чувство протеста: неужели я действительно сдамся! В том смысле, что не смогу заставить зазвучать в нем более нежные струны. Должны же они быть и у него!

Теперь, оглядываясь назад, все это кажется мне бессмысленным. Но в тот раз я упорно продолжала печься о благополучии этого молодого человека.

Известную роль, должно быть, играло любопытство. Надеялась узнать о нем побольше.

Ах, должна вам признаться, что это была весьма и весьма странная дружба. Да, так это и было!

Порой мне казалось, что он мой сын. Сын, переросший меня, игнорирующий мое мнение и все больше и больше калечащий свою жизнь. Я осознала это даже в тот раз, когда у нас зашел разговор о подаренной мною книге. Спросила, прочел ли он это изумительное, трогательное

сочинение и как оно ему понравилось. Кивком головы он дал понять, что прочел. Но тут же пожал плечами и произнес:

— Не в моем вкусе. Слишком много выспренних чувств. Чувства могут быть, но их нельзя подавать с такой сентиментальностью.

Какая потрясающе немилосердная прямота! Мой подарок не оказал на него никакого благостного влияния. Оп даже не удосужился мягче выразить свое отношение к нему.

Я рассказала, какую радость получают родители от своих детей. О да! Даже эти слова застряли у меня в горле! Я уже многое знала о его домашней жизни. Он сам поведал мне об этом.

Не удивляйтесь! Были у нас и такие сердечные беседы. Тогда он становился мягче и доверчивее.

Мне казалось, что он ощущает потребность в близком человеке. В приятеле. Вернее, в друге, но чтобы это были пе мать и не учитель.

И вы подумайте, он даже рассказывал мне о своем старшем брате Роберте. И каждый раз он был при этом весьма и весьма взволнован. После его рассказов перед моим взором возникал образ одаренного и деятельного молодого человека. Подпольный работник, образцовый студент, руководитель кружка эсперантистов в университете, и со всеми этими обязанностями Роберт был в состоянии справиться. Оскар показал мне письмо, полученное им от брата из тюрьмы. В нем этот молодой человек писал о том, что изучает языки, и, между прочим, сообщил, что может читать художественную литературу на двенадцати европейских языках. Это потрясло меня! Полиглоты всегда вызывали во мне восторг и зависть.

И, знаете, я даже подумала, что заключить в тюрьму такого человека — чудовищная ошибка.

В тот раз я и Оскару сказала об этом.

Он горько усмехнулся и воскликнул:

— Ошибка! Это преступление! Сколько у нас политических заключенных! Значит, это тысячекратное преступление!

Я испугалась его вспышки и попыталась смягчить его гнев, сказав:

— Но ведь с точки зрения наших правителей... Каждая власть должна защищать себя от бунтовщиков!

Оскар снова горько усмехнулся.

— Власть богачей — конечно! Но ведь возможна и власть рабочих. Социалистическое государство!

Я спросила, а как же эта, идеальная, по твоему мнению, власть должна прийти? Путем насилия?

Оскар надолго задумался. Мне показалось, что он не знает, что ответить. Наконец проронил:

— Может быть, и так... Рабочие всех стран сплотятся... А может быть, и по-иному... мирно... постепенно... путем реформ....

Видите теперь сами, какими доверительными стали наши взаимоотношения.

Раз он даже поведал мне о своей девушке! Это было уже сверх того, на что я когда-либо надеялась. Да, и о таких сокровенных вещах заходили у нас разговоры! Он спрашивал, имеет ли он право делать девушке подарки. Может ли он зайти к ней домой побеседовать. Пристойно ли все это.

Я весьма радовалась, в особенности последней упомянутой беседе. От всего сердца желала, чтобы он посвятил себя этой девушке. Тогда, возможно, его строптивые настроения окажутся преданы забвению. Девица эта посещала нашу школу и оказалась очень милым и благовоспитанным существом. Лучшего друга и я не смогла бы ему подобрать.

Дни шли, а надежды мои все не оправдывались.

Ах, знали бы вы, как тяжело испытывать такое разочарование!

Я оказалась свидетелем разговора, разбившего все мои иллюзии.

Как-то я вошла в одну кондитерскую, куда часто заглядывали наши ученики. И на сей раз их было в лавчонке довольно много.

Один молодой человек стоял у самого прилавка. Лавочник протянул ему две дешевые булочки.

И сразу я услышала знакомый голос. До этого я не заметила Оскара. Он стоял возле того покупателя.

— Послушай, почему ты покупаешь такие дешевые булки? — спросил Оскар нарочито громко. Все присутствующие в лавке, конечно, хорошо его слышали.

— А тебе какое дело! — бросил в ответ покупатель дешевых булок.

— Да ты не сердись! — произнес Оскар мягко. — Мне очень хочется знать... Ведь здесь есть булочки гораз-

до лучше! С изюмом, с кремом... Разве они тебе не по вкусу?

— По вкусу, да не по карману! — пробормотал в ответ парень.

— Неужели твой отец не дает тебе столько денег? — продолжал допытываться Оскар все так же отчетливо и громко.

— Дал бы, если б были! — ответил тот.

— А разве он не работает? — удивился Оскар.

И, знаете, только теперь я поняла, какую игру затеял Оскар. Стесненные обстоятельства родителей этого парня, наверное, были известны Оскару. Его удивление было, конечно, притворным.

— Как же так, не работает! — возмутился парень.

— Значит, он лодырь! — снова поддразнил Оскар.

Теперь глаза юноши, купившего булки, загорелись огнем. Он схватил Оскара за лацканы пиджака и закричал:

— Ты что мелешь! Мой старик вкалывает с раннего утра до позднего вечера...

Оскар сказал, как отрезал:

— И все-таки он бедный! Так оно и есть! — крикнул он еще громче, на всю лавчонку. — А булки подороже покупают сынки других папаш! Обернись, погляди! Почему это так? Ведь это же несправедливо!

Во время словесной перепалки они отошли от торговца. А теперь Оскар с парнем снова повернулись к прилавку. Там стоял еще один наш ученик. Ему протянули полный кулек булочек с миндалем и кремом. Этого молодого человека я тоже хорошо знала. У его отца были несколько домов, собственная торговля и, кажется, хутор.

Покупатель дешевых булок отпустил лацканы Оскарова пиджака. Вернее говоря, руки его сами опустились.

Но тут обладатель булочек с кремом погрозил Оскару кулаком и заорал:

— Ты что здесь скулишь? Хочешь, чтобы я тебя отдубасил!

Тот бедный парень, что стоял рядом с Оскаром, бросил со злобой:

— А ты не встревай! У меня кулак батрацкий!

Лавочник рассердился на Оскара и приказал ему тотчас же убираться прочь. Теперь в лавке воцарилась необычная тишина. Весьма необычная. Даже, пожалуй, ка-

кая-то напряженная. Я очень ясно ощутила это напряжение.

Оглянулась на девушек и юношей. В большинстве это были дети бедных людей. Об этом можно было судить уже по их одежде.

Ничего не купив, я поспешила за Оскаром.

— Зачем ты это сделал? — тихо спросила я у него.

— Разжигал ненависть. Ненависть к несправедливости! — ответил он.

— А ты и раньше затевал такие разговоры? — продолжала я допытываться.

— Да. Везде, где только представлялась возможность! — бросил он с такой непримиримостью, словно между нами никогда и не бывало задушевных бесед.

Ах, верите ли, теперь и мое терпение лопнуло. И я решительно заявила:

— Ты же подстрекатель!

— Вот так да! Сразу и ярлык прилепили! Один подстрекатель, другой мятежник, третий бунтарь!

Его резкий голос и манера поведения отталкивали. Но я поборола себя, не отвернулась от него, а постаралась убедить, как бессмысленны такие импровизированные препирательства. Они ведь ничего не дают. И если бы в школе и нашелся ученик, его единомышленник, это не внесло бы в нашу жизнь никаких изменений.

Удивительное дело, но каким-то необъяснимым чувством я ощутила, что мои слова для него словно с гуся вода.

Представьте, его лицо вдруг озарилось такой знакомой мне улыбкой. Он весело сказал:

— В Эстонии школ много... Один ученик там, другой здесь. Сами посудите, сколько нас наберется.

— И ты смеешь этим хвалиться передо мной! — воскликнула я.

— Смею! — снова произнес он весело. — Вы добрый человек, не прогневаетесь.

О-о! Это безмерное откровение лишило меня дара речи. До школы мы шли молча.

Ах, простите, я забыла... Не желаете ли чаю? Люблю чай с малиновым вареньем! Выпейте со мной стаканчик. Что вы изволите? Ах, вот как, благодарю! Сейчас принесу...

Славный напиток, не правда ли? Может, желаете еще сахару?

Да-а... Так на чем я остановилась?.. Так, так. Благодарю вас!

Признаться, среди учителей все больше укреплялось мнение, что Оскару не место в нашем учебном заведении. В особенности настоятельно стали раздаваться эти голоса, когда среди его вещей обнаружили какие-то брошюры. Хотя мои коллеги и я пытались на него повлиять, это ни к чему не привело. Он оставался прежним, и нашлись даже ученики, которые зашагали с ним в ногу. Влияние социалистической агитации ощущалось в нашей школе все сильнее. Так — капля за каплей — и чаша, как говорится, стала переполняться.

И последней капле он дал упасть сам. Из-за мальчишеской опрометчивости.

Это было за несколько дней до рождественских каникул. Один учитель нашел в своей двери записку. В ней было сказано, что Оскар собирается стрелять в него.

Естественно, сразу началось расследование. Выудить признание у Оскара поручили руководителю кружка фотолюбителей. Он, мол, мужчина, неплохо ладит с Оскаром и, кроме всего прочего, также бывший офицер, следовательно, знаток по стрельбе и огнестрельному оружию.

Он остановил Оскара в коридоре и заговорил о делах кружка. А сам в это время присматривался к одежде юноши, ведь револьвер — не огрызок карандаша. Такой предмет в кармане сразу бросится в глаза.

Потом учитель присел на подоконник и предложил Оскару последовать его примеру. Не подозревая ничего дурного, Оскар сел.

Теперь очертания револьвера ясно вырисовывались сквозь карман брюк. И Оскару пришлось распроститься с оружием.

Он попросту стащил его у дяди.

Воображаете, мальчишеская шалость... Захотелось в школе перед своими приятелями немного... Как это говорится?.. Да, пошиковать! Оружие всегда привлекало юнцов. Револьвер был не заряжен и, следовательно, не опасен. Патронов у Оскара не нашли.

Я очень ясно представила себе, как это все происходило. Оскар вытащил оружие. Мальчишки разглядывали его, трогали и ахали. Может быть, кто-нибудь, шутки ради, спросил Оскара, в кого он собирается пальнуть. А тот ответил: а вот в того учителя возьму и бабахну! Кто-нибудь из присутствовавших, затаивший злобу против

Оскара, и воспользовался подходящим случаем отомстить ему. Во всяком случае, автор письма остался для нас неизвестен.

Догадываетесь ли вы, что я пережила! Ведь теперь у школьного совета была прямая и веская причина немедленно исключить Оскара из школы. И все мои коллеги были за это.

Пожалуйста, не поймите меня превратно! Я не хвастаюсь и не выставляю свою пустяковую заслугу напоказ. О, нет, нет! Я весьма далека от этого. Хочу только сообщить, что по моему ходатайству Оскару все же разрешили закончить учебный год. Но в новом учебном году двери нашей семинарии закрылись перед ним. Итак, он смог проучиться у нас только два года. Весна тысяча девятьсот двадцать девятого года стала для него последней.

В заключение, с вашего позволения, я скажу, что молодого человека с таким непреклонным и противоречивым характером мне больше встречать не доводилось.

Позвольте, я налью вам еще чаю! Что вы сказали? Ах, вот как... Да, в таком случае ничего не поделаешь. Пожалуйста, пожалуйста... Не стоит благодарности!

Ответ пятый

ШКОЛЬНЫЙ ПРИЯТЕЛЬ

«Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты» — эта поговорка бытовала в Раннуском краю.

Если вспомнить сейчас об Оскаре и обо мне, то, пожалуй, можно сказать, что эта поговорка неправомерна. Хотя народная мудрость и гласит: поговорки не лгут.

С Оскаром мы все-таки дружили и, по моему разумению, были неплохими друзьями. Но, несмотря на это, никто бы не смог найти у Оскара характерные для меня особенности или обнаружить у меня черты, присущие натуре Оскара. По всей вероятности, наша дружба была тем исключением, которое всегда сопутствует любому правилу или закону.

Я был крестьянским парнем, этаким молчаливым тихоней, всегда державшимся особняком. У нас в классе были и спортсмены, и танцоры, и просто заводилы.

Порой я глядел на них с завистью, но соучастника из меня никак не получалось.

По правде говоря, в этом смысле мы были схожи с Оскаром. И он ничем особенным не отличался. К тому же был в нашем классе новичком, о котором никто толком ничего не знал. И сам он тоже не больно стремился показать себя другим, ни на словах, ни на деле.

Как я с ним познакомился ближе?

То был дождливый и хмурый день. Накануне вечером солнце еще немного проглянуло, но с утра уже шел дождь. В таких случаях жители острова Муху говорят, что у осенней ночи девять сыновей.

Когда уроки закончились, я отправился домой. Дождь поливал меня, я был в одном пиджаке, а путь предстоял довольно долгий. С улицы Нунна до улицы Лийвалайа. Сетовал про себя: пока попаду домой, промокну до нитки.

Сказал — домой, но это, вернее говоря, была комнатенка, которую я снимал у одной старушки. Школьников этих, приехавших из деревни и снимавших комнату, называли постойщиками, или постояльцами. Старушка заботилась обо мне неплохо, но ведь недаром говорится, пусть лучше мать огреет, чем чужой пригреет.

Я припустил вовсю, чтобы поскорее добраться до дому, но вскоре так полило, что мне пришлось заскочить в какой-то подъезд.

Прошло немного времени, и я увидел моего одноклассника Оскара. Он шел размашистым шагом, ступая прямо по лужам. Вода хлестала в обе стороны из-под его ног, а он будто и не замечал этого, хотя глядел все время вниз.

Я окликнул его, он словно бы очнулся и стал рядом со мной в проеме двери.

Я спросил, что он, тоже живет в этих краях, он ответил, да, на улице Роози.

Итак, оказалось, что мы почти соседи. Оба мы удивились, что нам до сих пор не довелось встретиться по дороге в школу.

Я заметил, что внутренний карман Оскара порядком топорщится. Подавшись немного вперед, видел, что у него из-за пазухи торчит солидная пачка газет.

Поинтересовался, где он их раздобыл. Он ответил, что в газетном киоске, куда подоспел как раз вовремя. Газетчица уже собралась закрывать киоск, в дождь ведь покупатель не придет.

Мне показалось это очень странным: такой же, как я, мальчишка, а бегает за свежими газетами. Да еще в ливень! Тогда в них наверняка должно быть что-нибудь сногсшибательное. Я иногда с неделю не брал газет в руки. Не чувствовал в них никакой надобности. Всякие там политические новости, сообщения о пожарах и прочие писания меня совершенно не трогали. Вот уж не было мне дела до всего этого, где и как живут да поживают. Правда, за книгами, взятыми из школьной библиотеки, я просиживал до полуночи. Ну так в них было нечто другое, а не газетное пустозвонство, как говаривал мой отец. В нашей семье крепко следовали мудрости вяндрасских крестьян, утверждавших: каков пес, таковы и щенки!

И я спросил Оскара, что же в них, в газетах, такого интересного, что за ними стоило бежать в эдакий ливень.

Оскар ответил, что особо интересного от них ждать нечего, но надо же быть в курсе мировых событий. Знания ведь есть не просят!

Значит, можно было сделать вывод, что он читает газеты с неизменной последовательностью, изо дня в день. Эта новость не на шутку меня удивила. Конечно, ради какого-нибудь романа о гангстерах и я готов был ежедневно покупать газеты, но тогда расходам не будет конца! Нет уж, на такие развлечения я не смел тратить деньги, полученные из дому. В нашем бедняцком селе каждый пенни был на счету. До сих пор не могу понять, как сумел отец из своего скудного хозяйства откладывать еще на мое обучение. Он был не из тех, про кого могли бы сказать: козлу не станет сено подгребать, сольцы — сынку родному покупать.

Должно быть, я, стоя в проеме двери, повторил слова своего старика, дескать, ох, уж это газетное пустозвонство, ни к чему на него и тратиться.

Оскар принялся горячо возражать. Вначале признался, что во многих газетах и впрямь изрядно пустой болтовни, разных ерундовых преувеличений, а также искажения одних фактов и замалчивания других. Но все же какую-то картину о мировых событиях они дают. И внимательный читатель может кое-что намотать себе на ус.

Моя крестьянская натура сразу же уловила здесь для себя некую выгоду. Я спросил, не собирает ли он вырезки из газетных романов о гангстерах.

Оскар покачал головой и сказал, что откладывает лишь те, где написано о коммунистах.

Я здорово испугался: ведь в то время, произнося слово «коммунист», надо было дважды оглядеться, не подслушивает ли кто.

И это я постиг не своим умом, а убедил меня в этом отец. Ни о какой политике старик и слушать не хотел. Хоть и был он бедняк, но твердо верил, что тяжелым трудом и бережливостью счастливый человек может вполне добиться удачи. А если уж счастья тебе не дано, то никакие партии и восстания ни на грош не помогут. Словом, как ни кинь — все клин!

Теперь бы я мог сказать, что мой старик был политически неграмотный человек, а тогда я считал его олицетворением житейской мудрости. Его наставления не подлежали в моих глазах обсуждению или проверке.

Я спросил у Оскара, почему он собирает именно такие вырезки. Оскар ответил, что его интересует все, что связано с подпольной работой.

Эти слова прозвучали так же страшно, как «коммунист», и я посчитал, что мне теперь лучше промолчать, потому как отец всегда повторял: «Слушать слушай, а сам помалкивай!»

Дождь меж тем пошел реже, и мы направились домой. О газетах и о коммунистах у нас больше разговора не заходило. Вероятно, мы просто перебрасывались фразами о школьной жизни.

Этот новый ученик вдруг сильно заинтересовал меня. Мне хотелось его порасспросить о всяких политических делах, но из-за своей медлительной натуры я не знал, с чего начать.

Когда мы остановились с ним возле двери моего жилища, Оскар сказал, что он не прочь зайти ко мне.

Я не возражал.

Хозяйка куда-то ушла, но комната была натоплена, стенка от плиты далеко распространяла свое тепло. Мы сняли пиджаки и прислонились продрогшими спинами к нагретой каменной стене. От затылка до самых кончиков пальцев ног пробегала приятная дрожь.

Оскар уже успел взять газету «Пяэвалехт» и громким голосом начал читать объявления о поисках работы.

Вдруг он взял с комода ножницы, вырезал одно из объявлений и сунул мне.

Я, наверное, состроил глупую мину, потому что Оскар

принялся хохотать и сказал, чтобы я, прочтя раз семь эти строки, подумал, что заставляет человека так унижаться перед богачами.

Это объявление я сохранил среди других школьных бумаг. Сейчас я его вам прочту.

«Богатые дамы и господа! Христом богом молю, сжальтесь над восемнадцатилетней сиротой и выручите из бедственного положения. Я гибну в нужде и не в силах дальше бороться с судьбой. Умоляю, предоставьте мне любую работу. Люблю детей, умею стирать, могу служить прислугой, согласна на выезд, не гнушаюсь никакого дела. Прошу сообщить в контору сей газеты под девизом «Последняя надежда».

Я повторил Оскару слова отца, что, мол, не всем курочкам на шесте сидеть, видно, девице этой не выпало счастья в жизни. Но Оскар вспыхнул и ответил, что о каком счастье вообще может идти речь, если в Эстонской республике царит безработица. Бедняк для богача просто хлам! Эти слова о счастье — чистейший обман. И те, кто о нем говорит, похожи на страусов: сунут голову под крыло и не видят, что творится кругом, пребывая в счастливом неведении. А кругом экономический кризис, безработица, фашизм поднимает голову, борцов за права рабочих преследуют...

Оскар кинул на стол пачку газет и сказал, что даже заголовки в газете ясно отражают нашу жизнь.

И он быстро зачитал следующие заглавия:

«Беспорядки на улицах Тарту». «Триста безработных намеревались устроить демонстрацию». «Коммунистов ссылают на каторжные работы». «Отголоски рабочих демонстраций». «Фашисты рвутся к власти». «Подсобные работы не в состоянии обеспечить всех безработных».

Возразить Оскару я не сумел. Из отцовских советов ни одной подходящей мысли мне на ум не пришло, а своего ума не хватало.

В тот вечер мы порядочно пробыли вместе. Я вынул из теплой духовки соус, картофель и салаку. Подкрепились немного, потом поиграли в карты: в подкидного и марьяж. Наконец Оскар объявил, что салаке плавать захотелось, не пойду ли я с ним, он, мол, угостит меня кружкой пива.

Против пива я ничего не имел, но такое расточительство меня поначалу смутило. Ведь принимать угощение — значит и самому потом угощать, а это потребует

непредвиденных расходов. Простофилей я все-таки показать себя не хотел и натянул мокрый пиджак.

По дороге узнал, что весной Оскара исключили из Ляэнемааской учительской семинарии и теперь он надеется закончить городскую гуманитарную гимназию. Уходить из семинарии ему было страшно жаль, ведь только должность учителя, по его словам, в полной мере привлекала его.

Когда я спросил, почему ему пришлось покинуть семинарию, Оскар ответил, что об этом я сам должен был бы догадаться. И верно, вспомнив, что говорил мне только что Оскар, догадаться было нетрудно.

Вот так мы и стали приятелями. Чаще всего мы сидели у меня, а иногда и у него. Но мне сдавалось, что Оскар стыдится своего дома. Откровенно говоря, и мне не хотелось бывать у него. Мое убогое жилище было во много раз чище и приветливее, чем их городская квартира.

Только потом я понял, что Оскарова мать не тратит ни цента и ни минуты на то, что именуется опрятностью и красотой. Целью ее жизни было выстроить каменный дом. Во имя этого она надрывалась и промышляла с раннего утра до позднего вечера. Деньги служили ей уже не добрым помощником, а злым хозяином. Единственным развлечением и отдыхом для матери Оскара было ходить по воскресеньям в баптистскую молельню и слушать проповеди.

Однажды Оскар пошутил, что и он самый настоящий баптист, крещенный святой водицей в той же молельне.

Мы дружили с Оскаром в этом и в следующем учебном году. Несколько раз приглашал он меня на улицу Тынисмяги, в Союз молодых социалистов, но я не пошел. Уж больно сильно отец внушил мне боязнь ко всякой политической деятельности. «Лучше осторожным быть, чем потом весь век тужить». Эта премудрость напоминала о себе, словно гиря, привязанная к ногам.

Оскар предлагал мне иногда почитать журнал Союза молодых социалистов Эстонии — «Рюннак» («Штурм»), но у меня не было к этому делу ни малейшего интереса. Однажды после его очередного приглашения я спросил мимоходом, что же все-таки представляют собой эти молодые социалисты.

Оскар объяснил, что Союз молодых социалистов — это секция социалистической партии. В программу союза входит воспитание будущих членов партии. На Тынисмя-

ги, в помещении союза, работают разные кружки. В них изучают, например, историю социалистического движения и основы марксизма. Молодые социалисты проводят антивоенную пропаганду, стараются освободить рабочую молодежь от влияния религии и вскрывают истинное лицо буржуазных шовинистических организаций.

Когда я спросил, к чему же в конце концов рассчитывают прийти молодые социалисты, Оскар ответил, что они стремятся к более справедливому и лучшему государственному строю.

На вопрос, каким же образом они думают этот справедливый и лучший строй ввести в действие, Оскар живо и горячо пояснил, что социалисты должны добиться в Государственном совете большинства голосов. Тогда уж дело пойдет на лад. Появятся новые, более справедливые законы, жизнь рабочих облегчится. И если еще в других европейских странах добьются того же, то настанет всемирный социализм. В одной только Эстонии социализм победить не сможет. Рабочий класс еще малочислен, несознателен, и его культурный уровень не больно высок.

Все это Оскар сообщил с большим воодушевлением. Видно было, что дело это глубоко трогает его.

Я вспомнил, как Оскар в тот дождливый день, стоя в подъезде, говорил, что собирает газетные статьи о коммунистах и подпольной их деятельности. Вдруг меня осенила мысль: спрошу-ка я у него, так же ли думают коммунисты и то же ли они проектируют?

Услышав этот вопрос, Оскар задумался и помрачнел. Мне показалось, что я попал в его самое больное место, Оскар как-то необычно для него беспомощно развел руками и процедил сквозь зубы, что коммунисты проектируют все это иначе.

Вдруг он почему-то рассердился, сказал, что нечего мне приставать с этим вопросом, и заговорил о другом.

Потом, немного позже, весной тысяча девятьсот тридцать первого года, наши дороги неожиданно и окончательно разошлись.

Кажется, это было за несколько дней до первого мая, когда я, придя в школу, сразу смекнул, что произошло что-то необычное. В классе царило непонятное для меня волнение.

Там и сям на партах и в руках у мальчишек были какие-то печатные листовки. Часть учеников читала их серьезно, открыто, а часть боязливо, тайком, словно запи-

маясь чем-то преступным. А иные, просто смяв их в комок, кидались друг в друга.

Не успел я свой портфель положить в парту, как увидел там отпечатанный листок. На нем заглавие: «Первомайский Манифест Международного союза профсоюзов».

Пробежал глазами строки, и мне, признаюсь, стало не по себе. Хотя мы с Оскаром о чем только не толковали и многие его суждения стали мне понятнее и даже вызывали уважение, все же строки, вычитанные мною, испугали. Причиной были, видно, не только сами слова, а и то, что листовки эти впервые попали сюда, в школу.

Буржуазная школа и ее питомцы должны были стоять в стороне от политической борьбы. Естественно, что в связи с этим под строжайшим запретом было и распространение манифестов, листовок и воззваний, мобилизующих рабочих на борьбу. Этот запрет был наложен даже на совершенно легальные печатные произведения социалистов.

Несколько лет тому назад, когда я работал в архиве, манифест этот попал мне в руки. Вновь встретясь со старым знакомым, я выписал из него несколько выдержек. Они звучат так:

«Уже начиная с тысяча восемьсот восемьдесят девятого года, то есть в течение сорока лет, Первое мая было днем демонстраций в защиту мира и прав рабочих. В этот день международный пролетариат непрерывно поднимал свой голос перед господствующим классом всех стран, предъявлял ему категорические требования: обеспечение мира народам, сокращение вооруженных сил, учреждение международного арбитража и установление законодательства в защиту прав рабочего класса о восьмичасовом рабочем дне.

Итак, главная обязанность рабочих — выступить против всяких попыток воспитывать милитаристский дух и умножать средства воздействия на милитаризм.

...1 мая этого года должно прежде всего напомнить господствующему классу о стремлении рабочих к миру и об утверждении законного требования — восьмичасового рабочего дня.

Поэтому мы и в этом году призываем членов профсоюзов всех стран принять участие в мощной первомайской демонстрации...»

Под текстом манифеста следовали в рамке напечатанные лозунги от Центрального союза трудящихся Эстонии:

«Первое мая — день братства трудящихся!
Да здравствует организационная сила и
солидарность рабочего класса!
Укрепим наши профсоюзные организации!
Только собственными силами мы доведем наше дело
до победы!»

Начался первый урок. Я спрятал манифест в парту и время от времени поглядывал на Оскара. Хотелось увидеть, как он отнесется к этому воззванию. Но Оскар деловито склонился над тетрадкой или учебником, и по его лицу я ничего понять не смог.

Дверь класса распахнулась, и к нам стремительно вошел директор. Такого разъяренного человека мне и потом редко приходилось встречать. Лицо у него было прямо-таки иссипя-лиловым.

Мы, как и полагалось, поднялись и замерли на месте. Я думал, что сейчас последует приказ собрать все листовки до единой и отдать директору.

Но он продолжал стоять перед классом мрачнее грозовой тучи, оглядывая ряды учеников. Вдруг он указал пальцем на Оскара и гаркнул:

— Вы принесли эти листовки в школу!

У меня сердце екнуло. И в то же время как будто было жаль, что Оскар ни словечком не обмолвился о своих намерениях. А я считал, что мы с ним за время нашей дружбы не один пуд соли съели!

— Да, принес, — ответил Оскар так спокойно, словно речь шла о какой-нибудь обычной школьной шалости.

Директор забрал Оскара с собой, и назад мой приятель в этот день уже не возвратился.

Забегая несколько вперед, я должен заметить, что двумя неделями позже Оскару разрешили снова посещать уроки, но с окончанием учебного года закончилась и его учеба в нашей школе. Опережая события, я хочу добавить, что следующей осенью его не приняли ни в одну из других школ. Кому хотелось пускать в свой загон черную овцу! Таким вот образом Оскару не хватило одного года до получения среднего образования.

В этот день, когда директор увел Оскара из класса, с нашими ребятами произошло нечто удивительное. Мы вдруг разделились на три лагеря. Одни защищали Оскара, другие чернили его на все лады, третьи были ни «за», ни «против».

К своему стыду, обязан сказать, что я очутился в третьей группе. Что-то удерживало меня встать на сторону Оскара. Верно, это был страх, который вместе с отцовской житейской мудростью зажал мне рот, хотя в глубине сердца я и сочувствовал своему приятелю. Но, как говорится, сочувствие еще не признание.

Вечером и на следующий день я заходил к Оскару, но его не оказалось дома. Мать объявила, что он уехал в Хаапсалу к дяде.

Лишь в первомайское утро мне удалось разок взглянуть на него. Действительно только взглянуть.

Я стоял на краю тротуара, когда первомайская колонна молодых социалистов проходила мимо меня. Среди них был и Оскар! В серой форменной куртке, на шее галстук красного цвета, в черных очках!

Поскольку его исключение из школы не было еще окончательно решено, он с помощью черных очков думал скрыться от недобрых взглядов. Школьник среди молодых социалистов, да еще в колонне демонстрантов — большего в то время и не требовалось для исключения из школы.

Так он мне сам позже объяснил.

Но махнуть рукой на демонстрацию совесть ему не позволила.

В конце мая мы снова и по многу раз сидели с глазу на глаз в моей комнатенке.

В один из таких вечеров Оскар казался особенно раздраженным, даже озлобленным. Я опять выступил со своей примиренческой моралью. Кто, мол, велел ему совать нос в эти политические затеи? Зачем он притащил этот манифест в школу? Известное дело, где исполнители, там и наблюдатели. В большом доме и у стен уши, и у порога глаза!

Оскар поглядел на меня недружелюбно, точно виновником всего был я, и произнес:

— Меня выгоняют из школы за мои политические взгляды, а ученики, члены преданного буржуазии кайтселийта, могут там учиться. Вот так да! Где же тут справедливость!

Я ничего не ответил ему. Действительно, справедливости было не добиться. У кого сила — у того и власть, у кого мошна — у того и право! Столько-то уж и я стал понимать.

Ответ шестой

ТОВАРИЩ ПО СОЮЗУ

Оскар... Что я о нем знаю? Не так уж много... Можно ли из этого составить какой-либо портрет? Право, не знаю. Вряд ли... Не хватит отдельных кусочков. Получится дырявая мозаика... С пустыми местами.

Что же делать? Ну ладно, попробую! Постараюсь сложить хотя бы один весенне-летний пейзаж. Может, что и получится.

То было... Какой же это был год? Тридцать первый? Да, да-а... Точно. Тысяча девятьсот тридцать первый год.

Весна была теплая. Необычайно теплая. Деревья в парке нашей семинарии уже давно позеленели. Еще до первого мая.

Уроки закончились. Мы прогуливались на дворе. Проветривали мозги. Воздух был чист. Чист и свеж. Отрадное ощущение весны. В тот послеобеденный час я увидел его. В первый раз. Знал ли я тогда, с кем имею дело?

Средь деревьев парка я увидел паренька. Совсем мне незнакомого. Он стоял и беседовал с другими. Словно старый приятель.

В школьном парке и раньше появлялись посторонние. Родственники или знакомые семинаристов. Посетители. Ведь ученики съехались к нам в семинарию со всей Эстонии.

Почему же я обратил внимание именно на этого юношу? Должно быть, виновата была его одежда, которая сразу бросилась мне в глаза. Она привлекла мое внимание и вызвала интерес. Голубовато-серая блуза и алый галстук!

Знал, что такую форму носят молодые социалисты, но сам ее еще не видел. По крайней мере, на нашем школьном дворе определенно не видел.

Пришелец заинтересовал меня. Я подошел к группе учеников поближе. Узнать, о чем он говорит... Откуда появился... И почему в форме.

Заметил, что вокруг него собрались именно те семинаристы, которые принимали участие в мартовском инциденте.

Что это за мартовский инцидент? Ах, да! Об этом следует рассказать побольше.

В нашей школе стали уже традиционными утренники, где читались доклады или рефераты. Сами ученики и специально выбранный комитет готовились к этому. Тему можно было выбрать по собственному желанию. О красоте, о чести, о любви к родине. Потом выступали с какой-нибудь декламацией или концертным оркестровым номером.

Так вот.

Кто такую тему придумал, я уже не помню. Да это и не важно. Короче говоря, в марте решили прочесть реферат о Марксе! Подумайте — о Карле Марксе!

И где? В учительской семинарии. В этом здании, где готовили преподавателей, людей, призванных воспитать молодежь, верноподданную буржуазной республике.

И не только реферат этот... Школьный оркестр должен был в конце исполнить «Интернационал»!

Ученики-оркестранты согласились, стали репетировать. Музыкальный класс был в левом крыле здания. Репетировали по вечерам. Потихоньку. Когда учителя уже расходились по домам. На всякий случай выставляли в коридоре часовых.

Так вот.

В одно мартовское утро реферат был прочтен. Составлен он был хитро. Очень хитро. Так, чтобы директор не смог прервать докладчика. Прервать и прекратить утренник.

Докладчик пространно рассказывал о рабочем движении, о роли рабочих в обществе... Слушателям было не ясно, куда клонит референт. И только в конце!.. Только в самом конце пронеслось по залу... Имя человека, предвидевшего победу рабочего класса над капитализмом, — Карл Маркс. На его учении зиждется будущее всей нашей земли!

Ученики молчали. Учителя молчали. Директор не смог вымолвить ни словечка.

Но и времени, чтобы прийти в себя, не дали. Ни полминутки. Оркестр не долго думая грянул «Интернационал». Именно грянул! В лучшем смысле этого слова. Парни все эти дни репетировали под сурдинку, а теперь дули вовсю! Весело! Бравурно!

Что же случилось потом? Известно что... Ученики, ответственные за этот утренник, были наказаны. Двоих-троих выгнали из семинарии. Дело получило широкую огласку. Даже в Государственном совете разбирали его. Требовали объяснения, почему семинария превратилась в «коммунистическое гнездо». Конечно, это было преувеличением. Весь доклад и конец его звучали в духе статей социалистов о Марксе, издаваемых в официальных печатных органах. Никаких призывов к классовой борьбе в докладе не было. Да и не могло быть. Молодые социалисты — ученики семинарии — не были уж такими левыми. Но все-таки доклад этот явился демонстрацией. Демонстрацией в стенах школы. Запретным политическим мероприятием.

Так вот.

Семинаристы, участники мартовского инцидента, собрались вокруг пришельца. Его окружили, и меня подозвали.

Тогда мне и представили его:

— Оскар. Исключенный из нашей школы два года тому назад за политику!

Оскар! Где-то я, кажется, уже слышал это имя. Я ведь недавно поступил сюда. В прошлом году.

С интересом разглядывал я Оскара. Ах, вот он, значит, какой. Исключенный из школы за политику. Мягкие черты лица. Лицо еще совершенно детское. Очки в круглой черной оправе. Средний рост. По-моему, его скорее можно было посчитать за пай-мальчика.

Ребята, видно, прервали какую-то деловую беседу. Я ждал, когда они продолжат ее. А они почему-то смотрели в сторону, мимо меня. Смотрели и строили гримасы.

Показалась одна из учительниц. Направилась к нам. Прямо к Оскару. Они уставились друг на друга.

— Здравствуйте! — произнес Оскар. — Приятно снова встретить вас!

В его словах прозвучала легкая ирония.

Учительница не обратила внимания ни на приветствие,

ни на его интонацию. А может, все же обратила? В ее вопросе послышалась скрытая издевка.

— Почему на вас красный галстук?

Я почувствовал в этих словах некий вызов.

Оскар весь напрягся. Или мне так показалось. Он ответил с некоторой заносчивостью:

— Мне нравится красный... галстук!

Я понял. Паузу после слова «красный» он сделал нарочно.

— У вас по-прежнему скверный вкус! — бросила ему в ответ учительница. Ее голос прозвучал еще более надменно, чем у Оскара.

Я подумал, теперь начнется словесная перепалка. Но не началась. Учительница повернулась и пошла прочь.

Я посмотрел на Оскара. Что он предпримет теперь? Неужели последнее слово останется за учительницей? Этого, конечно, не случилось! Я знал Оскара еще слишком мало.

И вот раздался его голос. Очень звонкий. Он должен был достичь слуха учительницы.

— Не уходите! Ведь о вкусах спорят! — крикнул Оскар.

Это был вызов. Явный вызов. Но учительница и виду не подала. Я был рад, что последнее слово осталось за этим чужим юношей.

Наша группа разбрелась в разные стороны. Кто-то шепнул мне на ухо, что часом позже, на просеке...

Ситуация прояснилась. Оскар в Хаапсалу не случайно. Ему надо что-то сообщить нам.

Я оказался одним из последних, кто пролез сквозь кустарник к просеке. Нас собралось человек двадцать.

Оскар сидел на пне. Выражение лица у него было весьма самоуверенное. Это мне немного мешало. Мешало и вместе с тем притягивало.

Потом Оскар предложил спеть «Красное знамя». Спели. Тихонько, еле слышно.

Этот приглушенный мотив и сейчас еще звучит у меня в ушах. Возникло чувство сплоченности.

Теперь бы мне рассказать, что говорил Оскар. Пересказать как можно точнее. Но из этого ничего не выйдет. Запомнился приглушенный мотив. Настроение, царившее там, я и сейчас ощущаю. А вот речи не помню. Оно и понятно. Годы...

Но проблема запомнилась. Да-а... Годы произвели в памяти ревизию и лишнее отбросили. Оставили только проблему. Проблему в чистом виде. Все самое существенное.

Оскар доложил, что с правыми социалистами дела иметь не стоит. Эти господа хоть и заигрывают с рабочим классом, но сами подлизываются к буржуазным заправилам. И молодых социалистов тоже уговаривают плясать под их дудку. Поэтому революционно настроенная молодежь должна воздействовать на Союз молодых социалистов.

Такой мне запомнилась суть его выступления.

Некоторые из наших семинаристов возражали Оскару. А другие были за него. Что ни говори, спорили горячо.

Оскар явно пришел к нам по своей инициативе. Не как посланец организации. Пришел вербовать единомышленников.

Глядел я на него и думал: «Сможет ли он быть вожаком оппозиции?»

Глядел, а решить ничего не мог.

Под конец мы снова спели. Так же тихо.

В школу возвратились все вместе. Теперь маскироваться было ни к чему. По крайней мере, мы так считали. Но вышло совершенно иначе.

На школьном дворе нас встретили учителя.

Нас ругали. Какое там ругали! Нас предупреждали, нам угрожали. Хорошо еще, что этим ограничились. Догадывались о каком-то собрании, но фактов не оказалось. Потому все так гладко и сошло.

После мы узнали, что кто-то все же донес. Заметил, как ученики, участники мартовского инцидента, направляются в сторону леса. Доносчики всегда находились. В каждом коллективе. И наша семинария не явилась исключением.

Вечером я должен был пойти в город. Там случайно увидел Оскара. Он сказал, что заходил к дяде. Теперь спешит на поезд.

Воспользовавшись встречей, я спросил, как настроены молодые социалисты в столице. На чьей стороне большинство, на стороне правых или левых?

Оскар ответил, что есть и те и другие. Сам он на стороне левых. Но тут же добавил, что существует еще и третье направление. Руководители союза. Они придерживаются нейтралитета. Пытаются как бы примирить пра-

вых и левых. Толкуют о революции, но на деле чинят препятствия революционной борьбе.

Все это казалось мне непонятным. В особенности что касалось Оскара. Почему же он вступил в Союз молодых социалистов, если их установка ему не по нраву? Не замедлил спросить его и об этом.

Он ответил, что дал себя обмануть, поверил громким словам. Теперь же видит, что за словами не видно борьбы. Серьезной, решительной борьбы за рабочее государство. Вера в реформы и ожидание международной революции — это бесконечная проволочка. Он за эти годы перечитал массу политической литературы. Много рассуждал и думал. Многое для него прояснилось. Хотя бы то, насколько подлы на страницах журнала «Рюннак» клеветнические статьи молодых социалистов о Советском Союзе. По его мнению, Союз молодых социалистов должен расстаться с партией господ социалистов. Смело развивать свою революционную деятельность.

— Если это не поможет, придется основать новый союз! Чисто революционный союз молодежи! — сказал он под конец, когда мы пожали друг другу руки на вокзале.

О многом мне еще хотелось его расспросить. Расспросить и просто так поболтать. Но Оскар спешил.

Ответ седьмой

СОРАТНИК ПО ИДЕЕ

Должен вам признаться, что какое-то время я был об Оскаре не очень высокого мнения.

Это яркий пример того, как суждение авторитетов влияет на сознание юноши. Один из руководителей молодых социалистов заявил как-то раз, что Оскар, в сущности, человек во всех отношениях незначительный.

Так же иронично и, по сути дела, критически стал смотреть на Оскара и я, хотя сам его близко не знал. Это определяло мое отношение ко всем поступкам и словам Оскара.

Когда он на улице Тынисмяги рьяно выступал на

вечерах по поводу того или иного реферата, я думал — выделиться хочет. Когда его голос среди сонмища других голосов звучал звонко и страстно, я считал — притворяется. Когда на вечеринках он не танцевал, то и тут я находил объяснение, соответствовавшее моему отрицательному отношению, — желает показать, что он уже перерос эти развлечения. Даже его манера выслушивать других и высказывать по этому поводу свое мнение, не отступая от него ни на шаг, казалась мне наигранной самоуверенностью, надменностью с налетом некой таинственности. Теперь я вспоминаю все это с улыбкой, а тогда даже костюм его, видавший виды, вызывал во мне внутренний протест. В его одежде я усматривал позу, желание походить на пролетария.

В вопросах теории я был тогда еще совершенный профан. Знал немного о Марксе, о Советском Союзе и диктатуре пролетариата. В итоге это был ряд ходовых и революционных фраз, которые в дискуссиях мне никак помочь не могли.

А Оскар чувствовал себя здесь как рыба в воде. Это нередко удивляло меня, но благодаря уже сложившемуся ироническому отношению к нему заставляло вместе с тем сомневаться. Ход моих мыслей шел примерно по такой схеме: знает ли он все-таки больше меня, основываются ли его знания на твердом фундаменте, или он болтает просто так, чтобы произвести впечатление.

Во всяком случае, он полностью разделял мнение тех членов нашего союза, которые выступали против руководства, воспитывавшего нас в духе господ социалистов. А господа социалисты были одних взглядов с буржуазией, хотя на словах и выступали за рабочих.

Эти внутренние противоречия длились в союзе уже долгое время. И становились с каждым разом острее. Оскар пытался вместе с тартуской молодежью левого толка направить союз на путь революционной классовой борьбы, но выяснилось, что левых сил оказалось недостаточно, и начинание его провалилось.

В сентябре тысяча девятьсот тридцать первого года стало известно, что Оскар вместе с другими своими единомышленниками организовал новый союз молодых социалистов, которому дали наименование «Карл Маркс».

Мне же этот шаг был непонятен. То ли это очередное желание Оскара выделиться и организация нового союза только пустозвонство? То ли что-то более серьезное?

Я узнал, что члены нового союза собираются где-то в районе Тартуского шоссе в обычной наемной квартире и что Оскар оплачивает помещение из своего кармана. Еще мне стало известно, что собрания на Тартуском шоссе проходят более горячо, чем у нас, на Тынисмяги, и в свободное время там играют в корону. И квартира та стала для молодежи словно домом родным.

Потом до меня дошел слух, что у них в союзе в ходу коммунистическая литература и что Оскар получает ее через коммунистов, живущих в Советском Союзе. Видел я также и воззвание, изданное новым союзом: «К молодым рабочим и молодым безработным».

Хотя новый союз формально входил в состав Союза молодых социалистов, Оскар всей своей деятельностью показал, что его молодежь стоит на совсем другом пути, чем лидеры нашего союза.

Несмотря на то, что все это я знал уже раньше, официальное сообщение, появившееся некоторое время спустя, поразило меня как гром среди ясного неба. В нем было объявлено, что правление Союза молодых социалистов изгнало Оскара из своих рядов.

Первая моя мысль была — почему?

Я вспомнил отдельные диспуты, где Оскар утверждал, что мы занимаемся только словоизлиянием о социализме. Что социалисты боятся революции как черт ладана. И почему нам надо сложа руки ждать всемирного восстания, если переворот можно осуществить в одной Эстонии?

Так неужели из-за этого? Ведь можно было предположить, что в том, новом союзе говорили и рассуждали именно в таком духе. Ходили толки, что новый союз имеет связи с подпольными коммунистами. Кстати, позже выяснилось, что по инициативе Оскара все так и происходило.

Неужели из-за этого тоже? Такая причина представлялась мне сверхдиковинной! Получается, что буржуазное правительство всеми силами ненавидит коммунистов и руководство Союза молодых социалистов стоит на той же платформе!

Особой новостью это, конечно, для меня не было, по-

тому что наши лидеры и многие члены союза отзывались о подпольщиках довольно-таки презрительно. Но то, что Оскара изгнали из союза за революционность, это даже мне показалось крайностью. Тем более что, по утверждению социалистов, они сами ратовали за рабочее государство и за социализм.

Простите, что так подробно излагаю вам свои мысли и сомнения. Но тот период моего политического формирования очень близок моему сердцу.

Сразу после ухода из Союза молодых социалистов Оскар перешел в Таллинский Дом рабочих, что находился на бульваре Ваксали. Там собирались главным образом революционно настроенные рабочие. Надо думать, что шаг этот дался Оскару нелегко. Ведь в Доме рабочих Союз молодых социалистов критиковали часто и резко.

Вообще тот период был тяжелым в жизни Оскара. Сделав выбор, он вступил в Союз молодых социалистов, но вскоре разочаровался в его деятельности. Он пытался пойти по тому пути, который считал правильным, но был изгнан из круга своих соратников. Это могло поколебать молодого человека, пошатнуть его убеждения. Могло... Однако не пошатнуло. Оскар шел твердо по своей дороге. И вот теперь новое поприще борьбы, новые люди вокруг него. Тяжело, конечно, но этот шаг он не мог не совершить. Желание быть полезным народу заставило его обратиться к революции.

Эти мысли, высказанные сейчас мною, зародились значительно позднее. В то время я не принимал всерьез стремления Оскара.

В Доме рабочих он вскоре стал своим человеком. Активно работал в профсоюзах строителей, транспортных рабочих, в культурно-просветительном союзе, состоял членом редакционной коллегии газеты «Вторая борьба рабочих». Он наверняка выделялся своей силой воли и принципиальностью, раз уж профсоюз транспортных рабочих избрал его в тысяча девятьсот тридцать втором году делегатом на майские торжества в Страну Советов.

Узнав об этом, я, откровенно говоря, здорово позавидовал Оскару.

Но, как известно, зависть плохой помощник в оценке фактов и обстоятельств. Не скрою, у меня снова мелькнула мысль: наверно, Оскар разыгрывает из себя в

Доме рабочих умного и активного деятеля, чтобы попасть в эту делегацию.

Ничего не поделаешь. Человек часто бывает беспринципным. В особенности юноша с неустановившимися убеждениями, каковым я и был тогда.

К чести своей, должен все же добавить, что такое низкое подозрение мучило меня недолго. Мое отношение к Оскару изменилось после его исключения из рядов молодых социалистов. Суммируя все это, я составил простую, но остроумную формулу: коммунисты — вожди рабочих, если же лидеры молодых социалистов изгоняют из своих рядов прокоммунистически настроенного юношу, причем большинство членов не протестует, значит, ошибка кроется в самом Союзе молодых социалистов.

По возвращении из Советского Союза Оскар начал делиться на собраниях своими впечатлениями об этой стране.

Насколько я помню, один из его докладов должен был состояться в Копли. Я решил сходить туда и послушать Оскара.

Снова должен извиниться перед вами! Прошло много лет, и точное содержание выступления Оскара уже не восстановишь в памяти и не перескажешь сейчас. К тому же все то, что известно теперь мне о нашей великой Родине, я могу перепутать с тем, что рассказывал тогда Оскар о Стране Советов. И я невольно могу вложить в его уста то, чего он на собрании не говорил. А этого мне ни в коем случае не хотелось бы!

В памяти навсегда запечатлелась манера его выступления, страстность, увлеченность и восторг. Тот, кого я там услышал, был настоящим пропагандистом. И даже звучный баритон его оказался вовсе не нарочитым, каким мерещился мне сперва среди сонмища других голосов.

От некоторых его мыслей у меня просто дух захватывало. Я украдкой поглядывал в зал, ибо тогда на подобных собраниях обязательно присутствовали полицейские и сыщики в приватной одежде.

Речь Оскара была настолько смелой, что мне казалось: вот-вот сейчас бдительное око закона вступит в свои права, прервет собрание и арестует оратора.

Но ничего подобного не случилось. Это меня удивило, и, к стыду своему, должен признаться, что в течение про-

должительного времени я даже не слушал выступление Оскара. Пытался проанализировать такую сверхсмелость. Простите за резкость, но хотелось понять, чего же не хватало шпикам для решительного шага?

Лишь со временем я раскусил тонкую и, сказал бы, филигранную технику речи Оскара. Он как бы балансировал на канате, не сделав ни одного неверного шага. Удивительно ощущал он эту грань: столько сказать и столько недоговорить. Причем выражено это было в такой форме, что все недосказанное ясно представлялось мысленному взору сидящих в зале. Каждый способен был догадаться сам.

Вынужден еще раз извиниться, что это впечатление от его слов и настроение, царящее в зале, я не в состоянии подкрепить фактами. Полагаю, что в докладе были и такие моменты. Оскар мог говорить о том, что в Советском Союзе строят новые заводы. Что там нет безработных, тогда как во многих небольших капиталистических странах кризис заставляет закрывать фабрики и очереди безработных за дверьми трудовой биржи постоянно растут.

Слушатель, конечно, сопоставлял это с жизнью в Эстонии, а шпик не имел оснований для вмешательства, ведь утверждение это было общее и не призывало эстонских рабочих добиваться у себя порядков Советской страны.

После окончания собрания я медлил с уходом домой до тех пор, пока не увидел Оскара, выходящего из двери. Мною руководила какая-то необъяснимая сила. Я подошел к нему и спросил, не могу ли составить ему компанию. Он поглядел на меня долгим испытующим взглядом и согласился.

Не обмениваясь ни единым словом, мы прошли рядом большую часть пути. Я обязан был бы начать разговор, но не мог. То же необъяснимое чувство, заставившее дождаться его, мешало мне теперь подобрать нужные слова.

Если попытаться все же проанализировать это чувство, то можно сказать, что в нем смешались следы моего прежнего отношения к Оскару и появившиеся ростки нового.

Хотелось выяснить, кто же все-таки Оскар? Такой ли он, каким его охарактеризовал когда-то наш руководитель, или человек серьезный и решительный?

Что и говорить, то была нелепая надежда юнца, будто наш непродолжительный совместный путь разрешит эту проблему.

Мы шли, и вдруг он спросил, читал ли я отчет лидеров Союза молодых социалистов?

В словах этих прозвучала изрядная доля горечи.

Я покачал головой.

Оскар, горько усмехнувшись, сказал, что это стоит прочесть, тогда многое станет для меня яснее.

Казалось, что он каким-то непонятным образом читал мои мысли и понимал одолевавшие меня сомнения.

Честно говоря, главным для меня было не то, кто он, а кто такой я и кто мои соратники, молодые социалисты. Оскар как бы являлся для меня своеобразной лакмусовой бумажкой, способной указать мне, где истина.

Устыдясь того, что не читал этого отчета, я все-таки спросил его, о чем там говорится.

Последовало длинное объяснение Оскара. Вот его смысл. В отчете ясно написано, что Союз молодых социалистов в течение нескольких лет своей деятельности боролся против влияния коммунистов и буржуев! Отсюда следует сделать вывод, что коммунисты и буржуи брошены у них в один котел. И в первую очередь они борются против коммунистов, а лишь затем против буржуев! Против обоих, а тогда за кого? Ведь третьего пути не существует! Социалисты виляют туда-сюда, сами не знают, чего хотят.

Высказав все это, Оскар замолчал. Казалось, он дает мне время, чтобы я мог поразмыслить и уразуметь все то, о чем он говорил.

В действительности то, что он сказал, не было для меня особой новостью. Упомянутая позиция была мне известна, ее и раньше то тут, то там объявляли. Но, конечно, без добавочных комментариев Оскара.

А мое собственное мнение еще не укрепилось. Революция казалась мне утопией и ужасом. Но такой же устрашающей была бедность рабочих и нищета безработных.

Я вспомнил, что недавно даже газета «Пяэвалехт» признала, что в Копли нашли в полном смысле этого слова голодающую семью. Дед, муж, жена и шестеро детей, старшему из них пятнадцать лет. Ни одному из членов этой семьи уже длительное время не удавалось

найти работу. Буржуазная газета, естественно, не преминула заметить, что обычно страдают от безработицы люди неспособные или больные. Однако не так уж давно та же «Пяэвалехт» вынуждена была признать, что в Таллине зарегистрировано более двух тысяч безработных и что в каждый последующий день регистрируют в среднем сорок человек, желающих получить работу.

Я подумал с иронией, странно все-таки, почему именно в последние годы количество таких неспособных беспрестанно растет. И каким же образом эти люди могут энергично приняться за дело, коль скоро заводы беспрерывно закрывают. Почему в Советском Союзе нет этих неспособных? Почему там немощные старики не умирают с голоду?

Я спросил у Оскара, какую он предлагает программу.

— Революцию. Диктатуру рабочих! — ответил он так прямо и решительно, что я невольно застеснялся своей собственной неуверенности.

И, несмотря на это, я выставил ему в противовес один из своих немногих доводов. А именно: рабочий народ не в состоянии победить оттого, что сила, власть и оружие в руках буржуазии. И добавил, что поэтому программа пусть одного либо десятка людей обречена на провал.

На лице Оскара появилась все та же, вечно раздражавшая меня, самоуверенная улыбка. Но на этот раз я даже не обратил на нее внимания, для меня важнее были его слова:

— А ты разве знаешь, сколько нас?

Это относилось к тем, кто боролся за упомянутую им программу.

Пришлось признаться, что этого я действительно не знаю.

Под влиянием какой-то мысли Оскар весело рассмеялся, ткнул меня пальцем в грудь и добавил:

— Если бы и ты так же думал, то одним стало бы больше!

Намек был слишком конкретный для того, чтобы я смог на ходу ответить что-либо дельное.

Простите меня за такое выражение, оно сюда как будто и не подходит, но приглашение это показалось мне чрезвычайно увлекательным.

В словах «чрезвычайно увлекательным» есть, правда, что-то приключенческое, но в действительности это бы-

ло не так. Для меня они имели совершенно иное значение, ибо по своему духу я нисколько не был искателем приключений. Скорее искателем истины, искателем абстрактной истины.

Мы шли через город и продолжали разговор о тех же проблемах.

Я все время боялся, что он свой, ранее высказанный намек повторит уже в форме конкретного вопроса, однако, к моей великой радости, он этого не сделал. Либо он не верил мне, либо не хотел быть назойливым. Во всяком случае, это было очень тактично с его стороны, оттого что вторичное предложение наверняка вызвало бы во мне протест.

Я был благодарен ему за его деликатность.

Когда мы подошли к Карловской церкви, он неожиданно пригласил меня к себе. Я с радостью согласился, хотя такое внимание и удивило меня. Было известно, что Оскар никого к себе в дом не приглашает. К другим ходил, но на свое житье-бытье никому взглянуть не давал. Почему же вдруг я? Ведь мы даже старыми знакомыми не были, не говоря уж о дружбе.

На меня нашло откровение, и я высказал ему свое удивление.

— Хочу тебе что-то показать! — ответил он.

Я, в свою очередь, поинтересовался, почему именно мне.

Он не колеблясь заявил, что я стоящий парень, обо всем размышляю, взвешиваю, не мечусь хвост трубой то туда, то сюда, то влево, то вправо. Искатель вроде меня человек незаурядный, многообещающий.

По правде говоря, это откровение порядком обидело меня. Такой же, как я, девятнадцатилетний юнец принялся рассуждать о моей натуре! Словно он вроде старше и опытнее меня.

Я даже подумал, пошлю-ка его к черту и поверну в другую сторону. Видно, он попросту демонстрирует свое превосходство и умение проникать в нутро человека. Он, видите ли, раскусил меня. Выискался тоже мыслитель!

У меня хватило все-таки смелости, и я высказал ему это. И добавил, неужели он и впрямь полагает, что может разложить людей по полочкам, да еще к тому же малознакомых. Не переоценивает ли он себя?

Должен признаться, что тон мой был резким и грубым.

В ответ он опять засмеялся. Вот так да! Похвали человека, а он в благодарность только фыркает и злится.

Больше всего я боялся, что Оскар обратит мое замечание в шутку, отнесется ко мне как к мальчишке, с которым незачем толковать о серьезных вещах.

К счастью, он продолжил свою беседу со мной вполне серьезно и, даже можно сказать, доверительно.

Он говорил, что в человеке больше добра, чем зла. Конечно, имея в виду людей из нашей среды. И, конечно, воспринимая добро с точки зрения борьбы за рабочий класс. Он сказал, что приметил меня как человека рассудительного, который не изливает по каждому поводу своих бездумных восторгов. И он инстинктивно чувствует, что со мной можно быть откровенным, хотя я и не разделяю его позиций. Во всяком случае, он уверен, что провокатора и доносчика из меня не получится.

Я возразил, что столь скороспелые выводы могут стать для него роковыми.

Он по-прежнему оставался серьезным и, казалось, обдумывая мою мысль, ответил наконец, что до сих пор ему ошибаться не случалось.

Простите, но о его жилище мне бы не хотелось рассказывать. Да к тому же оно характеризует не Оскара, а лишь его подлинных владельцев.

Оскар посадил меня за стол. Сам же, к моему удивлению, встал на табурет и начал над шкафом разбирать доски. Вскоре у него в руке очутился тонкий пакетик, завернутый в газетную бумагу. Я полагал, что увижу сейчас запретную литературу, листовки или что-нибудь в этом роде. Мне, конечно, было известно о них, но я никогда еще их не видел и не держал в руках. Да и кому вздумалось бы показывать такое ничем не примечательному, рядовому члену союза!

Оскар отодвинул посуду и остатки еды на столе и положил пакетик передо мной.

— Раскрой! — кратко предложил он. И я почувствовал в его интонации едва уловимую торжественность.

Из бумаги показался кусок алой окантованной шелковой материи. Советский флаг — мелькнула первая мысль.

Но это был не флаг. На развернутой ткани я увидел

портрет Ленина. Он был вышит по шелку золотистыми нитками.

Нетрудно было догадаться, что Оскар привез его из Советского Союза.

— Оттуда? — спросил я, чтобы окончательно убедиться в этом.

— Оттуда, — подтвердил Оскар.

— А зачем? — почему-то поинтересовался я.

— Захотел! — просто ответил Оскар.

Должен сказать, что именно этот факт доказал мне скрытую преданность Оскара избранной им миссии. Ни я, ни, видимо, многие другие не сумели до сих пор и в такой степени распознать и увидеть в нем это.

И вовсе не риск, связанный с перевозкой такого «сувенира» через границу, вызвал во мне это ощущение. Рисковать способен каждый. А вот лаконичное «захотел» приобрело в моих глазах особый вес. Оно убедило меня, что все имеющее отношение к революции и Ленину дорого и близко Оскару.

В сущности, ведь портрет этот был всего лишь сувениром Оскара. В приобретении его не было никакой бравады. Одно только влечение сердца и преданность заставили его перевезти через границу такой памятный для него подарок.

Я вполне понимал Оскара.

Потом он стал рассказывать мне о Советском Союзе, о том, что он там видел и слышал. Его рассказ во многом совпадал с его докладом на собрании. Но я не захотел прерывать его и продолжал слушать с таким великим увлечением он рассказывал мне об этом. Я понял, что поездка в страну трудящихся имела для него огромное значение. Впечатления так и бурлили в нем. Он был готов без конца делиться ими.

Эта поездка вызвала в нем новый подъем и воодушевление.

Вдруг мне припомнились те слова, что так плохо характеризовали его. Сейчас я чувствовал к Оскару такую близость и дружелюбие, что мне уже не казалось неуместным высказать ему это все в глаза.

— Знаю! — произнес он, горько усмехнувшись. — Росту себе, конечно, не прибавишь, а остальное можно за годы преодолеть! Это верно, что настоящей эрудиции мне еще не хватает. И в политике кругозор узковат. Тут мой критик прав. Но все эти недостатки можно испра-

вить. Что я и делаю изо дня в день по мере своих сил. И маленьким, в переносном смысле, останется только тот, кто большим стать не захочет.

— А ты хочешь? — выпалил я, должно быть, для того, чтобы он смог вновь подтвердить свое решение.

— Хочу, — ответил он твердо.

И добавил:

— Только пойми меня правильно! Мелкий или крупный — в моем понимании — означает умный или глупый в борьбе за интересы рабочего класса.

В комнату вошла мать Оскара и, пробормотав приветствие, скрылась в углу за ширмой. Вскоре оттуда послышались оханье и скрип кровати.

Я поднялся и ушел. Мне предстояла довольно длинная дорога, ведь жил я на другом конце города. Но это было мне на руку. Так я мог без помех поразмыслить и переварить в себе новый образ Оскара.

Простите, надеюсь, мои слова не покажутся вам хвастовством, я и не помышляю об этом. Хочу только подчеркнуть, что, придя домой, я гордился своим выводом, сделанным во время пути по вечерним улицам.

А именно. Не говорило ли презрительное мнение, распространенное лидером Союза молодых социалистов, о том, что он боялся увидеть в Оскаре одного из наследников своего престола? Боялся как человека, революционная направленность которого увлечет за собой молодежь. И она уйдет из-под влияния социалистов.

Предвидя это, он своим наговором заранее старался посеять недоверие к Оскару.

Хотя такой мерзкий прием казался мне порой невероятным, я, сопоставляя все факты, не смог не поверить этому.

Ранее я упомянул, что всякие иные течения и мировоззрения не помешали Оскару избрать свой собственный путь. Чтобы лишний раз подтвердить это, было бы уместно в чисто протокольном стиле напомнить, что он еще предпринял в ту самую осень тысяча девятьсот тридцать второго года.

В сентябре по его инициативе основали новую молодежную организацию, которая получила название Союза молодых рабочих Эстонии. При ней действовали кружок русского языка, антирелигиозный и антивоенный. Там устраивались прения и издавалась стенгазета. Целью всех этих мероприятий было воспитание молодежи в духе

сознательных борцов, способных свергнуть буржуазный строй.

Конечно, полиция сразу же заинтересовалась этим новым союзом. За членами его началась слежка. Вскоре последовали обыски, допросы. Одним из первых, удостоившихся «внимания» полиции, оказался Оскар. Немаловажную роль сыграло здесь и то, что Оскар оставался попрежнему активным деятелем профсоюзов, выступал на собраниях безработных, рассказывал правду о Советской стране. Такой активный и принципиальный деятель рабочего движения, естественно, был для политической полиции бельмом на глазу.

Ответ восьмой

ПОДРУГА

Человек я уже немолодой, но то, как меня, девчонку, в политическую полицию вызвали, до сих пор не забылось и не забудется, верно, до самой смерти.

Громадное здание, у подъезда полицейские, бесконечные пустые коридоры, каждый встречный таращит на тебя глаза, словно на разбойника или убийцу какого...

О господи, даже вспоминать неохота...

Кабинет, куда меня, открыв дверь, наконец ввели, оказался полутемным и мрачным...

У меня даже ноги подкосились, и я чуть было не рухнула возле самой двери. Хорошо еще, что стул вовремя пододвинули. Опустилась на него, как тряпичный мешок, и стала судорожно натягивать пальто на колени, чтобы следователь не увидел, как они дрожат.

О господи... Что они обо мне могли подумать! Вначале я не в силах была даже слово из себя выдавить. Тут и свое-то имя вылетит из головы. К тому же и настольную лампу повернули так, что свет от нее бил мне прямо в глаза и я видела только край стола, свои руки да полы пальто.

Голос того мужчины, который допрашивал меня, звучал откуда-то из темноты, будто голос духа какого или призрака.

Вид у меня, верно, был очень испуганный, если следо-

ватель этот догадался повернуть лампу в другую сторону и заговорить со мной уже более любезным тоном.

Он сказал, что мне не сделают ничего дурного, что они лишь спросят кое-что об одном человеке и, когда я все как следует честно расскажу, они меня тотчас же отпустят домой.

О господи... Коли вы считаете, что слова эти прибавили мне хоть капельку смелости, то я вам прямо доложу, что вы никогда не сидели перед следователем полиции.

Уже одно название — политическая полиция — вызывало такие представления, что у меня, девчонки, просто дух захватило.

Чего только не рассказывали об этих камерах пыток в политической полиции! О господи!.. Как там избивают, выворачивают суставы и... Не стоит и говорить о всех этих ужасах, которые дошли даже до моего слуха.

Наконец этот человек, следователь то есть, показался из-за лампы и протянул мне стакан с водой.

Лишь теперь впервые я столкнулась с ним лицом к лицу. Оказался он высоченным, откормленным, здоровенным верзилой, такому впору канавы копать на болоте Сиртсу. Своей медвежьей силой он все твои суставчики в узлы завяжет и даже не охнет.

Но надо отметить, что лицо у этого борова было совсем детское, круглое. Встретишь его на улице и не подумаешь, что этот розовощекий и круглолицый господин может заниматься такой мерзкой работой.

Не знаю почему, но постепенно я совершенно успокоилась, дрожь в ногах прошла, и теперь они стояли спокойно, не распахивая уже больше полы пальто. Человек свыкается со всякими обстоятельствами, к тому же зла мне пока еще здесь не причинили.

Когда я подробно сообщила свое имя и адрес, занятие родителей и прочие данные, следователь поднес к моим глазам фотографию. Пусть, мол, я внимательно погляжу и отвечу: знаю ли этого молодого человека.

О господи... Знаю ли! Это же был Оскар! С детства мы были близко знакомы, вначале просто так дружили, а потом появилась и симпатия. О чем только мы не говорили, о чем только не мечтали! Оскар обещал даже в наше свадебное путешествие повезти меня в Испанию. Там, дескать, я увижу роскошные дворцы, высокие горы и бой быков.

В голове мелькнула мысль: эх ты, несчастный мордан, сидишь за столом и не знаешь, что у меня в сумочке лежат два стихотворения Оскара. Там везде вместо мягкого «у» проставлена буква игрек... Такое правописание в те времена считалось вроде бы модным среди молодежи.

— Выходит, знаете, — произнес следователь из-за лампы, и голос его зазвучал малость приветливее или, можно сказать, веселее. Видно, обрадовался, мерзавец, что я не заупрямилась, дело, мол, пойдет теперь на лад и ответа выпытывать у меня не придется.

Я всю жизнь была девушкой откровенной, что знаю, то и говорю, что сердце подскажет, то и делаю.

Поэтому я, не дожидаясь вопроса, и ответила сразу, что мы иногда встречаемся с Оскаром, гуляем повсюду, ходим в кино и ведем разговоры, случается, что и проспорим целый вечер.

Эту последнюю фразу, наверно, не стоило говорить, потому как верзила сразу ее приметил.

— Ах, спорите с ним, — живо ухватился он за слово. — О чем же вы так горячо спорите? Расскажите все как следует, по порядку, нам об этом Оскаре каждое сведение крайне важно.

Я задумалась, о чем же мы с ним спорили, но вот беда, ничего так сразу в голову не приходило. То ли от безумного страха, только что испытанного мною, или разговоры наши с Оскаром были пустяковыми, кто его знает.

Один только спор и вспомнился мне. Это когда мы оба прочли «Анну Каренину». Оскар сказал, раз уж обзавелась семейством, то на других засматриваться нечего. Я же тогда возразила, что настоящая, большая любовь в тысячу раз важнее, что во имя ее все можно бросить и никто не ведает, когда она придет, но уж коли пришла, то надо идти только за ней и все позабыть на свете. А Оскар продолжал настаивать на своем: если ты заимела детей, значит, ответственна перед ними, и лишать их матери или отца — нельзя.

Так я следователю все и выложила, но сразу заметила, что этот спор его вовсе не интересовал и что он ожидал чего-то иного.

Хоть был он следователем, но все же простофилей, это я поняла по заданному им вопросу. Он-то, конечно, полагал, что такая девчонка ничего не смыслит, потому сразу и выпалил: не говорил ли Оскар иногда о политике?

Ох, теперь-то я мигом смекнула, что все это представление означало. Я уже и дома сообразила, когда увидела повестку, потому мои колени так и тряслись; но ведь догадка одно, а ясные слова — совсем другое. Да еще если все это выкладывают тебе в политической полиции.

Ну, господин хороший, мелькнуло у меня в голове, я ведь тоже не растяпа! Все-таки семнадцать годков прожила на свете. Раз ты сейчас допытываешься о политике, значит, дело это для нас с Оскаром запретное.

Я и сказала этому верзиле, что о политике мы ни разу не говорили, мол, у нас с Оскаром есть и другие разговоры, к чему нам такую скучищу разводить.

Выложила это, а у самой сердце заликовало, что ответ у меня получился простой, без сучка и задоринки.

Так этот розовый мордан и не узнал от меня, что Оскар частенько трунил над государственной властью и еще на прошлой неделе приглашал меня в Дом рабочих, а когда я возразила ему, зачем, мол, туда ходить, он схватил меня за полу пальто и спросил: неужели это старое, дешевое пальто не заставляет меня задуматься?

— Носишь ты его уже много лет, оно и выцвело, и уже протерлось, да ты уже и выросла из него, а вот новое купить не можешь. Ты не можешь, а другие до того разодеты, что глаз не оторвешь. Разве ты никогда не задумывалась, почему на свете творится такое: одни богачи, а другие бедняки? Разве не было бы справедливее, если бы все были равны, у всех была бы работа, а жалованье выдавалось бы по труду?

Я ответила ему, что во все времена существовали богатые и бедные и так это и останется до самого скончания света и совсем не надо ему разыгрывать нового мессию, задумавшего перевернуть весь мир.

Он улыбнулся одним уголком рта и сказал, что в России вот уже пятнадцать лет как не существует бедных и богатых. И добавил, что его пример с моим пальто был не бог весть какой умный касательно социализма. Вот между людьми должно царить равенство и братство — это самое ценное достояние. Короче говоря, самый лучший строй тот, где человек человека не эксплуатирует, не унижает.

О господи... Могла ли я хоть словом обмолвиться об этих наших спорах! Нет, уж такой-то глупой я не была!

Сразу поняла, что ответ мой пришелся ему не по нутру, и несказанно обрадовалась, что хоть немного расстроила

его планы. Так тебе и надо, подумала я, зачем пугал меня и шпионил за Оскаром!

Не знаю, откуда смелости набралась, но я вдруг спросила следователя, что же все-таки с Оскаром стряслось?

Тогда он, следователь этот, уставился на меня как баран на новые ворота. Не знаю уж, какие мысли зародились в его круглой башке, посчитал ли он меня окончательной дурой или хитрюгой, пытающейся обмануть его и выведать что-нибудь.

Ему ведь, простофиле, и в голову не пришло, что я и не то и не другое, а самая обычная девчонка, которая очень волнуется о своем друге.

Оскар был тогда так мил моему сердцу, что любой, помышлявший его обидеть, сразу же становился и моим врагом, и только это чисто человеческое волнение побудило меня задать такой вопрос.

А ответа все не было и не было; сердце мое переполнилось страхом: не иначе как Оскара посадили в тюрьму. Сидит он в какой-нибудь темной камере и солнца не видит, и пенья птиц не слышит.

О господи... Ну ни чуточки вам не совру, если скажу, что колени мои снова заходили ходуном и в горле так пересохло, что я даже слова выдавить из себя не могла.

Страх мой, однако, не остался незамеченным. Девчонка ведь, мне ли было под силу скрывать свое волнение и душевные переживания. Он читал по моему лицу как по книге.

Помню, как эта круглая розовая физиономия все надвигалась на меня. И еще помню, как на ней появилась странная улыбка, не приветливая, а фальшивая... Ведь сразу видно, когда человек улыбается от всего сердца, а когда пытается состроить любезную мину.

Этот круглоголовый заглянул мне в глаза и спросил слащаво-елейным голосом, хочу ли я и впредь встречаться с Оскаром.

Голос его вызвал во мне такое гадливое ощущение, что я с радостью вскочила бы и убежала. Но побоялась сделать это и ответила, что хочу.

Он снова изобразил на своем лице улыбку и сказал, что ничего не имеет против наших встреч. И даже советует мне встречаться с ним, ведь дружба молодых людей — дело прекрасное и достойное.

Внезапно меня осенило: экий советчик выискался, мы

ведь тебя с Оскаром ни сватом, ни братом не называли.

Но злоба моя сразу же пропала.

Слова его означали, что Оскар на свободе!

Я облегченно вздохнула, человек этот уже не казался теперь мне таким отвратительным и страшным.

Дурочка, я и не подозревала, что меня ждет!

Внезапно лицо следователя омрачилось, выражение стало свирепым. Он вытянул вперед свою руку и, словно револьвером, нацелился мне пальцем прямо в грудь.

То, что сказал он, до сих пор запечатлелось в моей памяти, слово в слово, как стихи.

— Встречайтесь с Оскаром! Узнайте, чем он занимается! Куда ходит. Кто его друзья и знакомые. Потом явитесь к нам и расскажите все!

Ужас-то какой!

В ту минуту, в этой самой комнате, я впервые осознала, что такое лютая ненависть. Да разве словами объяснишь? Я готова была этому типу плюнуть в лицо, швырнуть его на землю и затоптать ногами...

О господи!

Как может человек требовать от другого такого гнусного вероломства! Такой низости я не допускала даже против самого злейшего врага.

А этот тип принуждает меня предать Оскара, того Оскара, которого я больше всех лелеяла в своем сердце.

Ах, значит, мне надо прогуливаться с Оскаром в Кадриорге... у моря... среди деревьев... идти с ним под руку и так вести нашу беседу, чтобы он выложил мне все свои секреты! А потом прибежать в огромный мрачный дом, прямо сюда, к столу...

— Нет, этого я не сделаю! — произнесла я так явственно и громко, что мой собственный голос доселе звучит у меня в ушах.

Просто удивительно, как этот толсторожий следователь не стал меня уговаривать, угрожать и пугать. Должно быть, сумел как-то разобраться в чувствах человека и понял, что своему решительному ответу эта робкая девочка не изменит. Видно, раскусил, что существует еще что-то сильнее любого страха, в тысячу раз сильнее.

Следователь выпрямился во весь рост и поглядел на меня сверху вниз, как на букашку. Глядел, глядел и наконец сказал, что мне нельзя больше встречаться с Оскаром ни теперь, ни позже. Это и приказ и предупреждение,

и если я не выполню его, то здесь, в этой комнате, со мной поговорят уже иначе.

О, господи... Слова его как обухом ударили меня по голове.

Даже шевельнуться была не в состоянии, пока этот верзила не пнул меня в бок и не указал головой на дверь.

Я словно во сне вышла из комнаты, прошла по коридорам и очнулась только на улице. И вдруг меня охватило такое ужасное чувство одиночества и пустоты, что я готова была завыть волком.

Бродила, шатаясь, с улицы на улицу, не отдавая себе отчета.

Наконец сознание вернулось ко мне, и я увидела, что очутилась возле Нарвского шоссе. Не понимаю, какая сила меня привела туда.

Вдруг я подумала, что нужно обязательно предупредить Оскара, обо всем сообщить ему. Еще окончательно не понимала, о чем я должна его предупредить, но чувствовала, что ему что-то угрожает и мое предупреждение может спасти его.

Где его искать, я ни малейшего понятия не имела, потому как мы договорились, что в дни свиданий он сам будет приходить встречать меня к школе. До дня нашей встречи было еще далеко, адреса его я не знала, да и не осмелилась бы никогда появиться так неожиданно перед его отцом и матерью. И думать об этом нечего!

Стояла я, горемычная, на углу Нарвского шоссе и чувствовала, как подступает к горлу комок и глаза наполняются слезами.

Ну-ка попробуй заплачь!

Говорят, коль беда велика, то и помощь близка. Должно быть, это действительно так.

Вдруг мне вспомнился парень, с которым Оскар был, по-моему, в приятельских отношениях. Мы у него не раз пили чай и вели разные разговоры.

Собралась с духом и помчалась в Пельгулинн, застала этого паренька, сообщила ему, куда я была вызвана, и стала Христом-богом молить, чтобы он тотчас же разыскал Оскара.

На другой день Оскар уже ждал меня у школы.

О, господи... Я прямо-таки рванулась к нему и готова была тут же, на школьном дворе, при всех кинуться ему на шею.

И удивляться тут нечему, ведь я уже мысленно представляла себе своего милого избитым и замученным либо томящимся в тюремной камере и даже мертвым.

Какая радость была снова видеть его у школьных ворот с такой знакомой мне, едва уловимой улыбкой. Волнение и страх тотчас же бесследно исчезли.

От Оскара узнала, что политическая полиция оказала ему «честь» и учинила обыск на его квартире. С той поры их дом взят под наблюдение, мимо окон постоянно прохаживается какой-то тип, торчит у киоска и заговаривает с людьми.

Выслушав мою историю, Оскар сказал, что это избитый прием политической полиции. Несколько дней тому назад его самого хотели заманить на такой же путь. Следователь заявил, что те выступления, в которых Оскар рассказывал о Советском Союзе, и бумаги, найденные у него при обыске, могут стоить ему двух-трех лет тюрьмы. Но они не хотят покалечить жизнь молодому человеку и на все прошлое закроют глаза, если Оскар согласится сотрудничать с полицией.

Эти уговоры длились несколько часов и кончились тем, что следователь прошипел, как гадюка, потревоженная на кочке: «В следующий раз я с тобой шутить не стану!»

Оскар добавил, что весь допрос он записал по памяти и надеется, что его напечатают в рабочей газете. Таким путем он собирался разоблачить козни политической полиции.

И мне он посоветовал сделать так же. Пусть я напишу все, что от меня требовал тот верзила, и отдам ему, Оскару. А он отнесет это письмо куда следует.

О господи... Мне-то, девчонке, вести войну с политической полицией! Нет уж! На это у меня смелости не хватит! Арестуют еще или выгонят из школы. Я все так и выложила Оскару и с трепетом в сердце спросила, неужели его теперь упекут за решетку?

Оскар махнул рукой, но все же сказал, что из Таллина, наверно, придется уехать, оттого что в столице введено чрезвычайное положение и таким людям, как он, здесь проживать не позволят.

О, господи... Снова мое сердце охватила черная тоска, да такая, что у меня опять глаза налились слезами и горло перехватило. Очень боялась за Оскара, и в особенности за нашу дружбу. С ней-то буржуазная республикан-

ская власть и собиралась покончить! Так сказал бы Оскар.

Все так и случилось.

Несколько раз мы еще успели встретиться, зайти в кино и в Кадриорг, потом Оскар получил предписание, что ему велено покинуть Таллин. Он выбрал Тарту, там, мол, рабочее движение развивается неплохо и можно принести какую-то пользу.

Я слезно умоляла его, чтобы он берег себя и не навлекал новой беды на свою голову. И так уже политическая полиция не спускает с него глаз. Да разве он слушался таких советов! Уж он-то был предан всем сердцем своему делу, все остальное для него гроша ломаного не стоило.

В ответ на мою жалостливую речь он вынул из внутреннего кармана какую-то бумажку, в несколько раз сложенную. Бережно разгладил ее и стал читать вслух. Это было стихотворение о Ленине.

Потом сунул бумажку мне в руку и сказал, чтобы я сохранила ее как воспоминание. Один товарищ сочинил эти стихи в тюрьме и переслал ему. Они оказались среди бумаг, изъятых у Оскара при обыске, но он снова записал их по памяти, возможно, когда-нибудь и понадобятся. Вот и понадобились!

Я не смогла сразу оценить этот подарок, но все-таки сохранила его. Сейчас я прочту вам эти стихи.

К ГОДОВЩИНЕ СМЕРТИ ЛЕНИНА — 1932 г.

Рабочий и бедняк, жизнь для кого постыла,
Идут к тебе толпою, Ленин!
Бесценен ты для нас, в тебе сокрыта наша сила,
И на устах моих одно лишь слово — Ленин!

Лежит здесь кто — отчаянья не ведал,
Сплотить мечтая нас, с врагом бороться призывая.
В минуты испытаний дела он не предал
И в страхе пред врагом заискивать не стал.

И правда дел твоих для нас всего дороже,
Хоть блеск в очах потух уже давно.
И нем навек, ты слова вымолвить не можешь,
Но людям жжет сердца по-прежнему оно.

Ох, да! Проводила его на поезд и несколько дней проплакала, даже в школу не пошла. Но, как в жизни бывает, что с глаз долой, то и из сердца вон. Вначале мы переписывались, и довольно часто, потом все реже,

пока наконец и совсем перестали ждать друг от друга писем.

Видно, не настоящая это была любовь, так просто, взаимная симпатия молодых, не выдержавшая испытания временем. О господи... Но все же красивой была наша дружба! Что и говорить!

Ответ девятый

ИСТОРИК

Итак, рабочее движение в Тарту. Конец тысяча девятьсот тридцать второго года и начало тридцать третьего...

Прежде всего я хотел бы рассказать о Тартуском рабочем обществе эсперанто и культуры. Оно стало центром рабочего движения университетского города. Стало именно потому, что в Тарту поселились бывший политзаключенный Арнольд Крийземан и высланный из столицы Оскар. В тысяча девятьсот тридцать втором году они вступили в это общество. И благодаря им за короткое время обстановка там совершенно изменилась. В правление они не входили, но смогли направить деятельность общества по верному революционному пути. Через Арнольда и Оскара у общества возникли связи и с подпольной Коммунистической партией Эстонии, от которой они получали листовки, газету «Классивыйлус» («Классовая борьба»), брошюры и инструкции к действию.

Главной заботой общества до сих пор было повышение классовой сознательности его членов. Проводились собрания с рефератами и диспутами, издавались стенгазеты. На курсы эсперанто принимались, конечно, все желающие. Теперь же Оскар потребовал, чтобы общество взялось за революционное воспитание рабочих масс. Каждую неделю стали проводить открытые народные собрания. Самые толковые и энергичные из членов выступали там с докладами. Оскар, например, рассказывал об антисоветской пропаганде, которой занимается буржуазия, говорил о разоружении, о военной угрозе, о финансовом кризисе.

Правление общества задалось целью поднять классовую сознательность и среди безработных. Пригласительные

билеты на собрания распространялись на рабочей бирже и в пунктах выдачи хлебного пайка. Обычно зал, вмещавший человек двести, был полон до отказа.

Собрания членов общества тоже проводились каждую неделю. Там главным образом изучали произведения Ленина.

Члены общества культуры были вместе с тем и активистами левых профсоюзов. Оскар, например, был активистом профсоюза химиков и рабочих бумажной промышленности. Союз этот в ознаменование пятнадцатой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции провел открытое собрание. На нем Оскар говорил о задачах классовой борьбы пролетариата. А на другом собрании — о задачах профсоюзов. Призывал рабочих к защите своих интересов путем упорных забастовок.

Вот вкратце об этом обществе.

И еще расскажу о большой и тяжкой заботе рабочего люда в тот период...

В те годы капиталистические страны охватил острый экономический кризис. Его, естественно, переживала и буржуазная Эстония. Промышленное производство сократилось примерно на одну треть. Начался рост безработицы. В январе тысяча девятьсот тридцать второго года было зарегистрировано двенадцать тысяч семьсот шестьдесят пять безработных, а годом позже их оказалось уже двадцать шесть тысяч восемьсот пятьдесят один! Действительное их число наверняка превышало и эту цифру. Часть людей, не имеющих работу, не регистрировалась на бирже, не надеясь получить от нее помощи. Кроме того, отсутствовали данные о количестве безработных в сельских местностях. Хотя известно, что безработных среди деревенского пролетариата было зачастую больше, чем среди городского.

Сейчас нам трудно представить себе, что человек не может найти работу и не знает, где ему раздобыть денег на прожитие. А тогда этот вопрос ежедневно тревожил тысячи и тысячи семей.

Тарту стал центром движения также и безработных. И в этом была большая заслуга Оскара и Арнольда. Тартуские безработные почти каждые две недели устраивали многочисленные собрания, где неизменно царил боевой дух протеста против буржуазного строя. Оскар читал безработным доклады на такие, например, темы: «Положение безработных и их задачи», «Значение второй пяти-

летки в Советском Союзе», «Политический аспект в Эстонской республике и Советский Союз». Знакомство с достижениями социалистической страны помогло рабочим понять, что лишь свержение капиталистического строя может существенно улучшить их положение.

Деятельность Оскара проявлялась не только в его выступлениях. На него была возложена также сложная организационная работа. Ведь он был членом Тартуского комитета безработных и Всеэстонского комитета безработных.

Над руководящими товарищами всегда висела угроза ареста. Буржуазное правительство старалось сорвать все мероприятия союза безработных. Возьмем, к примеру, январь тысяча девятьсот тридцать третьего года, когда в Тарту проходил третий Всеэстонский конгресс безработных. До начала его арестовали Оскара как одного из организаторов конгресса. А незадолго до этого Оскар получил пять суток ареста за то, что на одном из собраний правых социалистов прервал оратора репликой с места. Оратор тот клеветал на Советский Союз, и Оскар не выдержал. Вот и теперь, накануне конгресса, полиция нашла подходящее время, чтобы продержать Оскара пять суток в заключении.

Ярким примером того, какие препоны чинила полиция руководителям союза безработных в их деятельности и как предъявляла им ложные обвинения, может служить такой факт.

До начала одного из собраний безработных полиция явилась в зал, чтобы арестовать Арнольда. Мотивировкой послужило то обстоятельство, что Арнольд за два дня до этого переехал на другую квартиру, но не прописался сразу по новому адресу. Таким образом, он оказался, по словам полиции, личностью без определенного местожительства и его, как бездомного бродягу, надо было арестовать.

Поскольку Арнольд и Оскар жили и питались вместе, то и деньги у них были общие. В тот раз они лежали в кармане у Арнольда. Арнольд, не зная, сколько времени он просидит в тюрьме, тут же вынул кошелек из кармана и кинул его Оскару, чтобы тот не остался совсем без средств.

Оскар изловчился поймать деньги, но столкнулся с полицейским, который налетел на него, чтобы перехватить кошелек. Сразу же забрали и Оскара. Он, мол, при аресте Арнольда оказал сопротивление полиции!

Оскар представил в свидетели девушку, она присутствовала при этом инциденте. Девушка показала, что никакого сопротивления со стороны Оскара оказано не было. Но трое полицейских подтвердили, что девушка лжет — она, мол, лжесвидетельница.

Вот так фабриковались тогда против рабочих и их руководителей ложные обвинения.

Еще хотелось бы мне кратко осветить один важный период деятельности Оскара, когда он играл руководящую роль.

В Германии и во многих других государствах, а также и в Эстонии поднимал в то время голову фашизм. Это обстоятельство потребовало от коммунистов всех стран решительных действий. Для борьбы против фашизма, против его распространения во что бы то ни стало следовало создать единый трудовой фронт. Центральный Комитет Коммунистической партии Эстонии тоже выпустил воззвание о совместной борьбе против опасности фашизма. Однако руководители правых социалистов и слышать не хотели о сотрудничестве с левыми рабочими организациями и тем более о сотрудничестве с коммунистической партией. В то же время среди рабочих быстро росло количество сторонников единого фронта. Фашизм можно отразить только общей борьбой всех рабочих организаций — эта мысль стала понятна массам. И многие левые рабочие организации начали создавать единый фронт, так сказать, снизу.

Первые шаги в этом направлении предприняли тартуские рабочие. Прежде всего Оскар ознакомил с воззванием Центрального Комитета КП Эстонии профсоюз строителей и женский профсоюз ремесленниц. И предложил создать единый антифашистский фронт. Оба профсоюза поддержали его предложение. То же произошло и во многих других рабочих организациях. На общем собрании под руководством Оскара были сформулированы задачи единого фронта. Затем последовала открытая агитация революционно настроенных рабочих за единый фронт и антифашистскую борьбу. Оскар сам выступил с докладом «Единый фронт рабочего класса». К Первому мая выпустили «Первомайское воззвание к тартуским рабочим». В нем призывали всех рабочих принять участие в первомайской демонстрации. Эта праздничная демонстрация от всех рабочих организаций прошествовала через город к парку Тяхтвере, где был проведен митинг, в котором участвова-

ло около шести тысяч рабочих. О необходимости единого рабочего фронта говорил там и Оскар.

Как видите, состояние рабочего движения было в то время очень сложным и тяжелым, но Оскар сумел в этой обстановке не свернуть с правильного и ясного революционного пути. Он успевал повсюду, и в энергии его нуждались все.

Его преданность революции и активность оценила и Коммунистическая партия Эстонии. В январе тысяча девятьсот тридцать третьего года Оскара приняли в члены коммунистической партии. В то время ему минуло лишь девятнадцать лет.

Ответ десятый

ЗНАКОМАЯ

Такого бурана такой метели я ни до, ни после не упомню. Видно, отец небесный с толку сбился, когда погоду нам посылал. Может, пир справлял с ангелами и под конец совсем ошалел, кто его знает.

Днем поднялась вьюга, а к ночи она и вовсе рассвирепела. Ветер свистел в комнате, словно в сарае. Огонь под плитой пылал непрерывно, но пользы от него ровно никакой не было. Пороши на лестничной площадке намело столько, что в углу уже высился целый сугроб.

В те времена я занималась шитьем. Крутила себе ручку швейной машины «Зингер», юбки да кофточки строчила. Ой, да что говорить — пальцы были у меня проворные, лишь бы заказчики не переводились. На харчи все же хватало. Только вот угождать этим местным мамзелям больно уж опостылело. Иная в объеме что бочка винная, а материи принесет в обрез, из нее и девице-то к причастию платья не сошьешь. А попробуй-ка заикнись об этом! Бельмы вытаращит да этакую мину состроит, точно я часть ее отреза прикарманить хочу. Изволь изворачивайся перед ней, мол, ох, уважаемая, нынче ведь мода такая, здесь бы неплохо вставить воланчик, а здесь заложить складочку...

Прямиком не выскажешь. Ведь заказчиц-то было немного. Бедный люд сам гоношил себе одежду, как умел. Лавочниц и прочих барынек приходилось беречь как зе-

лицу ока. Мутило от всего этого. Порой какой-нибудь фифочке так и хотелось съездить аршином по загривку. Дескать, пошла прочь, скареда!

Сестра моя давно уже встречалась с людьми из Тартуского рабочего общества. Иногда она уходила в город на собрание, а иной раз девушки и парни приходили к нам. Через нее я с ними и познакомилась.

Болтали о разном, иногда о политике, а то и просто так. Молодые ведь.

Оскар и в России побывал. Потом в нашем Народном доме все рассказывал да расписывал, что приметил во время путешествия. Складно выражался, что и говорить. Полностью осветил их тамошнюю жизнь. А глаза у самого сверкали, словно два зеркальных осколочка.

За кафедрой в Народном доме я его впервые и увидела. Да, речист он был, что верно, то верно. За словом в карман не полезет и ни перед чем не остановится. Я уж боялась, что констебль его в кутузку упечет, но не тут-то было. В самую меру сумел он все выложить, ни к чему не придерешься.

Ну вот. На дворе, значит, мело и вьюжило — ни зги не видно. А у меня в этот раз срочный заказ был, крутила себе да вертела свой «Зингер». Но долго ли повертишь, раз пальцы коченеют. Хлебнула в промежутке чайку горячего с кусочком сахару вприкуску. И это не помогло. Да и сон одолевать начал. Глаза от шитья так щипало, словно песок в них попал. Много ли свету от керосиновой лампы.

Подумала, ну да ладно, второй уже час, залезу-ка под одеяло. Весь честной народ в эту пору седьмой сон видит. Утро вечера мудренее. Встану пораньше и снова примусь за работу.

Постелила кровать, достала старый бараний тулуп, чтобы накрыться им поверх одеяла, не то будешь лязгать всю ночь зубами, как волк в проруби!

Только скинула юбку, вдруг слышу: кто-то возится у входной двери.

Ой, батюшки светы! Трусихой я была в то время, со страху даже пикнуть побоялась. Поди знай, что за босяк или мазурик сюда подобрался. Посижу тихонько, может, он и уберется.

Но нет, пришелец за дверью не унимался. Все стук-стук да стук-стук. И дверной ручкой к тому же пошевелил.

Я чуток осмелела. Подумала, пьянчуга какой-нибудь так стучать не станет. Тот начнет барабанить что есть силы. Еще подумала, может, это кто-нибудь сбился пути. Кому же еще в такую погоду... Добрый хозяин и собаку на двор не выгонит.

Натянула тулуп, вышла в сени и прямиком к двери. Теперь услыхала, будто бы зовет кто. Но тихо, за свистом метели слов не разобрать. Голос словно бы мужской.

Собралась с духом и спросила, кто там. А сама прильнула к двери, может, расслышу. «Оскар! Открой!» — донеслось до моих ушей. Ох, батюшки! Тут я решила, что, верно, эти чертовы фараоны преследуют парня. Иначе чего ему ночью стучаться. Ищет убежища, кровал!

От такой мысли в груди похолодело, просто мочи нет. Но дверь сразу же отперла. Слыханное ли дело такого человека на улице держать, будь что будет.

Ух ты! Вот и очутились мы с Оскаром лицом к лицу. А он словно снежная баба: щеки мокрые, нос красный. Кепка нахлобучена на уши, воротник поднят, за шиворот снегу навалило.

Я слова вымолвить не могла. Даже дверь закрыть забыла.

Оскар сам запер дверь на замок и задвижку защелкнул. Говорит, вот пришел к тебе погулять, примешь ли, сердце-то у тебя доброе, небось не выгонишь на двор в эдакую пургу.

У меня чуток отлегло от души. Раз понес всякую дурь, значит, ничего страшного не случилось.

Велела скинуть пальто, не впускать же мне в комнату такого снежного деда.

Он вдруг помрачнел и сказал, чтобы я собиралась, да поживее, мол, к сестре моей бежать надо.

Батюшки! У меня снова в груди похолодело, шубы на мне будто и не бывало. Выходит, все же что-то стряслось!

Спрашивать ни о чем не стала. Велела ему отвернуться и принялась натягивать юбку. Зачем любопытничать! Сам расскажет, коли захочет. Настолько-то я знала их дела.

Так и вышло.

Оказалось, что все восемнадцать километров Оскар шел ко мне из Тарту в пургу и метель. Одолел весь путь живо, единым духом, насколько позволяла непогода.

Говорит, дескать, в Тарту капо, охранка то есть, или, как тогда именовали, политическая полиция, чего-то взбесилась. Повсюду рыскает, учиняет обыски, тащит людей на допросы. А к моей сестре как раз в этот вечер доставили запретную литературу.

Вот Оскар и затревожился, а ну как нагрянут молодчики да начнут все потрошить! Им ведь известно, что моя сестра связана с рабочим обществом.

Жуткий страх охватил меня, пальцы мои никак пуговицы поймать не могли, рука беспомощно ерзала вверх и вниз, хватаясь за петли.

Наконец я с трудом оделась, накинула на голову платок, завязав под подбородком узлом, и набросила на себя шубу.

Только теперь догадалась спросить, откуда ему известно, что запретные эти бумаги попали к моей сестре именно сегодня.

В тот раз Оскар ничего путного мне не ответил. Так просто болтал, что я-де славная девушка, но страсть до чего любопытная. Что этак я скоро состарюсь и никто тогда на меня не взглянет.

А я даже не обиделась, что он мне вроде бы не доверяет... Знала уже, что их подпольные дела не такие уж безобидные. И чем меньше людей о них знает, тем лучше. Однажды я даже слышала, что из России, через проволочные заграждения, проносят запретную литературу. У них, у эстонских коммунистов, там, за проволокой, есть своя типография, или управление, или еще как его там называют. Печатают газеты и книги, чтобы рабочему человеку было что почитать здесь, расширить свой политический кругозор. Даже мне удалось при свете керосиновой лампы кое-что просмотреть.

Ну, значит, оделась я, натянула ботики, и мы с Оскаром поспешили прочь. До этого я еще успела сунуть Оскару кружку горячего чаю. Стужа да ветер пронизывали человека насквозь, этак и до смерти недалеко. Пальтишко-то на нем худенькое, ни ватина под ним, ничего такого...

Выбрались мы из дому и сразу очутились во власти вихря.

По дороге меня осенило, а почему же он прямо не отправился к моей сестре, какая беда загнала его сюда проволакивать время?

Ой, слышали бы вы, как он мне ответил! Нет, то не был голос Оскара, когда он выступал на собраниях или

когда дурачился и потешал нас. Таким я его еще не знала: покорный, словно малый ребенок винился в своем проступке.

Он, мол, заплутал в пургу и не сумел добраться до сестры. То туда, то сюда метался, но верного пути не находил. Решил вернуться в поселок, чтобы просить моей помощи. И может статься, что из-за своих блужданий уже опоздал...

Очень захотелось мне сказать ему что-нибудь ласковое. В утешение или просто так... Но нужные слова словно нарочно улетучились из головы. Его забота несказанно тронула мое сердце, словами всего не выскажешь.

Я крепко схватила его за руку. И так мы, как два снежных пугала, держась друг за друга, двинулись через болото к дому моей сестры.

Не очень и далеко до него было, километра два. Но ветер дул прямо в лицо, забивая снегом глаза и рот. В рыхлых сугробах ноги увязали прямо по колено.

Мне-то что. Я была в шубе, в высоких резиновых сапогах. А он, бедняга, оказался во власти ветра. Разве эти мелкие городские ботинки пригодны для глубоких сугробов?

О-ох, этот путь запомнится надолго!

Сердце у меня дрожало как овечий хвост. А ну, как мы опоздали и фараоны эти уже там? Значит, сестрица моя попалась к ним в лапы.

О чем думал Оскар, и по сей день не знаю, однако ногами работал он здорово. Я едва успевала за ним. А ведь он в этакую пургу уже отмахал не один десяток километров, точно у этого парня было еще сто пар ног.

Сколько времени мы шли, не знаю, но наконец добрались до садовой изгороди сестриного домика.

Вот тут я остолбенела!

Господи! Окно ее было освещено! Это около трех-то часов ночи, когда все давно почивают.

Неужели шпики опередили нас и выворачивают в доме все наизнанку? А что же еще мог означать этот свет в окне!

Оскар сжал мою руку и велел мне идти поглядеть, что там такое. Меня ведь никто и ни в чем заподозрить не может, а коли начнут спрашивать, можно смело наплести, что сестра накануне приболела, я, мол, забеспокоилась и пришла проведать ее. Чего доброго, еще лежит

лежмя, а в комнате в этакую стужу что в волчьей берлоге.

Вот так, стоя в сугробе возле изгороди, Оскар учил меня врать.

Немало я за свою жизнь дорог исходила, но те несколько шагов от забора к окну показались мне самыми долгими.

Ничего, преодолела и это!

Вначале глянула в окно, да нешто увидишь что-нибудь сквозь запорошенные стекла? Один уголок протерла рукавом. Но и это не помогло. У окна на столе стояла лампа, а в глубине комнаты было темно, как в мешке. Кто-то вроде бы копошился там, но поди разбери, сестра это или кто чужой.

Что бы там ни было, но ничего подозрительного я в комнате не обнаружила. Это малость меня приободрило.

Постучала костяшками пальцев по окну. Чуток подождала. Из комнаты выглянуло лицо сестры.

Я прижалась носом к стеклу, может, узнает меня. Узнала и сразу пошла открывать дверь.

Еще не входя, я спросила, не наведывался ли кто к ней. Сестра забеспокоилась, но ответила, что никого не было.

Тут и Оскар подошел, и мы, живо перемахнув через порог, очутились в комнате.

Оскар совсем выбился из сил и тотчас же плюхнулся на стул. Клянусь вам, он так вздохнул, точно гора спала с его плеч.

Я была несказанно рада, что сестра жива и невредима и что Оскар помучился не зря.

С минуту мы молчали.

Наконец Оскар спросил вроде бы на шутливый лад, чего это моя сестра полуночничает здесь втихаря? Все верноподданные граждане Эстонии давно уже почивают, и им снятся радужные сны о свободной республике.

Сестра отрезала в ответ, что Оскару самому должно быть доподлинно известно это. И удивилась, какая крайняя нужда загнала его сюда в такой час, да еще в такую погоду. Ведь не ради того, чтобы задать ей этот вопрос.

Оскар, в свою очередь, поинтересовался, где она «их» держит.

Сестра ответила, что и на печке, и за печкой, тут и там — повсюду разложены для просушки. Притащили их

в мешке, они промокли, стали как ветошь, только тронь, сразу расползутся.

Я-то поняла, о чем они толковали. Все об этой же литературе, которая тайно переправлялась через границу. Погодка для такого дела была словно по заказу. А коли бумага промокла и вовремя ее не просушишь, то и рисковать тогда было бесполезно.

Оскар заявил, что ничего не поделаешь, но с просушкой придется кончать. Пусть сестра все соберет и спрячет. Тартуская охранка расшумелась, как осы в гнезде. Кто знает, может, и сюда, в поселок, пожалуют. Какой-то хвост прицепился к нему в городе. И только в конце Выруского шоссе Оскару удалось надуть и отвязаться от него.

Глядела я на Оскара, словно впервые его видела.

Ой, да по тому, как человек выступает с речами, спорит и шутки шутит, нипочем не догадаешься, что у него за нутро.

В такую погоду отмахать такой путь, чтобы предупредить человека, мог лишь тот, кто имел доброе и мужественное сердце. И не надейся, что в Тарту шпик оставит его в покое! Как бы не так! Небось пристанет: куда ходил да зачем ходил, и поди знай, что они в охранке над ним учинят. Уже не раз говорили, что иных там отделывали под орех. Один даже скончался в сумасшедшем доме, так страшно его истязали.

Что поделаешь, сложили все книги, листовки и прочие бумаги. Кое-что подсохло, а другие были еще такие мокрые, что и в руки не возьмешь.

Уложили все снова в походный мешок и полезли втроем на чердак. Сестра зажгла фонарь, чтобы хоть немного свету было.

Новая забота. Куда спрятать мешок на чердаке? Ведь это не иголка, что можно засунуть меж тесом на кровле.

Чердак был наполовину завален сеном. Оскар огляделся, оценивая обстановку, и сказал, что ничего иного не придумаешь, как схоронить мешок под сеном. Выкопать дыру и засунуть его туда. Кто станет разгребать такую груду сена?

Так мы и сделали. Копались, как кроты, но вырыли длиннющий проход под самой высокой кучей. Потом снова заложили проход сеном и привели все опять в прежний вид, словно здесь никого и не было.

Как только покончили с этим, Оскар попросил, чтобы я указала ему дорогу. Он, мол, должен пробираться назад, в Тарту. Скоро рассвет, и тянуть больше нельзя.

Я же ему в ответ: спятил ты, что ли, промок насквозь и устал как пес. Неужто думаешь, что ноги твои еще понесут тебя эти восемнадцать километров до Тарту?

Оскар засмеялся и сказал, что обязаны нести, потому как других ног у него в запасе нет. К утру ему нужно быть в Тарту. За ним следит полиция, и он не имеет права ни на шаг отлучаться из города. Если ему удастся пробраться в свою квартиру так, что шпик ничего не заметит, тогда все в порядке. Он может сказать, что спал всю ночь дома и никуда не уходил. Только вечером прошелся по Выраскому шоссе, чтобы проветриться. Пусть шпик попробует доказать, что он по шоссе вышел из города.

Господи! Что творилось со мной, когда мы с Оскаром снова брели по болоту! За несколько шагов впереди была сплошная снежная мгла. Метель все набирала силы. Попробуй отпусти человека в этакую вьюгу, да еще в такой длинный путь. Был бы еще невесть какой богатырь... А ведь худой как тростинка.

Предложила ему от всего сердца свой овчинный тулуп. Но он воспротивился, что, мол, я несчастье ему на голову накликать хочу. Шуба-то ведь выдаст его, дескать, не иначе как ходил в деревню. Попробуй докажи тогда, что всю ночь проспал в городе.

И помочь я могла ему только тем, что дала в прихожей надеть мои шерстяные носки. Да краюху хлеба он сунул в карман. Сказал, хорошо пожевать, когда с голоду под ложечкой засосет.

Так стояла я в сенцах и глядела ему вслед. А глядеть-то не на что. Сделал два-три шага и исчез. Погрузился в снежную мглу, точно в воду канул.

Такого еще со мной не случалось, чтобы я всю ночь глаз не сомкнула. Как вошла, так и осталась сидеть в шубе, в эту бурную ночь, возле своего «Зингера», и все думала. Ни сна, ни усталости как не бывало.

Думала об Оскаре, о богатых и бедных. Мысли кружились, снова возвращаясь к Оскару. Потом вспомнила своих барынек, приносивших мне шитье, их деревянные лица, словно дверь у бурмистрова шкафа.

Промеж всего обратилась и к богу: милостивый боже, сделай так, чтобы Оскар благополучно добрался до дому.

И тут же пришло на ум, что сам Оскар за такую молитву изрядно высмеял бы меня.

В конце концов я все-таки заснула. И мне даже сон приснился, будто шпики идут через двор прямо к моей двери. Барабанят по ней кулаками вовсю. И так они грохотали, что я с перепугу проснулась.

За окном рассветало. Полы моей шубы распахнулись, колени совсем захолодели.

Вдруг послышался стук в дверь. И такой нетерпеливый.

Поняла, что это мне не приснилось. Кто-то и верно требует, чтобы его впустили.

Испугалась, никак Оскар вернулся с полпути?

Мне и дверь-то толком распахнуть не удалось, как лавочница вихрем ворвалась в комнату. Вынь да положь ей новое платье. Оно, мол, ей очень нужно, и я, дескать, обещала закончить его к сегодняшнему дню.

Истое наказание, чтоб тебя черти съели вместе с твоим платьем! День даже еще не настал, и только позавчера она сунула мне материю в руки.

Впервые я осерчала не на шутку. Вспылила так, что кинула раскроенную материю той мамзели и объявила ей, что сама она не иначе как дрыхла всю ночь, как туша, а мне, значит, не спать и с тряпьем ее возиться.

Ух ты, видели бы вы, как лицо у той тетки-торговки пошло пятнами, совсем как у гнилого падунка. Схватила она свой лоскут под мышку, враз повернулась и выкатилась из двери, меча гром и молнии.

С той поры заказчиц у меня становилось все меньше и меньше.

Лавочница старалась вовсю, чтобы эти, с позволения сказать, порядочные граждане моим трудом больше не пользовались.

Окончательно я лишилась клиентов, когда мою сестру вызвали на допрос в Тарту. Там ей прямо-таки на горло наступали, заставляя признаться в том, что Оскар в одну из ночей, в буран, приходил к ней. Сестра отнекивалась, она, дескать, Оскара уже бог весть с каких времен не видела.

Так эта история у них, у охранки, ничем и закончилась.

А мне допрос сестры нанес последний удар. Я и лоскутка-то теперь больше не видела. И моя машинка по-

крылась толстым слоем пыли... Сестра, мол, у нее красная, и сама она тоже противница и задира, платье лавочнице не дошила, кто же захочет заказывать у такой.

Ничего не поделаешь... Забрала я однажды все свои пожитки и «Зингер» и перебралась в Тарту.

Но и там нечего было ждать кисельных берегов да молочных рек. Где уж тут! Хлеб бедняка всюду горек.

Но я все-таки радовалась такой перемене. Даже очень радовалась. Теперь оказалась я ближе к рабочему обществу. Могла с Оскаром хоть каждый день видеться, ежели хотела. Пойдешь в общество культуры, а он тут как тут!

Моя конура стала местом встреч, где Оскар с товарищами обсуждали свои дела и строили планы. Этак и я приносила небольшую пользу, да и сама маленько поумнела. Случалось, у меня и дни рождений справляли. То-то было весело.

Ох, да ведь все мы когда-то были молодыми...

Ответ одиннадцатый

ТОВАРИЩ ПО РАБОЧЕМУ ОБЩЕСТВУ

Закончился очередной урок на курсах эсперанто. Все стали расходиться. Много всякого народу, желавшего изучить этот язык, приходило сюда: студенты, рабочие, служащие, школьники. Большинство из тех шести десятков слушателей курсов и не ведало, что название «Тартуское рабочее общество эсперанто и культуры» было лишь маскировкой. Под этой вывеской занимались делами более серьезными, чем изучение языка или организация разных культурных мероприятий.

Почти все слушатели разошлись. Человек двадцать направились в одиночку или попарно в заднюю комнату, чтобы потолковать о совершенно других вещах. Это был так называемый актив. Ради маскировки на стол выложили рабочий план общества и книгу протоколов. Сунься сюда какой-нибудь непрошеный гость, ему сразу станет ясно, что здесь обсуждаются различные мероприятия общества.

Когда все собрались, Оскар, как всегда, проявил инициативу. Долго объяснять не пришлось. Каждый из присутствующих знал, о чем пойдет речь.

— Листовки готовы?

— Готовы!

— Все сделано!

— Порядок!

— Как договорились...

Кратко звучали ответы.

Ответы женщин и мужчин, получивших задание размножить листовки. Занимались они этим дома, печатая на шапирографе или гектографе.

Агрегатов этих нынче найдется немного. Поэтому не будет лишним вкратце объяснить, как работал такой аппарат. Самой важной частью шапирографа была пластина с застывшей на ней ровным слоем смесью глицерина, желатина и воды. На листе бумаги размером в эту пластину анилиновой краской писался текст, этот лист прикладывался потом текстовой стороной к пластине, и краска впитывалась в нее. Теперь, прижимая к пластине чистые листы, можно было сделать сотню ясных оттисков, или отпечатков.

Так. Узнав о шапирографе, заглянем снова в комнату, где собирался актив.

Ответы людей свидетельствовали о том, что печатники хорошо справились со своим делом. Теперь Оскару надо было назначить распространителей листовок. Чтобы разнести их по всему городу. Его разбили на районы.

Указывая на кого-нибудь, Оскар говорил:

— Ты возьмешь улицу Тяхе. Ты — Тяхтвере. Вы двое отправитесь на улицу Калеви. Там полицейских больше, вдвоем будет надежнее.

Каждому досталась зона, где ему следовало за ночь расклеить свои листовки.

Я еще поручения не получал, но Оскар объявил:

— Мы пойдем вместе. Возьмем район рынка.

Все принялись уговаривать Оскара, чтобы он не делал этого.

— Ну зачем тебе самому! Полиция и так с тебя глаз не спускает. Попадешься ненароком и опять навлечешь на себя неприятности.

Все упрашивали. И еще сказали, что составлять воззвания и организовывать все эти операции ради общего дела тоже работа, притом немалая.

Люди, конечно, были правы. Расклеивать листовки мог каждый из нас. А вот организовать все и руководить всем мало кому можно было поручить, кроме Оскара. Поэтому толкового вожака приходилось беречь для более сложных заданий.

Но Оскар воспринял наши уговоры совершенно иначе. Глаза его за стеклами очков засверкали. Он весь зарделся, словно от кровной обиды.

И воскликнул:

— Вот так да! Выходит, не гожусь! Бракуете! Попадусь, говорите! Каждый из нас может попасться!

Мы, конечно, все заговорили-загудели разом: ну что ты, как это не годишься, просто ты нужен для более важных дел.

Хотя урезонивали и успокаивали мы его, но заранее знали, что это ничуть не поможет. Если Оскар вбил себе что-то в голову — кончено. Ему везде хотелось самому участвовать, когда разумнее, может, было бы переждать.

Вот и сейчас. Убеждали как могли. А с него что с гуся вода.

Получив инструкции, мы разошлись. Кто отдыхать, кто готовиться к ночной вылазке.

Около полуночи мы встретились с Оскаром на одном из дворов неподалеку от рынка.

Пальто на нас были широкополые. Под ними к кушаку был привязан плоский котелок с клеем и кистью. Во внутреннем кармане пиджака шуршали листовки.

Работа должна была идти как по маслу. Всякая проволочка могла дорого обойтись.

Полы пальто были распахнуты. Как только попадалось подходящее место и кругом ни души, одна рука делала кисточкой мазок, а другая вынимала из-за пазухи листовку и прижимала к стенке. Ладонь, скользнув по бумаге разок-другой, разглаживала ее, и еще одно воззвание красовалось на виду.

Секундомером мы не пользовались, но на всю операцию уходило лишь несколько секунд.

В районе рынка полицейские шныряли всю ночь напролет. Один нарочно крутился вокруг лавчонок. Из-за воров и всякого жулья, конечно. Попадись мы им на глаза, и нас, понятно, не пощадили бы.

Так мы и работали. Один следил, не идет ли кто, в особенности если фараон, а другой орудовал в это время кисточкой и листовками. Потом мы менялись ролями.

Все шло гладко. На глаза мы никому не попадались, и бежать ни от кого не приходилось. На случай неудачи у нас заранее были высмотрены ходы и лазейки для бегства. Мол, здесь, в эти ворота, надо драпануть, пробежать через двор, пролезть сквозь ограду на соседнюю улицу. Либо там шмыгнуть в парадную и прямиком в подвал. А из подвала через другую дверь снова на улицу. Полицейский мечется в подвале, а ты спокойно уходишь своим путем.

Так, значит. В тот раз все шло без сучка без задоринки. В моем кармане пиджака уже листовок не было. Оскар сказал, что у него еще есть две.

Зайдя в какие-то ворота, мы стали решать, куда бы приклеить эти две последние листовки.

Оскар предложил — прилепим к какой-нибудь рыночной будке. Мне его идея не очень понравилась. К чему лезть прямо под нос фараону? Что это даст? Ну, предположим, все сойдет удачно. Но ведь бдительное око закона, проделав свой контрольный обход, обязательно возвратится сюда. Наверняка заметит листовку. Ясное дело, сорвет ее, и утром все равно никто не сможет прочесть с таким риском расклеенное воззвание.

Но Оскар, как всегда, настаивал на своем. Ну и что ж, если никто не прочтет, а фараону мы все-таки нос натянем.

В том районе слоняется уйма полицейских, уговаривал я его шепотом. Стоит одному из них заметить, свистнуть... Место там открытое, улизнуть некуда... Вот и влипнем.

Я уже говорил, что спорить с Оскаром было бесполезно. Некоторые старшие товарищи уже поглядывали на него косо, дескать, молодо-зелено, перегибает палку и напрасно лезет очертя голову. Совсем как в той истории, о которой Оскар нам впоследствии сам рассказывал.

В коробку из-под ботинок наложил он брошюр и газет и, неся ее за бечевку, отправился на поезд, чтобы добраться до одной из станций и там все это передать коекому.

Едет и вдруг замечает, что какой-то тип упорно следит за ним. Закрылся газетой, а сам время от времени поглядывает из-за нее на пассажиров. Но больше всего на Оскара.

Поезд прибывает на станцию. Оскар спрыгивает и бежит на вокзал. С другой стороны идет встречный поезд. Маневренный. Оскар тотчас же вскакивает на площадку его вагона.

Видит, что шпик не отстает. Перед самым вокзалом проходит следующий вагон. Шпик прыгает туда.

Что делать? Его, Оскара, явно преследуют.

Оба стоят на подножках соседних вагонов. Поезд идет медленно. Останавливается. Гремят буфера.

Шпик прыгает с подножки и бежит к Оскару.

Оскар соскакивает, но на противоположную сторону, и прямо в кустарник.

Шпик хочет последовать за ним, но поезд снова начинает маневрировать. И на сей раз назад.

Нога преследователя соскальзывает со ступеньки. Шпик, теряя равновесие, падает. Того и гляди попадет под колеса!

Когда ему удается наконец пробраться на другую сторону площадки, Оскара и след простыл. Поди разыщи его в лесу. Да и сумерки уже наступили. Разве один в лесу найдешь кого.

Шпик возвращается на вокзал, чтобы дождаться поезда, который отвез бы его назад в город.

Тем временем Оскар закапывает всю литературу в лесу. А коробку наполняет мхом и, как ни в чем не бывало, возвращается на перрон. Он тоже ждет поезда.

Когда поезд приходит, Оскар замечает, в какой вагон садится шпик. И прямиком туда.

Шпик таращит глаза от удивления. Верно, благодарит бога, что напал на дурака, который так и лезет на рожон со своей коробкой.

Приезжают в город. Шпик к Оскару, дескать, следуйте за мной. Оскар, конечно, протестует, как это смеют честного человека беспокоить. У него, мол, масса других дел и ему незачем идти в полицию.

Но возражения, ясное дело, не помогают. Однако Оскар нисколько не удручен. Шагает себе весело, даже пытается завести со шпиком беседу.

Приходят в отделение. Там сразу кидаются к коробке. А в ней один только мох!

Зачем вы его с собой возите? А Оскар с невинным видом в ответ: мол, на зиму закладываю между оконными рамами. Мох не дает запотеть стеклам. И на вид к тому же красиво — лето напоминает.

Ничего иного не оставалось полицейским чиновникам, как отпустить Оскара восвояси. Конечно, не такие уж они были остолопы, чтобы принять его объяснения за чистую монету. Наверняка поняли, что Оскар схоронил что-то в лесу, а коробку набил мхом. Но что поделаешь, доказательств-то нет!

Да, такие проделки были свойственны Оскару. Ведь он мог подождать и другого поезда. Или хотя бы сесть в другой вагон. Ан нет! Ему обязательно надо было подразнить шпика.

Так.

Долго мы там спорили за воротами. Он говорит, пошли, а я — не стоит.

Наконец Оскар заявил, если я с ним не пойду, он отправится один. Я рисковать ему одному не дал.

Выследили, когда полицейский скроется за ларьками. Огляделись. Все в порядке. Перебежали осторожно через мощенную булыжником рыночную площадь.

Я мазнул разок по стене. Оскар приложил листовку. Рядом другую.

И мы пустились наутек.

Но у Оскара новая идея. Захотел посмотреть, что предпримет фараон, когда заметит листовку.

Я не противился. Знал, что все равно не поможет. Да и самого подмывало поглядеть на это зрелище.

Забрались в самую ближайшую подворотню и стали ждать.

Вскоре показался полицейский. Остановился, закурил. Вдруг заметил — на стене что-то висит.

Прочел, огляделся. Посмотрел в одну сторону, потом в другую. И как свистнет. В ответ раздался цокот конного патруля.

Следующего действия сего представления мы ждать не стали. Перемахнули за сараями через забор. Пролезли кое-где сквозь кусты и очутились наконец в Оскаровой конурке.

Его жилище состояло из комнаты с плитой. Два стула, широкая койка, круглый стол — вот и вся обстановка. Несколько дощатых ящиков, положенных один на другой, выполняли роль книжной полки, до отказа забитой газетами. Там были и книги.

Более чем скромная обстановка.

Я знал, что Оскар тратит все свои деньги на борьбу за права рабочих.

Часто поговаривали, что плата за наем помещения для собраний идет из кармана Оскара.

По всему было видно, что кроны, посылаемые ему матерью, он на себя почти не расходует.

Оскар рухнул навзничь на койку. Вид у него был очень усталый. Снял очки и так, с закрытыми глазами, лежать и остался.

Я сказал, интересно, как там у других с расклейкой листовок?

Оскар, казалось, не слышал моих слов.

В комнате воцарилась тишина. Я не знал, что делать. Взял с полки книгу и стал листать ее.

Тогда заговорил Оскар:

— Знаешь, мне всю жизнь везло, но, когда приходится заниматься чем-нибудь таким, меня постоянно одолевает страх!

— Тебя — страх! А сам всегда норовишь поиздеваться над шпиком! — с удивлением воскликнул я. Такого признания я от него никак не ожидал.

Теперь его утомленный вид мне представился в совершенно ином свете. Его бессилие говорило о пережитом напряжении. И таком сильном, что оно вытряхнуло из него все силы.

Не открывая глаз, Оскар продолжал:

— Страх-то меня и толкает на все эти выходки!

Эти слова еще больше смутили меня. И я повторил свой вопрос.

— Именно! Чтобы преодолеть страх! — ответил Оскар.

Теперь для меня прояснилось многое. Я представил, как он заставляет себя, подхлестывает в надежде, что страх наконец покинет его.

Чтобы убедиться в своих предположениях, я спросил, не оттого ли он сегодня пошел с нами расклеивать листовки?

— А ты что думал! — сказал он.

Такого откровенного разговора у меня ни с кем из наших товарищей еще не было. Не знал, как и продолжить его.

Вдруг Оскар вскочил с кровати и воскликнул в волнении:

— Хочешь, расскажу, как мне всегда везло?

Не успел я кивнуть ему в ответ, как он с особым трепетом принялся рассказывать.

Однажды он тоже ехал в поезде. Воззвания были свернуты в тонкую трубочку и засунуты в рукав пальто.

Внезапно рядом с ним выросла фигура мужчины. Человек показал удостоверение и предложил следовать за ним.

Оскар мысленно решил: ну, парень, твоя песенка спета. Словно для подтверждения его опасений рядом с ним, но с другой стороны, возникла фигура второго шпика.

Оскар вдруг почувствовал, как эта бумажная трубочка давит ему на ладонь, точно свинцовая. Пальцы его дрогнули, ему казалось, что сейчас листовки вывалятся и упадут на пол вагона. Да еще и загремят!

Злоба обуяла его на самого себя: видали, мол, дурака, какими фантазиями морочит он себе голову, вместо того чтобы придумать что-нибудь дельное.

Поезд остановился. Они втроем стали спускаться по ступенькам вагонной площадки. Один шпик спереди, другой сзади, а он посредине, как баран, назначенный на заклание. Этот чертов рулон все сильнее и сильнее давил на его пальцы, а возможности избавиться от него не представлялось.

Вдруг какой-то старик стал протискиваться прямо сквозь них. Словно старика этого невесть какая спешка одолела. В руке он держал небольшое ведерко из белой жести.

Оскар распрямил пальцы. Ролик с воззваниями выпал из рукава прямо старику в ведерко.

Это случилось уже на последней ступеньке вагона.

И старик, словно добрый дух, скрылся за зданием вокзала.

Вот ведь повезло! Этакое впору придумать только автору какого-нибудь криминального романчика, чтобы вызволить своего героя из трудного положения. Но, поди ж ты, и в жизни такое бывает!

Все это рассказал мне Оскар.

Не успел я удивиться, как почувствовал, что у Оскара есть еще что-то в запасе. И он тут же начал свой следующий рассказ.

Вот он.

Оскар получил из тюрьмы какой-то клочок папиросной бумаги, на котором прочесть написанное можно было только через лупу.

Он прибежал домой и даже не удосужился снять пальто и задернуть оконную занавеску и, стоя у окна, сразу принялся читать записку.

Бросив взгляд на улицу, увидел, что из-за изгороди, напротив, торчит голова. Человек за оградой моментально скрылся, но Оскар сразу смекнул. Конечно, это шпик!

Оскар начал торопливо сжигать бумажку.

За дверью тотчас же раздался стук. Значит, шпиков двое!

Бумажка в пепельнице сгорела, но даже дураку понятно, что это не табачный пепел.

Куда его девать?

Снова постучали.

А дверь была не на запоре!

Шпик уже входил в комнату, когда в голове Оскара созрело решение.

Он мигом кинул пепельницу на край кровати. Снял пальто и небрежно бросил его тоже на кровать. Пепельница свалилась на пол. Пепел развеялся. И агент охранки остался без улик!

С каким жаром Оскар выкладывал мне эти случаи! Загорался он весь в споре и беседе. Но когда он доказывал или убеждал, страстность его была совершенно иной. В ней ощущались живость мысли, упорство. А сегодня явно чувствовалось, что он искренне переживает все случившееся с ним, свои удачи.

Так же внезапно, как вскочил с кровати, он снова бросился на нее и крикнул со злобой:

— Почему мне никак не избавиться от этого чертового страха!

И я понял, что, рассказывая про эти случаи, он хотел как бы начинить себя храбростью и верой в удачу, сопутствовавшую ему в делах. Эти истории предназначались не для меня. Ему самому было необходимо пережить их опять, получить уверенность в своих силах. Но, вспомнив о вновь испытанном сегодня страхе, он, обессиленный, упал в постель.

Я попытался успокоить его.

— Разве ты один... У нас у всех поджилки трясутся, когда отправляемся на какую-нибудь опасную работу. Это же естественно и понятно. Даже опытные артисты дрожат, когда выходят на сцену. А что у них страшного... Но если совладаешь с собой, тогда все в порядке! А по-

теряешься с перепугу — беда. Но с тобой ничего такого не случилось. Ты всегда выходил победителем. Подавлял в себе робость. Чего же тебе тревожиться!

Примерно так я его утешал, а он даже не шевельнулся. Лежал безучастно с закрытыми глазами на своей койке, раскинув ноги и руки.

— Ты славный парень! — с трудом вымолвил он с расстановкой. — Но если я когда-нибудь поддамся страху, что тогда? Может ли человек знать наперед, насколько он силен? Это выяснится только в час испытания. Ну а если не выдержишь?

Что я мог ответить на это? Ничего вразумительного. Оскар был, безусловно, прав. Иной в состоянии перенести тягчайшие душевные муки, а зубодера боится. Другому физическая боль — ничто, а ничтожное душевное переживание выбивает его из колеи.

Кто из нас и как поведет себя, в большинстве случаев остается неизвестным. Догадки строить невозможно. Ясный ответ получишь только в час испытаний. А если ответ будет таким, что самому потом стыдно станет, как жить тогда дальше?

Оскар позвал меня, чтобы я лег рядом с ним, и предложил поспать немного. Завтра ведь снова уйма дел. Я лег и положил руки под голову.

За окном пробивался рассвет. Вглядываясь в сумерки, я почувствовал, что голова моя пуста. Только сердцем ощущал тяжесть недавнего разговора, скрытых в нем наболевших вопросов, оставшихся, к сожалению, без ответа.

Когда на дворе уже рассвело, выяснилось, что ни один из нас за всю ночь не сомкнул глаз.

Ответ двенадцатый

ТОВАРИЩ ПО СОЮЗУ

Странно! Просто удивительно! Несколько раз убеждалась в этом. И теперь снова! Когда кто-то заговаривает со мной о моей юности, мне обязательно вспоминаются лодочные прогулки по Эмайыги. Словно у меня в ту пору ничего более прекрасного и не бывало.

Подумать только, как ярко запечатлелись эти поездки на лодках! Даже мелочи не стерлись из памяти.

Словно вчера это было, или, ну скажем, неделю тому назад...

Мы встречаемся в лодочной гавани.

Здесь Эльмар. Сто́ит его хоть каплю подзадорить, как он пускается в разговоры. Слушаешь его и чувствуешь, что слова у него не поспевают за мыслями. Поэтому речь его неровна, прерывиста. Приходится улавливать его мысли, увязывать их.

Здесь тихий-претихий Сеня. Стыдливый и застенчивый, случись кому ввернуть что-либо двусмысленное — краснеет. Но если поручить Сене задание... Листовки отпечатать или расклеить их — можешь быть уверен: все будет в точности выполнено, и провала бояться нечего.

А вот и Оскар. Юноша с мягкими, округлыми чертами лица. Порой задумчивый, но в общем живой. Кто бы мог представить себе, как он безжалостно бичует провокаторов, пробравшихся в рабочее движение. Только мы и знаем, каким суровым становится этот на вид пай-мальчик, какими жестокими делаются его слова. Одного из членов нашего союза освободили из заключения в ответ на его просьбу о помиловании. У нас не хватило твердости духа обвинить его. Все-таки сколько вместе проработали. Но Оскар остался неумолим и заявил, что этого человека следует исключить из союза. Упрашивать буржуазных чинуш — дело постыдное.

Нас в лодочной гавани собирается изрядное количество, лодки на три примерно.

Идет вторая половина мая. Погода прохладная, но небо ясное. Загар уже пристает. И как здорово!

Вскладчину нанимаем на три часа три лодки.

У нас с собой купальные трико и мяч, бутерброды и бутылки с лимонадом. У посторонних сомнения не вызовет... Молодежь отправляется на увеселительную прогулку...

С шумом и хохотом забираемся в лодки. Мальчишки раскачивают их, чтобы заставить повизжать девчонок. И мы визжим. Себе на радость и ребятам на потеху.

Парни садятся за весла. Лодочник отталкивает лодку от мостков, бросает вслед веревку.

И путешествие начинается!

Вначале в мускулах силы хоть отбавляй. Ребята налегают на весла, лодки идут наперегонки. Одна из девушек обычно за рулевого.

Сегодня воскресенье. По реке плывут и другие лодки. Но тотчас же сворачивают в сторону. Поди знай, что еще натворит эта стремительная эскадра! Вдруг да наскочит!

Центр города остается позади. Мимо тянутся прибрежные окраинные домики. По обе стороны низкие луга. Тут и там рощицы, кустарник.

Темп гребцов снижается. У одного спина потемнела от пота. У другого мозоли на руках. У третьего на лбу выступили бисеринки испарины.

Надо ли было так гнать? Да, обязательно надо было! И не ради самой гонки, а чтобы поскорее очутиться среди лугов. Сюда мы и стремились.

Река сверкает на солнце. Ах, как сверкает! Удивительно, что я в городе этого не замечала.

Парни подтягивают весла в лодки. Ленивое течение уносит нас дальше. В ту сторону, где за километрами простирается Чудское озеро. А за ним Россия, Советская Россия, о которой Оскар рассказывал нам просто чудеса. Я всему не верила. Попробуй сразу представь, что сами рабочие руководят этим гигантским государством. Возвращаются домой с работы, смывают сажу с лица и идут издавать законы, обсуждать внешнюю политику.

Мысли мои были порой очень наивны.

Болтаю пальцами в воде, а сама думаю, что же мой отец сказал бы о той стране, верно, то же самое, что говаривал дома, когда мы бывали одни или в компании близких друзей:

— Фашизм страшнее Иуды! Ради корысти фашисты обрекают народы на гибель!

Выражение это, да и многие другие, отец унаследовал с того времени, когда был еще верующим. Однако жизнь научила его, и старик прозрел. Но не в том смысле, как сказано в библии!

Лодки сталкиваются. Мы плывем рядом, борт к борту.

Кто-то затягивает песню. «Интернационал». Тихо разносится над рекой эта мужественная мелодия, смешиваясь с шумом воды. Озираемся вокруг. Берега пустынны. Вкладываем в пение всю свою силу и мощь.

Три лодки рядом. И мы все вместе, бок о бок. Песня

связывает, соединяет нас, вселяет в нас удаль и веру в будущее.

Пою, и перед мысленным взором возникает мой старик. Он направляется в замок Тоомпеа. Я никогда там не бывала. И не могу представить его путь. Вижу лишь, как он скрывается за сводчатыми воротами замка. Он идет по какому-то помещению. Гулко раздаются его шаги. Он явственно говорит своим хрипловатым голосом:

— Товарищи! Фашизм страшнее рычащего льва! Не впускайте это чудовище в наш дом!

Наступит ли время, когда в замке Тоомпеа прозвучит слово «товарищ»?

Песня возвещает о том, что наступит! В ней говорится, что нам самим надо бороться за это!

Чувствую себя наивной, слабой! Но ведь нас целых три лодки. Три здесь, на Эмайыги... А сколько в Эстонии рек и озер! Три лодки плывут здесь, три там, и еще где-нибудь десятки... Из них составятся тысячи... И в каждой лодке люди поют «Интернационал»!

Песня смолкает. Ребята держат борт соседней лодки, чтобы не отплыла в сторону.

Кто-то запевает новую песню. И опять революционную. Поем ее, а сами поглядываем на берег. Ведь никогда не угадаешь, до чьих ушей долетит она. Может, кто и подпоет нам, а может, поспешит к ближайшему констеблю.

Песня смолкает.

Лодки ударяются о берег. Ребята вытягивают их на песок, чтобы не унесло течением.

Теперь вдруг все начинают спешить. За кустами мелькают блузки, платья.

— Ой, мое трико осталось в лодке! — визжит девчонка, а сама стоит голышом.

— А ты сбегай за ним! — дразнят парни.

Наконец мы в воде. Она по-весеннему прохладная, даже студеная. Но мы молоды и бесстрашны. Брызгаемся и дурим. Визжим и хохочем. Топим друг друга, захлебываемся.

Лодки колышутся от нашего неистовства и грозят оторваться от берега. Парни вынуждены подтянуть их еще дальше.

Оскар обещает переплыть реку, если к нему присоединится Сеня. А тот ни слова не отвечает. Ложится на спи-

пу и плывет. Его загорелые руки мелькают над головой, словно крылья мельницы. Оскар отстает.

— Кто же так плавает! — полушутливо, полусерьезно замечает Оскар. — На спине! Человек всегда должен глядеть вперед!

— А ты не философствуй! Здесь не собрание! — кричим мы в ответ Оскару. И на него летят водяные брызги.

Возвращаемся на берег. Мокрые, веселые и счастливые от своего веселья. Уже неподалеку играют в мяч. Девушки разворачивают пакетики с бутербродами.

Как хорошо, ох, как хорошо, что ты молод! Что ты с друзьями! Что сверкает солнце! Что у тебя на хлебе кусок чайной колбасы! Что бутылка с лимонадом ходит по кругу!

Хорошо, что здесь можно сегодня обменяться мыслями. Не найдешь лучшей конспиративной квартиры, где бы можно было так вольно обсуждать политические вопросы, не боясь, что тебя подслушают. Кому из посторонних взбредет в голову, что у молодых парней и девушек, тех, кто купается и загорает на берегу, есть и другие заботы, нежели только пустая болтовня.

Оскар объявляет:

— Вышли два первых номера газеты рабочей молодежи «Выйтлусринне» («Боевой фронт»). Сейчас надо бы обсудить напечатанные в ней статьи. Рассмотреть дальнейшие задачи газеты. Со всех аспектов...

Речь Оскара всегда сдобрена глубокомысленными фразами и словами иностранного происхождения. Иные считают это позой. А я нет. У каждого своя манера разговора. Одному нравится такой стиль, другому — иной. Но важно то, что кроется за словами.

Кто-то спрашивает:

— А что это за чудище: «аспект»?

Оскар объясняет значение этого слова и спокойно продолжает говорить.

«Выйтлусринне» была газетой Союза трудовой молодежи. Того самого союза, что был создан в Таллине по инициативе Оскара. Он же оказался основателем и органа печати Союза.

В первых номерах газеты сообщалось о создании единого антифашистского фронта. Был дан обзор достижений Советской страны. Трудовую молодежь призывали стать достойной сменой товарищам, погибшим в классовой борьбе. Разоблачались военные планы капиталистиче-

ских стран против Советского Союза, и тут же обращались к рабочим с призывом выступить в защиту страны социализма. Там же, в своей статье, Оскар бичевал правых социалистов.

Мы все успели прочесть эти номера «Выйтлусринне». Начался обмен мнениями. Один вносил предложение, другой предлагал свою поправку к нему.

— Хорошо бы поместить статью о безработных...

— Именно о молодых, адресованную к молодежи!

— И продолжение путевых заметок о Советском Союзе...

— Оскар сам бы мог написать!

Солнце припекает спину. Кругом тишина. Раздаются лишь наши тихие голоса, плеск воды в реке да над головой переливы жаворонка. Но все это словно неотъемлемая часть тишины, оно сливается с ней, успокаивает и наполняет новой энергией.

Уже много внесено предложений. Наступает пауза.

— А вот теперь бы и освежиться! — кричу я и бултыхаюсь в воду.

Никто не остается на берегу.

Плещемся, шумим. Перебрасываемся мячом.

Радужные брызги сверкают над нашими головами.

Мы снова на суше.

Бутылка с лимонадом переходит из рук в руки. На донышке провиантного мешка находим еще чем подкрепиться.

В воде становится прохладно. Зато солнце пригревает теперь еще приятнее.

Оскар вытирает лицо и надевает очки.

— Ну, давайте продолжим... — предлагает кто-то. — Срок найма лодок уже истекает!

Оскар поднимает новый вопрос. В связи с организацией безработных. Доказывает, разъясняет, делится своими замыслами...

Наблюдаю за ним, как и раньше часто наблюдала, но для меня он не юноша, а соратник.

Он мне нравится. Он деятельный, вмешивается во все, знает, что хочет, не уклоняется от трудностей или ответственности. Он насмешник и шутник, серьезный и деловой. Но все же... но все же я ощущаю в нем нечто странное. Почему у него нет близкого друга? Оттого ли, что он знает больше нас и немного бравирует этим? Возможно, невольно... Неужели только это? Ведь среди нас есть

люди и с бо́льшими недостатками. И все-таки у них есть друзья в прямом и самом глубоком смысле этого слова.

Кто виноват в незримой границе между нами и Оскаром? Мы или он? Что, у него нет к нам подхода или мы сами не умеем сблизиться с ним? Конечно, выражение это не совсем точное. Он нам близок и мыслями своими, и делами, и своим весельем. Но все же... А сам-то он чувствует это? Тревожит ли это его?

Лежу с закрытыми глазами, загораю на солнце, раздумываю.

Кто-то щекочет меня под подбородком.

«Верно, Оскар!» — не прерываю я своих мыслей.

Так и есть. Он. Хватаю его за руку, тормошу, опрокидываю. Я готова с ним бороться, гоняться взапуски, готова кидать в него землей, травой и позволить себя забросать мокрым песком, а потом вместе с ним бултыхнуться в воду.

Но он не сопротивляется. Стряхивает мусор со спины и говорит:

— Вставай, проклятьем заклейменный! Галеры уходят в море!

Я молчу.

Снова политика! Он так полон этими проблемами... И чересчур уж рассудителен!

Встаю и ухожу, чтобы переодеться. Гребем назад в Тарту. Медленно взлетают и опускаются весла. На воде образуются водовороты. С весел стекают блестящие капли.

Лодки сталкиваются. Плывут бок о бок. Мы словно в одном челне. Удерживаем его и не даем распасться.

Поем. Тихо, задушевно. Мои чувства, выраженные в пении, переносятся в сердца друзей, а их — откликаются в моем сердце.

Песня — наша традиция. Уже с прошлого лета каждая прогулка по реке меж лугов начинается и кончается песней. Знакомой песней!

Тем-то мне и дороги эти поездки. Всю субботу в ожидании, услышу ли привычный пароль «Лодки!».

Песня смолкает. Лодки отъезжают друг от друга. Парни налегают на весла. Но наперегонки мы больше не плывем. Нас уже не ждут впереди тихие равнины, тайные беседы, песни, купание.

Нас ожидают трудовые будни.

Жаль. От этого становится даже грустно. Но предвку-

щение удовольствия от будущего воскресенья радует сердце и снова тянет на озорство.

Я брызгаю на ребят водой. Они, плеснув веслом, окатывают меня еще сильнее.

На лодочной гавани выясняется, что мы просрочили целый час. Придется доплатить. Подсчитываем и начинаем складывать свои центы, а Оскар тем временем идет и платит за всех нас. И не хочет принимать от нас денег. Отмахивается, словно желая сказать: «Такая пустячная сумма!»

Отчего он так сделал?

Собираюсь с духом и говорю Оскару:

— Пошли вместе!

Он смотрит на меня с удивлением. Он просто ошарашен.

Я никому еще не предлагала себя в провожатые. Такой шаг несвойствен мне.

Приходим к прибрежному бульвару. Говорю Оскару, что он поступил глупо, уплатив за всех нас. Это вызвало отчуждение. Радости этого дня мы все привыкли делить поровну. Во всем. И в центах тоже!

Он останавливается. На его лице отражается неподдельный испуг. Такого выражения я еще у него не замечала.

Впервые вижу, что он не находит слов.

— Но... вот так, да... у меня, у меня бывает больше, чем у других, у матери клянчу для нашего общего дела...

Я гневно отвечаю:

— Может, и больше... Что с того! У Эльмара красивый, звучный голос. Ему, значит, надо тянуть громче, так, что ли? Есть ситуации, когда даже из добрых побуждений перебарщивать не стоит.

Оскар молча идет рядом со мной. Снимает очки. Долго протирает стекла платком, снова надевает. Опять снимает и трет их. Ему, наверное, сейчас иначе нельзя. Возможно, он инстинктивно ищет для себя какой-то деятельности.

Мне становится его жаль. Конечно, он хотел как лучше, ясно, что хотел, но какой-то едва уловимый инстинкт там, на лодочной станции, изменил ему.

Я выкладываю ему все.

Он глядит на меня и с мальчишеской непосредственностью заверяет:

— Вот ведь как нехорошо получилось! В другой раз я этого не сделаю!

Странно. Просто удивительно, как иная фраза, даже слово может обрадовать человека. Ничего особенного как будто и не сказано, а все же...

— Что, в следующее воскресенье снова отправимся? — весело спрашиваю я у него.

— Да-а! Обязательно. Нам надо поговорить еще об одном деле, — отвечает он, вновь оживившись. И, как-то стыдливо глядя в сторону, добавляет:

— И если бы даже не о чем было говорить, то... хотя бы ради нашего пения...

Жгучая волна радости охватывает меня. Я готова обнять его. Та невидимая, тончайшая нить, отделявшая нас друг от друга, наконец оборвалась. И лишь благодаря этой фразе. Просто диву даешься, как мало иногда нужно, чтобы понять друг друга! Почему молодые люди стыдятся нежности и проявляют одну только трезвую деловитость!

Мы еще долго гуляем по городу и болтаем о разном. Никто из нас не предполагает, что в будущее воскресенье среди нас не окажется многих, кто сегодня сидел за веслами. Не будет и самого Оскара, потому что рано утром двадцать четвертого мая тысяча девятьсот тридцать третьего года его арестуют. И на сей раз уже обвинение прозвучит более грозно: участие в нелегальной коммунистической организации ради свержения существующего государственного строя.

В следующее воскресенье прогулка на лодках была печальной.

Ответ тринадцатый

ТОВАРИЩ ПО КАМЕРЕ

Поздно вечером щелкнул замок. Дверь камеры отворили, распахнув ее настежь.

Первой моей мыслью было: «Сейчас поведут на допрос!»

Но нет. Конвоир остановился у порога. На меня не обратил никакого внимания. Смотрел в коридор.

Я понял. Кто-то должен сейчас войти в камеру!

И вошел. Вернее, его втолкнули. Конвоиру не терпелось. Шаги пришельца казались ему слишком медленными. Медленными и нерешительными.

Дверь с грохотом закрылась. Тот, кого втолкнули, стоял у двери. Стоял, не произнося ни слова.

Я узнал его. Но не сразу. Пришлось вглядеться.

То был Оскар.

Лицо его вздулось. Лоб и щеки в ссадинах. Очков не было. Кисти рук в кровоподтеках и распухшие.

Такое приходилось видеть и раньше. Многие так выглядели после допроса. Может, и я... Завтра, послезавтра...

Все это меня не удивило. В охранке нас всегда так обрабатывали. Одного больше, другого меньше. Оскара — до последней степени. В этом можно было наглядно убедиться.

Да, удивить меня всем этим было уже нельзя. Еще при аресте мы знали, что ожидает нас.

Но в его появлении было что-то жуткое. Причина таилась в выражении его лица. Пустой, бесчувственный взгляд. Полная отрешенность. Вернее, отчуждение. Здесь пребывала лишь его оболочка. Сам он находился где-то вне ее. Либо ушел глубоко-глубоко в себя. Его «я» было изничтожено.

Так мне казалось.

Я не отважился произнести ни слова. Не осмелился сделать и шага. Меня удерживал страх. Страх, что тогда с ним может произойти что-то еще более ужасное. Что именно, я не знал. В подсознании возникло это чувство. Совершенно необъяснимое.

Наконец я стал понимать.

Они избили его до помешательства!

Так оно и есть. Это единственная разгадка. Существуют нервные системы, которые таким образом реагируют на боль. Где-то я читал об этом. Читал и удивлялся. И не верил.

Теперь пришлось поверить. Они избили его до умопомешательства! Он может начать буйствовать. Это было бы страшно!

Мы все еще стояли. Оскар у двери. Я у своей койки. Нас разделяло три-четыре шага по цементному полу. Тень Оскара достигала моих ног.

Я шагнул назад. Не мог стоять на его тени.

Наткнулся на стол. Кружка с чаем с шумом грохну-

лась на пол. Этот звук наполнил всю камеру. Мертвенно тихую камеру.

Я оторопел. Но не спускал взгляда с Оскара. Вернее, с того, что от него осталось.

«Теперь свершится!» — пронеслось у меня в голове.

Но ничего не произошло. Оскар стоял, и я стоял. Кружка валялась меж нами. По полу медленно текла коричневатая струйка. От моих ног к Оскару. Отчеркнула тень пополам. Достигла его ног.

Эта струйка словно указывала путь к нему. Я двинулся вперед по этому пути. И встал перед Оскаром.

В камере стоял полумрак. Лишь теперь увидел ясно его лицо. Изменилось оно до неузнаваемости. От побоев и какого-то жуткого внутреннего переживания.

Я тронул Оскара за руку.

Он не вздрогнул. Не сделал ни малейшего движения. Застыл, углубившись в себя.

Теперь я убедился в этом.

Необычайная радость охватила меня.

Человек, сосредоточенный в себе, не может быть сумасшедшим. Здесь что-то иное.

Однако все относительно. Это иное — для него хуже или лучше?

Радость моя улетучилась. Новое беспокойство за Оскара заставило искать причину его состояния. Найти ему название. Но я не находил...

Я сжал его руку.

Может, он только теперь почувствовал мое прикосновение?

Губы его дрогнули. Впервые что-то ожило в нем.

Из распухшего и потрескавшегося рта послышалось невнятное бормотание:

— Не тронь меня!

Своей руки он не отдернул. Не было сил? Или не хотел? Может быть, рука моя все же была нужна ему, подумал я. И продолжал держать ее.

Так мы стояли.

Мои босые ноги ощущали холодный цементный пол. Холод проникал все глубже и глубже. Он уже почти достиг моего сердца.

— Неужели? — закричал я вдруг. Схватил Оскара за обе руки. Потряс его. Изо всей силы.

Он ударился головой о стену.

Лицо его при этом ничуть не исказилось от боли.

Я испугался за свой поступок. И еще больше за свой крик. Я был не в силах поверить. Не хотел верить.

Губы его снова шевельнулись.

Я с жадностью ждал его слов. Ждал одного лишь слова. Слова «нет!». Только и всего: «Нет!»

А Оскар проронил:

— Я тебя предал.

Руки мои опустились. Но я не поверил этому невнятному бормотанию.

«Все-таки он сошел с ума!» — мелькнуло у меня в голове.

Оскар вдруг закрыл лицо руками. Я снова увидел его кровавые подтеки и распухшие запястья.

Так он и прошел мимо меня. Прошел, не отнимая рук от лица, и упал ничком на нары.

Я проводил его взглядом. Он оставался недвижим.

Опираясь руками о стену, добрался я до своих нар, присел на край. Ноги закоченели. Поднял их на лежанку и повалился на бок.

Посмотрел на окно. Только что пережитая сцена казалась мне невероятной. Невероятной и неправдоподобной.

Реальным был только этот зарешеченный квадрат. Он тускло алел над моей головой. Какой-то неясный свет пробивался извне в камеру. Но дальше решетки не проникал.

Что бы это могло быть? Луна? Фонарь? Прощальные отблески летнего неба?

Бессмысленные и никчемные рассуждения, но я принуждал себя к этому. Я боялся того, что было невероятным. Не хотел думать о нем.

Но не мог избавиться от назойливых мыслей.

Невероятное и неправдоподобное заполнило меня целиком.

Я весь съежился. Подтянул колени к подбородку. Обхватил ноги руками. Закоченелые ноги.

«Что он обо мне рассказал?» — подумал я со страхом.

Я испугался. Значит, я верю его словам! Я не считаю его сумасшедшим! Я верю в невероятное!

Вдруг мне захотелось, чтобы он вымолвил хоть слово.

Я прислушался. На противоположных нарах было тихо. Даже дыхания не было слышно...

Я позвал его.

Ответа не последовало.

«Что случилось? Почему он не отвечает? Почему не слышно его дыхания?» — с беспокойством думал я.

Теперь мне надо было бы встать. Встать и подойти к нему. Дотронуться до него.

Я знал, что должен это сделать. И все же не сделал. Что-то удерживало меня. Нечто необъяснимое. Я не осмеливался найти этому названия. Не осмеливался, потому что знал: найти его слишком уж просто.

Вскоре послышался шепот Оскара. В нем звучала настоятельная просьба.

— Позволь, я все расскажу тебе...

И я услышал, как он заерзал на своей лежанке.

— Говори! — ответил я резко. Резче, чем хотел бы. То необъяснимое и подсказало мне интонацию. То, в чем я не отважился признаться себе. Не отважился или не захотел.

История Оскара оказалась вот какой.

Ранним утром в его квартире появились агенты политической полиции. Обыскали помещение, ничего не нашли. Оскара арестовали и забрали с собой.

Потом поместили в карцер. В крохотную каморку без окон. Держали там до полудня. Есть не давали. Затем повели на допрос.

С самого начала Оскар отказался отвечать.

Следователь обозлился. Начал сыпать непристойными словами. Грозил поговорить по-иному. Обещал показать на деле, что такое резиновая дубинка.

Оскар продолжал молчать.

Следователь схватил револьвер, поиграл им у самой груди Оскара. Сказал, что пристрелит его как паршивого пса. И пусть он, Оскар, не думает, что это только угроза. Такое случалось здесь и раньше. А потом он объявит, что арестованный пытался бежать. При попытке к бегству каждому положено влепить пулю. Подумаешь, одним красным меньше или больше...

Но и тогда Оскар продолжал стоять на своем и отказался отвечать на любой вопрос.

Следователь рассвирепел. Начал дубасить его кулаками по лицу. Оскар старался уклониться, отвести удары.

Следователь схватил Оскара за руки, чтобы заломить их за спину и надеть наручники.

Мужчина он был высокий и крепкий. Значительно сильнее Оскара. И руки Оскара вскоре очутились за спи-

ной. Зазвенели наручники, и Оскар почувствовал холод металла.

Руки в наручниках, за спиной — значит, человек совершенно беззащитен.

Оскар боролся из последних сил. Он начал кричать. Звать на помощь.

В дверь ворвались двое мужчин. Они швырнули Оскара на стул. Один из них зажал пятерней Оскару нос и рот. Оскар сопротивлялся, но тех было трое. Не хватало воздуха, он задыхался. Мускулы его ослабели.

Ему заломили руки за спинку стула и надели на них наручники.

Помощники следователя удалились.

Оскару задали вопрос. Оскар не ответил.

Следователя вновь охватила необузданная ярость. Он дубасил Оскара по лицу, куда попало. Задал вопрос. Ответа не последовало. Снова начал молотить... Опять спросил. Ответа не было...

Так продолжалось долгое время.

Оскар был почти без сознания.

Тогда его снова отвели в карцер. Руки все еще были за спиной и в наручниках.

В карцере он пробыл до вечера. Избитый, с окровавленным лицом. Наручники сильно жали, кровообращение было нарушено. Кисти рук невыносимо ныли.

Вечером Оскара снова потащили к следователю.

Следователь заявил, что дневной допрос был сущей чепухой. Только теперь Оскар убедится, что бывает здесь с теми, кто молчит.

Вопросов не задавали. Сразу началось избиение. Яростнее прежнего.

Ни одного вопроса. Только удары.

Боль стала невыносимой. К тому же сутки голода. От закованных рук чувство полной беззащитности. Угрозы. Страх перед более изысканной пыткой. Боязнь сойти с ума, стать калекой. Смолоду превратиться в инвалида...

Это сыграло свою роль.

В голове все смешалось.

Боль. Отчаянная боль.

Вдруг что-то переломилось в нем.

Оскар заявил, что видел у меня список распространителей рабочей печати. Видел карту Эстонии с пометками, нанесенными карандашом. Видел и тетрадь с политическими стихами.

Следователь спрашивал. Оскар поддакивал.

Потом его отвели сюда, в камеру.

Оскар замолчал.

На полу чернела невысохшая чайная лужица. В ней отражался тусклый свет лампочки под потолком.

Ноги мои согрелись, но на душе было холодно.

С противоположных нар виднелось лицо Оскара.

Он ждал ответа. Ждал моего решения. Какой я ему судья! Где граница моей выдержке? Это выяснится завтра. Послезавтра. Сегодня был черед Оскара.

Предатель ли он? Сдался, не снес мучений. Не выполнил неписаного закона: в охранке надо молчать. Что бы ни было — молчать. А боль, а страх, эти неизведанные величины? Величины, для которых не существует определенной мерки. В состоянии ли они уничтожить этот неписаный закон? Нет, почему же! Закон существует. Он должен сохраниться. Но натуры людей отличаются друг от друга. Один боится смерти, а не боится страданий. Другой сникает под ударами, а самое страшное презирает. Презирает смерть.

Кто может здесь быть судьей? Я? О-о, нет! Наверное, никто! Формально могут. Многие. Даже я. А по существу? В каждом отдельном случае?

Я зашел в своих мыслях в тупик.

Начнем с другого. С конкретной ситуации.

Что он предал? Исходя из данного положения. Именно этой конкретной ситуации.

Бумаги отняли у меня при обыске. Охранка знает, что они существуют. Так кого же Оскар предал? Подтвердил то, что следователю и так уже известно.

Но погодите! Оскар ведь не знал, что следователю это известно. Или он все же догадывался об этом? Догадался по его вопросам?

А если бы спросили о чем-нибудь ином? Более важном, секретном? О коммунистах-подпольщиках? Оскар и тогда бы поддакнул? Подтвердил или нет? Что значимость этих вопросов и ответов вселит силы, чтобы выдержать мучения? Вселит или нет? Если рассуждать теоретически, то вселит. А на деле? Под градом ударов, под страхом удушия, на грани умопомрачения?

Снова я оказался в тупике со своими рассуждениями.

На противоположных нарах белело лицо Оскара.

Он ждал.

Ему еще не было двадцати лет. Это его первое настоя-

щее испытание. И первый страх перед тем, что он не сможет устоять на избранном пути. Страшное, наверно, чувство.

Он ждал. Что я ему отвечу?

Вдруг у меня в голове возникла новая мысль!

А к чему весь этот допрос, мучения, побои, угрозы? К чему, если они не пожелали узнать ничего нового?

В связи с этим вспомнился другой случай. Эльмара вызвали в охранку. Поговорили о том, о сем. Ничего такого особенного. Спрашивали деловито, даже вежливо и мягко, только долго и подробно. Несколько часов ушло на это.

И в конце концов — Эльмару вручили десять крон! За то, что, мол, лишили его дневного заработка. Эльмар протестовал. Ему объяснили, что подобное возмещение убытка вполне обосновано и даже предусмотрено законом.

Эльмар, юнец, почти мальчишка, поверил им и принял деньги. Пришел и рассказал нам, своим товарищам, что с ним случилось.

Мы почуяли недоброе. Угадали коварный замысел охранки.

И оказались правы.

Политическая полиция всегда пыталась заслать к рабочим своих агентов. Бывали и такие типы в то время. Тут сказанет, там фразу бросит. Так намекнет и этак. И пошли толки, что Эльмар предатель, ведет двойную игру. Активист рабочего движения, а на самом деле агент охранки. И деньги за доносы получает! Последняя мзда — десять крон.

Нашлись легковерные. Эльмара чуть не исключили из союза.

Порой хитро сплетенная ложь кажется подлинной правдой.

Вот рабочее движение и лишилось бы одного из своих активистов. Ревностного и перспективного его руководителя.

А шпики потирали бы руки. Не так уж было много таких активистов. Каждая светлая голова была на вес золота.

К счастью, дальновидных оказалось больше. Парень написал все без утайки о подлых приемах охранки.

И теперь такая же история с Оскаром? Уместно ли здесь проводить параллель?

Человека уломали при первом же серьезном столкновении с охранкой. Его, конечно, засудят. А по городу пойдет слух: предатель!

Оскар выйдет из тюрьмы. Освободится и захочет действовать дальше, иначе и быть не может. Захочет действовать, а свои начнут коситься. И снова рабочее движение лишится одного из перспективных работников.

О да! В политической полиции сидели не одни держиморды. Там работали и люди с головой. Как-никак опора буржуазного правительства. Во всех смыслах. И в смысле силы и хитрости.

Наконец я в своих рассуждениях пришел к какому-то выводу.

Хватит ли моих доводов, чтобы ответить Оскару? Я верил, что хватит. Так или иначе, он оказал услугу охранке.

Теперь только я заметил, что ясно вижу его. Его широко открытые глаза. Неужели их взгляд всю ночь неотрывно следил за мной? Наверняка так и было!

Я видел его руку. Она свисала с нары. Сизая, распухшая рука. Кровавые подтеки обрамляли кисть.

Настало утро. За решеткой начинался день. Чайная лужа подсохла. Кружка валялась возле пар.

Неужели я так долго думал?

А Оскар ждал.

Медленно тянулись часы. Очень медленно. И для него, и для меня...

Я поднялся с нар, спустил ноги на пол.

Оскар сделал то же самое. С усилием, стиснув зубы. Щеки его подергивались. Руки вцепились в край нар.

Он не отрывал взгляда от моего лица. Жадного взгляда.

Отчужденность прошла, и все его чувства были как бы выплеснуты наружу. Словно разложены передо мной.

Но толком я не понимал их.

Успел ли он уяснить для себя все? Или не успел? Ждет от меня подтверждения? Или моего приговора?

Я начал серьезно:

— Ты не выдержал. Это плохо. Очень плохо!

Я слышал свой голос, нарушающий тишину камеры.

— Но у тебя все еще впереди. Все зависит от того, как ты станешь жить дальше...

Я замолчал. Мне было стыдно за свои слова. Они были правильные. Но не так следовало мне говорить с ним! Это были фразы. А он ждал иного. Фразы, известные и

ему самому. Он ждал, чтобы я его бичевал, будоражил, утешал. Высмеял бы, судил и простил. Он ждал слов, идущих от сердца к сердцу, какими бы жестокими они ни были.

Рассердясь на себя, я крикнул ему в лицо:

— Что ты уставился на меня! Как грешник на Иегову!

И снова замолчал. Мне стало стыдно.

Но во взгляде его что-то мелькнуло. Была ли это разрядка? Во всяком случае, я на это надеялся.

Потом мы говорили. Вернее, говорил я. Он слушал. Он только слушал.

Выложил ему все, что передумал ночью. И о том, как и я попадал в тупик.

Между нами не должно было оставаться ничего недосказанного. Это доставило бы нам мучение. Ему и мне. Ясность, одна только ясность была необходима нам. Истинная и жестокая правда.

Вскоре меня повели на допрос. Он длился долго. Под вечер я добрался до своей камеры.

Оскар лежал на нарах. Я видел, что он не дотронулся до пищи.

Оскар дал мне напиться. Я сразу заснул.

Очнувшись, увидел, что завтрак у него тоже остался нетронутым. Миска с чаем, две салаки и несколько картофелин.

Все было ясно. Он объявил голодовку.

Около полудня пришел прокурор. Спросил, почему Оскар не ест. Какие у него претензии? С ним плохо обращаются?

В сердце закрался страх. Понимает ли Оскар эту подлую игру?

Но я тут же облегченно вздохнул. Понял! Сразу же понял!

— С моими руками, лицом и всем телом творится что-то неладное! — простодушно ответил Оскар.

— О-о! — протянул прокурор с озабоченным лицом. — Вас били! И у вас есть свидетели?

— Оставим этот разговор! — коротко отрезал Оскар.

— Почему же? Я не понимаю вас, — продолжал прокурор разыгрывать роль доброго дядюшки.

— Не хочу, чтобы мне увеличили срок за ложные показания на политическую полицию! — отрезал Оскар.

— Так почему же вы отказываетесь от пищи? — спросил прокурор разочарованно.

— Я требую, чтобы политическая полиция прекратила эти допросы! — выпалил Оскар.

Прокурор удалился. Видно, недовольный. Заключенный не клюнул на приманку. Не пожаловался. А если бы пожаловался, все обернулось бы для них удачно. Жалоба без свидетелей равносильна ложному показанию. Клевета на полицию карается по существующим законам.

На следующий день Оскара увели. Политическая полиция сделала свое дело. Его ждала теперь подследственная тюрьма. От произвола охранки он избавился. Произвола и самоволия. По крайней мере, на этот раз.

Мы стояли на том же месте, где и позавчера вечером. Оскар у стены возле двери. А я против него.

Между нами не было никаких «но». Накануне мы еще о многом переговорили.

— Счастливо! — сказал я ему. — Желаю удачи!

Я верил в него. Тягость его переживаний подтвердила это. Подтвердил и позавчерашний страх перед самим собой. И то, что он молча слушал меня.

— Счастливо! — отозвался он. — Желаю удачи!

Я почувствовал, что он снова верит в себя. Это было главное.

Дверь за ним закрылась.

Я бросился на нары. Меня ожидали еще допросы. Сколь велики границы моего терпения?

Некоторое время спустя Оскар написал судебному следователю объяснение. Длинное, на четырех листах. Там он подробно сообщал, какими методами его допрашивали. В нем он отклонил все свои показания. И объявил, что они были вызваны нечеловеческими пытками.

Ответ четырнадцатый

БЫВШИЙ ТЮРЕМНЫЙ НАДЗИРАТЕЛЬ

Да, об этом молодом человеке я и впрямь могу составить для вас кое-какую памятную картину. Но прежде надобно растолковать, как было дело. Не то скажете, почему это тебе все так крепко запомнилось, сам ведь вроде бы одной ногой уже в могиле.

Судьба моя была очень даже диковинной.

Я в своей жизни убил человека. Но не по злобе или из ненависти, а просто случай лихой подвернулся. Мне и наказания-то судом не назначили. В молодости, однако, я был больно чувствительным и душевные муки не покидали меня. И когда я уже порядком настрадался, какой-то голос подсказал мне, чтобы шел я в тюрьму к этим несчастным заключенным искупать свою вину. И чтобы сеял в их сердцах добрые семена и открыл им глаза на красоту жизни.

Итак, я нанялся в тюремщики. Исправно помечал в дневнике все, что видел, что делал и говорил заключенным. Вообще я все время вел дневник, с самого детства и до сегодняшнего дня. Великое множество толстых тетрадей у меня исписано.

В одной из них немало сказано об арестантах и, конечно, об этом молодом человеке, которого звали Оскаром.

Я тут сейчас немного полистал и те места, где говорится о нем, заложил бумажками.

Теперь можете не сомневаться: все, что вам поведаю, — истинная правда.

То был юноша с приятным светлым лицом, и кому пришло бы в голову заявить:

— Этот человек подстрекает других людей на свержение строя, назначенного свыше. Подбивает их к насилию и революции, что все одно только убийство.

В те времена я так думал, и понятий этих вам навязывать не собираюсь, потому как сейчас я, слава господу, думаю совершенно иначе. Все от бога, но теперь он воистину ниспослал нам более справедливый строй.

Все думы и чувства мои не так уж существенны для вас, чтобы мне их здесь выкладывать. Потому в дальнейшем буду рассказывать только об Оскаре все, что сохранила моя старческая память и что помечено в дневнике.

В тюрьме он просидел всего лишь два года, а в карцере отсиживал за это время целых семь раз. Другого такого неподатливого заключенного, то и дело протестующего против тюремных порядков, я не упомню.

Смотрите, вот здесь, на этой странице моего дневника, записано:

«Сегодня этот молодой арестант, придя в библиотеку, сказал помощнику начальника тюрьмы:

— Мне нужен лист писчей бумаги!

А помощник начальника тюрьмы ответил, что заключенный, находясь в тюрьме, обязан просить, а не требовать. Это, дескать, ему уж не раз объясняли.

Оскар на это не ответил ни слова. Стоял молча и с неприязнью поглядывал на помощника начальника.

К нему снова обратились:

— Ну что же, вы просите или все еще требуете?

На что Оскар очень даже высокомерным тоном отчеканил:

— В Эстонии несколько сот политзаключенных. Ни один из них не просит, а требует. Так же и я. Дайте мне лист писчей бумаги!

Тогда помощник начальника тюрьмы назначил ему семь дней карцера.

Следует добавить, что только всего несколько дней тому назад он уже отсидел в карцере. В тот раз ему пришлось пробыть в этом мрачном помещении три дня. Причина была такова: во время прогулки он попытался передать записку одного политзаключенного другому».

Вот видите, это я пометил в своем дневнике около сорока лет тому назад.

Ну а теперь посмотрим, что записано в другом месте. Сейчас зачитаю вам:

«Позавчера этот молодой человек снова был наказан. Опять ему предстоит семь дней промучиться в карцере за свое «наглое и вызывающее действие по отношению к тюремному надзирателю». Так было сказано в приказе начальника тюрьмы.

Надзирателем этим был я, и вся эта история происходила так.

Начальник отдал распоряжение, если Оскару принесут передачу, ни за что не принимать ее. Он, мол, не подчиняется тюремному распорядку, и пусть это послужит ему уроком, может, одумается, если придется посидеть на тюремном рационе.

Приказание я выполнил. И принесенную ему передачу не принял. На что Оскар сильно разгневался и потребовал вызова начальника.

Я пытался успокоить и вразумить его. Пусть одумается. И не навлекает на себя нового наказания. Но он мои слова в расчет не взял. Заявил, что это произвол над заключенным, придуманный начальником, с тем чтобы сломить его волю.

И мне ничего не оставалось, как пригласить начальника. Тот решил: так и быть, пусть заключенный получит свою передачу. Но тут же распорядился посадить Оскара в карцер».

Причину наказания и сколько он там пробыл, вы знаете. Об этом я уже раньше вам зачитал.

Таким образом, Оскар все-таки лишился своей передачи, потому как в карцер доставляют только хлеб да воду и лишь на каждые четвертые сутки миску теплой похлебки.

По-моему, это был очень жестокий поступок со стороны начальника.

«Сегодня к нам пожаловал государственный инспектор с ревизией. Он и карцеры проверял. Я в ту пору оказался рядом, когда он велел открыть камеру, где сидел Оскар.

Оскар тут же заявил, что желает обратиться с устной жалобой на начальника тюрьмы. И выложил инспектору всю историю этаким гневным и резким голосом. Указал и на меня, что, дескать, и я пособник этого дела.

А инспектор ответил, что правильно сделали, посадив такого в карцер, свидетельством тому служит его поведение и весь его разговор».

Сами видите, какой неподатливый характер был заложен в этом молодом человеке. Он ничуть не берег себя, все только противился, и словом и делом. Вчера я снова перечитал свой дневник. И убедился, как он, бывало, даже нас, надзирателей, пытался одурачить, обвести вокруг пальца.

И эту запись я тоже сейчас вам зачитаю:

«Согласно приказу коридорный проверил через смотровое окошко одиннадцатую камеру. В ней, как известно, заключенным запрещено курить. Но один из них, то был Оскар, как раз свертывал самокрутку. Надзиратель вошел в камеру и отнял у него ее. При проверке выяснилось, что то были сухие березовые листья, завернутые в клочок газеты. Не иначе как заключенные принесли их тайком из тюремной бани.

Минутой позже надзиратель снова заглянул в смотровое окошко. Камера была вся до потолка в синих клубах, Оскар восседал на краю нар и дымил как паровоз.

Когда надзиратель вошел, Оскар и не подумал погасить самокрутку и прекратить курение.

Надзиратель тотчас же приказал отдать спички, при-

несенные тайком в камеру. Оскар заявил, что им спички вовсе не нужны. Здесь курильщики могут выбить искру отовсюду, даже из глаз какого-нибудь любопытного.

Тогда Оскару снова назначили карцер. Он бросил начальнику с некоторой издевкой, что под словом «курение» подразумевается курение табака. Это каждому известно. И если в камере запрещено курить, так только табак. А вот курить березовые листья он еще не слыхал, чтобы запрещали. В противном случае надо уточнить тюремные правила. И лишь потом наказывать. Сейчас же это просто произвол!»

Вчера, перелистывая свой дневник, я обнаружил, что у меня слово в слово выписана жалоба Оскара министру юстиции. Помню, она была вшита в его судебное дело, а так как я проявлял к заключенным особый интерес, служащий канцелярии разрешал мне читать судебные дела заключенных.

Оскар так написал министру юстиции:

«Новый устав об аресте и внутренний распорядок в тюрьмах намного ухудшили положение заключенных. Нормы продуктов, получаемых из дому, крайне малы, и передачи разрешаются чрезвычайно редко (в особенности для подследственных). Ввиду этого заключенный не получает питания, необходимого организму...»

Ради ясности должен заметить, что новый закон, о котором пишет Оскар, устанавливал для заключенных особые разряды. За послушание и усердие повышали в разряде. Тогда заключенный получал незначительную льготу, только я не помню, что она в точности собой представляла. И в дневнике об этом, к сожалению, ничего не помечено.

Теперь прочту вам дальше:

«И свидания с родственниками, и частную переписку разрешают крайне редко (в особенности для подследственных). С системой разрядов примириться не могу, ибо никакого преступления не совершал и мне нет надобности заниматься самоисправлением по установленной вами системе. По сию пору я занимался пропагандой марксизма, и преступлением это не считаю.

Так же неприемлем мне тюремный принудительный труд, потому как после долгого пребывания в тюрьме при здешних нормах питания я вообще не смогу работать, к тому же я в принципе противник принудительного труда...»

Прошу простить, что снова прерываю чтение. Мне хочется для ясности кое-что добавить от себя.

Тюремный рацион тогда был таков: утром чай, салака, картошка и порция хлеба на день. К обеду жидкая похлебка. Вечером снова салака, или каша, или картошка и чай.

На суточный рацион было отпущено двадцать семь центов.

Нынче у нас деньги иные, и, может быть, центы сейчас вам ничего не говорят. Но если я эти двадцать семь сопоставлю с другой цифрой, то положение с питанием заключенных станет для вас понятнее. Итак, на суточную тюремную пищу заключенного тратилось двадцать семь центов, а на питание полицейской ищейки было отпущено пятьдесят пять центов!

А теперь дочитаю это письмо Оскара:

«Требую, чтобы по отношению ко мне не применялись система разрядов и принудительный труд и чтобы все предписания и нормы, касающиеся продуктовых передач, свиданий с родственниками, частной переписки и получения газет, остались бы прежними.

С сегодняшнего утра я объявляю голодовку до тех пор, пока мои требования не будут удовлетворены».

Вот так, слово в слово я переписал в свой дневник это заявление.

Но министру юстиции его не переслали. Начальник собственноручно наложил в верхнем углу свою резолюцию: если подобный случай повторится, заключенный будет строго наказан.

Так все и вышло. Из моего дневника явствует, что вскоре Оскару опять назначили семь дней карцера за то, что он представил судебным органам порочащую тюремный устав жалобу. Верно, это было новое и еще более хлесткое заявление Оскара.

Теперь сами видите, что мой дневник для нас благо, возрождающее в памяти прежние годы и давно прошедшие события.

Обнаружил в нем записи и о том, как я пытался завести сердечные беседы с заключенными, в том числе и с Оскаром. Начинал я с ним эти беседы по многу раз, но у этого молодого человека сердце было твердое как камень. И я не находил слов, чтобы повлиять на состояние его духа.

Одну из таких записей я отметил и желал бы вам зачитать ее:

«Сегодня должен был проводить этого молодого человека в Таллинскую судебную палату, чтобы он ознакомился с каким-то актом. Надел, как всегда, на него наручники, и черная закрытая машина отвезла нас на вокзал. В арестантском вагоне мы уселись возле окна, друг против друга.

Поглядел я на него и решил: попытаюсь-ка еще разок поговорить с ним по душам. Больно жаль мне его стало, столько он намыкался, натерпелся из-за своего упрямства.

Рассказал ему коротенько, как стал я тюремным надзирателем. Уж очень верил и надеялся, что чудесный случай со мной заставит и его задуматься о духовном начале, которое руководит нашими поступками и доставляет нам душевный покой.

Он уставился на меня, словно на какое-то заморское чудище. Потом пожал плечами так, что даже наручники звякнули у него, и сказал:

— Вы и меня хотите обратить в веру? Не стоит труда!

— Нет, не хочу! — промолвил я. — Хотя такая перемена в вашей душе преисполнила бы мое сердце радостью. Я хочу направить вас на добро!

Он все еще продолжал странно глядеть на меня, словно не понимая, что мне от него надо.

— Но я же всегда ратовал за это же, чтобы и угнетенным жилось хорошо! — ответил он гневно.

— А я имею в виду сердечную доброту... — начал я было пояснять свои мысли, но он жестоко обрезал меня, воскликнув:

— А разве это не сердечная доброта, если думаешь о благости других?!

— Но благости этой вы хотите добиться силой! Ценою крови и убийства! — попытался я возразить ему.

— Государство без конца применяет силу против рабочих! — закричал он и, подняв свои руки, сцепленные наручниками, потряс ими.

Всю дорогу я толковал ему о добре и зле. Но оказался бессильным хоть самую малость внушить ему свои мысли. Я так и не смог хоть чем-то привлечь его на свою сторону. Отчего же мои слова оказались столь слабы и немощны? Как же мне искупить свой грех?»

Такой печальной фразой я и закончил свою тогдашнюю запись.

Ну что же мне ещё зачитать вам? Может, толику из того, чем однажды закончилась наша беседа?

Она записана у меня, и вот выдержка из нее:

«Оскар в ответ покачал головой и произнес, что такого человека, как я, долго в тюремных надзирателях не продержат».

И поди ж ты, верно! Так все и случилось!

Начальник тюрьмы вызвал меня в свой кабинет и объявил, что он во мне больше не нуждается. Я, дескать, для такой должности человек слишком мягкий. Своими ласковыми уговорами я порчу всех политзаключенных. Дабы их держать в подчинении, существуют только три средства: беспощадный каторжный труд, каменный мешок и лучшее из лучших — расстрел.

Великая радость и спокойствие вселились в мое сердце, когда начальник рассчитал меня. Я знал, что не он решал мою судьбу, а это сам всевышний направлял его. Перед всевышним я свою вину искупил. Я от всей души старался тронуть разум и сердце бедных заключенных, и Иегова видел, что я по своим скромным силам сделал все, что мог, потому и вразумил начальника тюрьмы, чтобы тот отпустил меня из этого скорбного места.

Но Оскар еще долго занимал мое воображение. Он был, безусловно, сильнее меня, ведь я мог поверять свои заботы и горести всевышнему, а он отталкивал его великую помощь. Оскар надеялся лишь на товарищей и самого себя и черпал оттуда неслыханную силу.

Ответ пятнадцатый

СОУЧЕНИЦА

Однажды вечером к нам зашел Оскар. Улыбка во все лицо. Здрасьте, мол, как поживаете, сунул ребятам кулек с леденцами, пальто повесил на вешалку... Держался просто, словно только вчера с нами виделся. А ведь прошло уже больше года с тех пор, как мы сидели вдвоем и беседовали. Больше года. Я чуть было не кинулась ему на шею. Но опомнилась вовремя, а вдруг муж обидится...

Освободившись из тюрьмы — то было в апреле тысяча девятьсот тридцать пятого, — Оскар год пробыл в Тал-

лине. Потом ему запретили там жить. Но он не пал духом, а, стряхнув столичную пыль, приехал сюда, в Хаапсалу, к дяде. Здесь его вскоре упекли за решетку. Он якобы распространял слух, что в охранке человека избили до умопомешательства. Высшие чины взбеленились. Объявили, что это клевета, а клеветника следует наказать. Так вот Оскар и познакомился с хаапсалуской тюрьмой, просидев там два месяца.

Кончился этот вынужденный «отдых», и Оскара призвали в армию отбывать воинскую повинность. Он и нам прислал парочку весточек. Откуда-то из Выруского или Печорского края.

А теперь мы, значит, снова свиделись!

Волосы у него еще не отросли, топорщились ежиком. Лицо сияло, быстрый взгляд скользил по комнате. А сам сдержанный, в общем, все тот же Оскар. Никогда у него не было ни бездумного смеха, ни надутой физиономии.

Я и муж готовы были забросать его вопросами о жизни в армии. Но Оскар был скуп на слова, отвечал кратко, мол, не так уж там было и скверно. Работой не замотали. Зрение у него, дескать, слабое, поэтому больше посылали по хозяйской части.

Сказал, а сам взял да уселся на пол. Принялся с ребятишками моими дом возводить из кубиков. Да еще с каким увлечением. Ничуть не ради фасона. Дети и не думали звать его. Стеснялись чужого. Стояли, открыв рот и вылупив глаза. Он сам пошел поиграть с ними. Словно у него руки чесались!

Смотрела на него и думала, вот кому бы стать учителем. Да, в нем есть искорка. Иной парень в его возрасте чуждался бы детей. А он нет. Ему такая профессия в самый раз. Я еще и раньше это замечала.

Спросили, что же он думает делать у нас, в Хаапсалу.

Ответил, что у него с дядей договоренность: будет работать в его ателье подручным. И жить будет у него.

Я знала, что занятие это Оскару по душе. Будучи еще мальчишкой, он часами просиживал в семинарской фотолаборатории.

В этом смысле с дядей ему повезло! Все-таки мастер-художник, щелкает не только на свадебных пирушках и физиономии для паспортов. Его фотоэтюды, развалины замка и виды природы были очень даже поэтичны. Смотришь на них, и глаз отдыхает. У такого мастера стоило кое-чему поучиться.

Мой муж вдруг спросил, что ж, Оскар решил теперь покончить с этими крамольными делами? Захотел пойти по стопам дяди?

Фирма его дяди процветала. У него был свой дом, автомобиль и личный шофер. Не каждому по карману такая роскошь.

Помню, как Оскар, услышав слова мужа, закусил губу и поглядел на нас исподлобья. Сидя на полу с детьми, он уставился на нас, словно что-то соображая. Мой сынишка уже теребил его за рукав, дескать, дяденька, башню достроить надо.

А Оскар все сидел, подбрасывая кубик в руке, но так ничего и не сказал. Снова отвернулся и принялся доделывать башню.

Мой муж решил, что Оскар обиделся. Вроде бы над ним посмеяться захотели: мол, парень после всех гонений и скитаний по тюрьмам хвост поджал. Подошел он к Оскару, похлопал его по плечу и заверил, что в мыслях не имел зубоскалить над гостем. Просто так поинтересовался.

— Дядя тоже задал мне этот вопрос, — заметил Оскар, нахмурившись, — а я промолчал. И вам ничего не отвечу. Уж не гневайтесь на меня!

А мы и не сердились! Знали его хорошо. Он и раньше не позволял совать нос в свои дела. Попросту отмалчивался, когда спрашивали.

А я рассуждала про себя: нет, не оставит он своего «подстрекательства», свою «борьбу за рабочих», как называли тогда эти дела в известных кругах. Наверное, он и здесь... Только потихоньку, осторожно. Не в полный голос, не на прежний лад. Сделает вид, что и думать забыл... Хотя бы поначалу, пока полиция еще следит за ним.

Должно быть, и у Оскара были свои учителя и советчики. Возможно, надоумили: не лезь, мол, очертя голову. Снова за «шведские шторы» упекут. А он ведь парень образованный, такого следовало беречь! Из высококвалифицированных кадров, как принято говорить теперь.

Перед уходом Оскар вскользь спросил, есть ли у нас велосипед. Хочет, мол, прокатиться в деревню. Полюбоваться ляэнемааским можжевельником. Дядя снабдит его фотоаппаратом. Вдруг он, Оскар, набредет на какой-нибудь красочный пейзаж?

В нашей семье никто на велосипеде не ездил, хотя в сарае и валялся один давнишний ржавый драндулет.

Я сказала Оскару, может, он что-нибудь из него и соорудит толковое. Пусть забирает, исправит его и оставит себе.

Оскар согласился и пошел, катя рядом велосипед.

Это было, кажется, сутки спустя.

С утра крапал дождик... Я как раз шла с работы и вижу: Оскар едет на велосипеде.

У меня даже глаза на лоб полезли. Из нашего старого остова получился приличный самокат. Правда, он весь был облеплен грязью, но все же намного новее... Никель сверкал, и лак блестел. Звоночек появился на руле.

— Выходит, при случае тебе еще можно вручить какое-нибудь старье. Совсем обновил. Я и не думала, что у тебя и на такое дело сноровки хватает! — выложила я ему вместо приветствия.

— А ты не смейся! — улыбнулся Оскар. — Твой велосипед приказал долго жить. Добрые люди мне другой одолжили. Не то пришлось бы тащиться пехом!

— Куда же ты ездил? — спросила я, оглядывая Оскара с ног до головы. Его забрызганные грязью брюки и велосипед свидетельствовали о длинном пути. Даже на футляре фотоаппарата виднелись брызги грязи.

— Да верст сто отмахал! — заверил Оскар.

Я покачала головой и воскликнула:

— В такой-то дождь! Вот уж охота пуще неволи! Чего ж ты краше погодку не выбрал... Разве время сейчас снимки делать и любоваться природой!

Оскар завозился с велосипедом и буркнул, что погодка и верно сыграла с ним злую шутку.

Я тотчас же смекнула: здесь попахивает не просто увеселительной прогулкой. Пусть фотоаппарат и висит на плече. Может, где-нибудь и щелкнул разок, другой. Но цель поездки была наверняка гораздо серьезнее. Возможно, развозил листовки. Или проводил тайное собрание. Мог и специально встретиться с кем-нибудь... Много ли я знала об этих делах? Разве то, что попадалось в газетах «Пяэвалехт» или «Ваба маа». В них подпольщиков чернили напропалую — не поймешь, где правда, а где обман. Большинство из тех газетных историй были такого содержания, что Оскара даже на порог пускать не следовало. Его именем впору только детей пугать.

Снова миновали недели. Оскар вечерами часто бывал у нас. Извинялся за беспокойство и говорил, что у него с дядиной семьей нелады. Каждый божий день перемыва-

ют соседям косточки. Ему это ох как осточертело. К тому же ни почитать, ни языками заняться не удается. Глаза от работы устают, даже букв не разберешь.

— Неужто языки изучаешь? — не поверила я своим ушам. — И английский тоже?

Последняя фраза невольно у меня сорвалась. Я помнила, как Оскар в семинарии мучился с английским. Сколько раз мы вместе писали упражнения и бились над произношением, чтобы оно не резало слух учителю.

— Вот так да! Ишь что вспомнила! — засмеялся Оскар в ответ. Но тут же помрачнел и заметил, что в детстве человек бывает глуп как пробка. Вспомнить стыдно. Лень, видите ли, изучать языки! Поэтому, еще сидя в тюрьме, он старался исправить свой порок детских лет. Взялся за русский, немецкий и английский... И костил себя последними словами, что в школьные годы не оценил их важность. Знания у него оказались такими скудными, что от отчаяния хоть волосы рви на себе...

— Ну, скажем, ты и одолел бы их... Только к чему тебе языки там, в фотолаборатории? — прервал нашу беседу мой муж.

Оскар пропустил насмешку. Но то, что она пришлась ему не по душе, видно было по его лицу. Он нахмурился и сухо возразил, что ведь читают же люди книги на иностранных языках.

Я невольно подумала о политической литературе.

Однажды вечером мы снова ждали Оскара, но в этот раз он не явился. Наши знакомые из деревни написали, чтобы господин фотограф соблаговолил приехать к ним и запечатлеть какое-то семейное торжество. Мы намеревались эту просьбу передать через Оскара. Тогда мне не пришлось бы самой идти в ателье.

Уже совсем стемнело. Не на шутку забеспокоилась. Не ночью же мне будить фотографа, возможно, что все они рано ложатся спать.

Я надела пальто и пошла. Дорóгой подумала, что на сей раз Оскар и впрямь заслужил головомойку: обещал прийти, а сам и носа не кажет.

На окнах фотоателье висели плотные занавески. Сквозь них брезжил слабый свет. Я постучалась в дверь. Долго ничего не было слышно. Наконец до меня донесся голос Оскара: «Кто там?»

Он впустил меня в канцелярию. В эту минуту дверь ателье от сквозняка чуть отворилась. Хотя в ателье и

царил полумрак, я увидела, что там было много народу. Все сидели вокруг стола, а на столе стояли керосиновая лампа и стаканы с чаем.

— Что у вас тут за пирушка? Позови-ка своего дядю! — не очень любезно бросила я ему. Об этом сборище я ничего особенного не подумала. Ведь могли же быть и у фотографа гости.

— Дядя с женой уехали. Возвратятся завтра утром. А тебе что надо? — выпалил Оскар единым духом.

Я рассказала, в чем дело. Он пообещал передать завтра дяде заказ.

Дверь в ателье Оскар сразу притворил. Но во время нашей беседы я, наверно, то и дело с любопытством поглядывала на нее. Потому что в конце нашего разговора Оскар как бы невзначай заметил:

— Собрались знакомые ребята.. Время так веселее бежит. Кошка из дому — мышам раздолье!

У меня на языке все вертелся вопрос, мол, что это за ребята такие? Но я решила, что будет лучше не обращать внимания на эти слова Оскара. Какое я имею право соваться в его дела?

Кивнула ему головой на прощание и быстро ушла.

Проходя мимо окон ателье, в которых брезжил слабый свет, я подумала: «Откуда он этих ребят выискал? Недавно жаловался на скуку по вечерам... Почти каждый день просиживал у нас...»

Мелькнула мысль, что здесь под видом вечеринки кроется что-то совсем иное. Стаканы с чаем только для маскировки, как и фотоаппарат, с которым он ездил в деревню. Снова парень лезет на рожон! А если полиция разнюхает, что тогда?

Подивилась лишь одному: половину жителей Хаапсалу составляли барствующие мещане да онемеченные эстонцы, другого такого тихого и сонного городка не сыщешь, а Оскар и здесь выискал своих единомышленников.

А то кто же они?.. Может быть, пожаловали из далеких мест? Из деревни, из села... Попробуй назови еще Ляэнемааский край невежественным, темным и отсталым!

Недели и месяцы потекли опять своим чередом.

Оскар по-прежнему часто захаживал к нам. Играл с ребятишками. И моих кулинарных изделий отведывал.

Пожаловался, что у дяди второй лаборанткой работает одна славная девушка, но его, Оскара, не замечает. Он, дескать, так ласково на все лады умолял ее, чтобы она хоть разок с ним прошлась. Девушка покраснела как маков цвет, потупила глазки и проронила: «С чужими молодыми людьми я никогда не гуляю!» Так все старания Оскара ни к чему и не привели.

Оскар часто клял фашизм, охвативший всю Германию. Поносил унылую, серую местную провинциальную жизнь. Рассказывал, что изучает языки... толковали мы о том, о сем. Вели самую обычную, будничную беседу.

Единственное, что мне бросилось в глаза, это то, что Оскар — ах да, ведь мы тогда держали лавчонку, — что Оскар старался в лавке заводить беседы с покупателями. Именно с бедными. И это ему удавалось.

Ведь раньше жили не так, как теперь — сбегаешь в магазин и обратно. Накупишь всего и прочь скорей. Тогда товары выбирали да разглядывали, все мирские дела пересудить полагалось. Калякали вовсю, в особенности когда среди покупателей попадались крестьяне. Они-то любили потолковать не спеша, почесать в затылке, посоветоваться. Все городские новости, бывало, на ус намотают и свои крестьянские заботы выложат в ответ. Посещение лавки было событием, а сама лавка местом встреч.

Оскар часто пристраивался к покупателям. Слушал навострив уши, и свое слово вставлял. И всегда такое, что толкало бедный люд на откровенную жалобу о своих бедах.

Жизнь села и волости, видимо, сильно интересовала Оскара. С иным он очень легко находил общий язык, и беседа затягивалась надолго, говорили об изнурительном труде, обучении детей, переходили к жизни в Советском Союзе и снова рассуждали о силе и власти богатых хуторян.

У меня создавалось такое впечатление, что Оскар хотел незаметно для своих собеседников сделать их своими единомышленниками. Внушить им, что в нашей Эстонской республике царит несправедливость. Что рабочий человек беден, как церковная мышь, а тот, на кого спину гнут, деньгам счета не знает. Он как бы заражал всех недовольством. Понемножку, небольшими порциями, но систематически.

Так изо дня в день проходили наши встречи, без всяких подъемов и спадов.

Однажды ночью, когда мы с мужем уже спали, нас разбудил тихий стук в окно.

Муж вскочил и глянул сквозь стекло. На дворе стоял Оскар.

Я отперла дверь, Оскар вошел на кухню.

Вид его потряс меня. Одежда на нем промокла и была облеплена грязью, словно его волокли по канавам. Волосы растрепаны. Лицо исцарапано. А на ногах! На ногах были только носки! Грязные, мокрые и рваные! Кто знает, какой путь он проделал в них!

Оскар извинился за позднее вторжение, но беда ведь не знает стыда. Пусть, дескать, мой муж будет столь добрым и подарит или одолжит ему пару старых черных ботинок. Ведь размер ноги у них вроде бы одинаковый.

Муж мой раздумывать не стал. Сунул Оскару пару ботинок. Тот их надел и сразу же ушел.

Мы снова легли в кровать, но сон как рукой сняло. И вид Оскара, и эта история с туфлями были столь необычны, что мы думали и гадали на все лады. Но так ни к чему и не пришли.

Утром во время работы услыхала, что на рассвете к фотографу нагрянула полиция.

Городок маленький, новости молниеносно передаются из уст в уста. К тому же один из наших продавцов жил с дядей Оскара на одной улице. Да и хозяйка ателье не делала тайны из этого посещения.

Полицейские, ломясь в дверь, подняли семью с постели. Где, дескать, ваш лаборант, тот, таллинский парень? Дядя вначале и словечка вымолвить не мог. Наконец пробормотал, что теперь, в летнее время, Оскар спит в ателье.

Полицейские с грохотом ворвались туда.

Оскар сидел на краю кушетки и тер глаза спросонья. Спросил, что тут за шум... В такую рань... Заказ, что ли, срочный?

Один из охранников потребовал его ботинки. Вытаращив глаза от удивления, Оскар поглядел на блюстителя порядка, словно на помешанного. Потом вынул ботинки из-под кушетки и сунул ему под нос.

Чинуша в мундире не успокоился, пусть, мол, Оскар выложит и другие свои ботинки. Оскар только развел руками, сказав, что других у него нет, разве что старые сапоги в передней.

Полицейский порылся в вещах Оскара, но больше ботинок не нашел. Только одна пара да старые сапоги в прихожей.

Раскрыв портфель, полицейский вынул оттуда какой-то старый башмак.

— Знаете, что это такое? — спросил он у Оскара.

А сам так и сверлил парня глазами, словно ждал, что Оскар удивится, изменится в лице.

Но Оскар скорчил серьезную мину, надел на нос очки, повертел его и так и этак, осмотрел снаружи и изнутри. Проверил толщину подошвы и прочность шнурков. Наконец заявил, что действительно знает: это старый, поношенный грязный башмак. Подметка, правда, у него еще прочная, а вот набойки придется скоро сменить.

У полицейского от злости глаза на лоб полезли. Как наскочит на Оскара, чего это, мол, он здесь паясничать вздумал, это же его собственный ботинок, он потерял его ночью в загородном лесу, а теперь признаваться не хочет?

Оскар, всплеснув руками, воскликнул:

— Побойтесь бога, господин полицейский! К чему мне в лесу торчать в эдакую зябкую ночь! Какому болвану вздумается в непогоду соловьиное пение слушать?

Полицейские долго еще рыскали в саду и во дворе в поисках второго ботинка. Расспрашивали дядю и его жену. Те подтвердили, что видели своими глазами, как Оскар вечером прошел в свое обиталище. Дядя добавил, что у Оскара и впрямь только одна пара ботинок и еще пара старых сапог. Молодой человек едва сводит концы с концами, где ж ему обувью-то запасаться!

У фараона лопнуло терпение, он пихнул злополучный ботинок в портфель и ушел не солоно хлебавши.

Вечером пораньше Оскар прибежал к нам в начищенных до блеска ботинках мужа. Попросил разрешения поносить их еще немного.

Мой муж заметил, что теперь-то уж никак не время покупать новые ботинки. Снова могут нагрянуть с проверкой. Поди растолкуй им, почему новые купил и куда старые подевал.

— Ах, вам, значит, уж все известно! — Оскар раскрыл глаза от удивления и, покачав головой, произнес улыбаясь: — Жаль, что ночью все так незадачливо получилось! Моя обувка была еще совсем сносная. Даже подметки не менял. Теперь один ботинок в полиции, а другой

валяется в какой-нибудь канаве. Может быть, плывет уже прямиком на Хийумаа!

— Кому же ты там, в лесу, под ноги попался? — спросил мой муж без обиняков.

Оскар состроил покорную физиономию и, изобразив трагическую мину, промолвил:

— Как ни кинь, судьба моя в ваших руках! Вам стоит лишь намекнуть о моем ночном визите, и меня тут же схватят. Поэтому признаюсь, что беседовал в лесу с ребятами. А кайтселийтчики и охранники окружили лес. Мы давай ноги уносить. Там я свой ботинок и потерял. Засим добавить ничего не имею. Доложил фотолаборант такой-то и такой-то!

Хотя любопытство нас с мужем и заело, но больше спрашивать мы ни о чем не стали. Это случилось впервые, что Оскар приоткрыл завесу над своими тайными затеями. Вряд ли он в тот раз стал бы еще откровенничать.

Время потихоньку шло. И наступило лето тысяча девятьсот сорокового года.

В один из июньских дней Оскар явился к нам с неожиданной просьбой. А именно: не дадим ли ему завтра вечером возможность кое с кем встретиться в нашей лавке. Это свидание ему, мол, необходимо. И волноваться нам по этому поводу не стоит. Ни детям моим, ни семье нашей оно опасностью не грозит. Он может голову дать на отсечение, что с полицией нам дела иметь не придется.

В голосе Оскара звучала непреклонная уверенность. Я это сразу заметила, но подумала, что он своим решительным тоном просто хочет оказать на нас воздействие.

Долго колебались мы с мужем. Идти на такой риск было нечто большее, чем одолжить пару ботинок. Если все выяснится, нас за это в полиции по головке не погладят!

Ради большего убеждения Оскар добавил:

— Все ведь знают, что я частенько захаживаю к вам. Мог же я тайком унести со стола ключ от черного хода вашей лавки... И вы будете непричастны к этой истории!

Такое объяснение могло бы действительно нас спасти, но подобный выход из положения пришелся нам не по душе. Ни мужу, ни мне. Не хватит у нас духу давать ложные показания.

Я и Оскару в этом призналась. Он словно бы пропустил мои слова мимо ушей и еще раз подтвердил, что

беспокоиться совсем не надо. Эти спасительные меры нам наверняка не понадобятся.

— А откуда ты все так точно знаешь? — поинтересовался мой муж.

— Знаю! — кратко подтвердил Оскар.

В следующий вечер мы вручили ему ключ от черного хода нашей лавки. А сами дома сидели, точно на горячих углях. Я уже начала бояться, что мои нервы не выдержат.

Через несколько часов Оскар возвратил ключ.

Кто побывал в нашей лавке и чем там они занимались, мы так и не спросили. Заметили только в Оскаре некое радостное возбуждение. Не тревогу и волнение, а именно возбуждение. В хорошем, положительном смысле слова.

А днем позже будничную жизнь нашего городка всколыхнуло чрезвычайное событие. Одни были в приподнятом настроении, другие встревожены и растерянны, а третьи кляли все на свете.

В Таллине рабочий народ захватил власть в свои руки!

Здесь, в Хаапсалу, и во всем Ляэнемааском уезде застрельщиком всех этих великих перемен был Оскар. И, конечно, его знакомые парни. Словно из-под земли вырастали новые силы и принимались налаживать жизнь на новые рельсы. И всегда люди эти оказывались вместе с Оскаром. А может, они уже давно были рядом с ним? Он и теперь не открывал нам своего прошлого о тайных собраниях, свиданиях и прочих делах.

Через несколько дней я увидела Оскара в замковом парке на многолюдном митинге. Как он там выступал! Вспоминая его обычную спокойную манеру разговора, я не верила своим ушам. Каждую фразу, каждое слово он прочувствовал всей своей душой. В его речи ощущалась глубокая и великая радость.

Ответ шестнадцатый

ТОВАРИЩ ПО РАБОТЕ

Это хорошо, что вы мне дали время на обдумывание. Это очень хорошо. Хотя, по правде говоря, я не надеялась, что тот памятный день будет иметь значение и для других. А потому и не хотела вспоминать о нем. Думала, пусть он останется со мной.

Теперь, когда я все обдумала, я уже не сомневаюсь. Считаю, что даже должна поделиться впечатлением об этом дне.

Но прежде... Да, прежде всего следует рассказать, какие обязанности легли тогда на плечи Оскара. Сразу же после победы трудового народа ему доверили три... нет, даже четыре ответственных задания. В дни переворота он был в Хаапсалу единственным членом компартии! Итак, он стал во главе Ляэнемааской коммунистической организации. Во-вторых — руководителем местного Народного ополчения. В задачу Народного ополчения входила защита правительственных учреждений, важных государственных объектов, крупных заводов и шахт. Позже из Народного ополчения образовалась милиция. В-третьих, Оскар был организатором Союза коммунистической молодежи и, в-четвертых, возглавлял профсоюз сельских рабочих. Так что дел у него был непочатый край. Пришлось ему еще руководить уездным исполкомом и организовывать волостные, распределять земельные участки среди батраков... О масштабах этой работы лучше всего свидетельствуют несколько цифр. К январю следующего года безземельным было отдано 1757 хуторов и 1559 беднякам выделены наделы. Кроме того, Оскар занимался формированием и контролем органов милиции, а также чисткой учреждений от антисоветских элементов, созданием избирательных комиссий, обучением агитаторов... Причем нельзя забывать, что в то время враги распускали клеветнические слухи о нашей стране, бывшие члены кайтселийта устраивали подпольные собрания, спекулянты скупали в магазинах продукты, в иных учреждениях не выполняли наших постановлений... Трудное было время и сложное. Но мы строили свое государство, и это придавало нам силы... Конечно, у Оскара было много способных помощников. Вскоре образовали уездный комитет партии, подобрали людей для управления различными участками работы. Но роль самого Оскара на руководящем посту была все же чрезвычайно велика. С первого октября он уже занимал должность первого секретаря уездного комитета партии.

А теперь расскажу об одном из первых дней его работы на этом посту.

Пришла я утром в комитет и увидела, что у двери кабинета Оскара сидят две старушонки. Сидят себе, ждут. Я спрашиваю, зачем пришли, они в ответ: скажем об этом только самому. Так точно и выразились.

За моей спиной раздались шаги. Четкие, энергичные. Я сразу их узнала. Такой могла быть только походка Оскара. Больше ничья.

— Здравствуйте, — сказал Оскар. — Что нового?

— С тобой желают поговорить! — ответила я несколько недовольным тоном. Почти каждое утро возле двери кабинета Оскара возникала очередь. Словно ему больше и делать нечего было, как только выслушивать разные мелкие людские заботы.

Оскар распахнул дверь и любезно пригласил старушек в кабинет. Пригласил и пододвинул им стулья.

Я даже приревновала его к этим старушенциям.

И спросить теперь не смогу, долго ли он вчера вечером просидел за работой и удалось ли ему утром позавтракать.

Одна из бабок без обиняков начала:

— Теперь, слыхать, наступила таковская власть, что беднякам в помощи не отказывают. Мы вот и явились, потому как мы бедные. Доселе нам помощи искать негде было. А забота уже давно на шею свалилась. Крыша у моего дома протекает, и у нее тоже. А денег на починку нет у нас, таких, как мы, трухлявых пней... Так не выдаст ли нам новая власть маленько деньжат?

Оскар спросил, много ли там с крышей работы.

Та бойкая старушонка все сразу растолковала. В нескольких словах. Очень кратко. За двоих. Видно, дома заранее все зазубрила.

Выяснилось, что крышу требуется только залатать и просмолить.

Оскар вынул из внутреннего кармана бумажник и сунул обеим старушонкам несколько ассигнаций.

Мы как раз накануне получили зарплату. А сейчас половину ее он отдал. Без всякой расписки.

Когда старушки удалились, я заметила Оскару, что, по-моему, он поступил опрометчиво. Опрометчиво и необдуманно. Скоро половина города сбежится сюда за деньгами. Партийный комитет не благотворительное общество.

Оскар поглядел на меня с изумлением и простодушно заявил:

— Я знаю этих старушонок. Им и вправду деньги нужны. Нельзя было отказать!

Нужны-то нужны, этому я верила, но зачем же выкладывать из своего кармана...

Оскар снова удивленно посмотрел на меня и молвил:

— Такого рода ремонтные мастерские у нас еще не организованы. Куда же я мог направить старушек? А власть бедняков не должна сказать беднякам: «нет!»

Удивительно простое и ясное объяснение! Настолько простое, что и крыть-то нечем. И я не жалела об этом...

Не успел Оскар вынуть из ящика свои бумаги, как снова отворилась дверь. На пороге появился высокий худощавый старик. Поздоровался и широким шагом двинулся к нам. Словно старый знакомый. Я и не сомневалась, что так это было.

Мужчина остановился возле письменного стола и с достоинством произнес:

— Простите, что вторгся к вам... Вопросами этими мне заниматься не приходилось, а теперь вот заинтересовался научными основами социализма. Есть ли у вас какие-нибудь книги по этой теме?

За спиной Оскара стояла небольшая книжная полка. Там хранилась разная литература: книги, купленные самим Оскаром, старые журналы прежних времен, наши советские газеты, рекламные брошюры всяких фирм.

Оскар обернулся к полке, взял «Капитал» Маркса, лежавший среди его книг, и протянул мужчине.

— О-о! — подивился необычный пришелец. — Ну и солидная же! Немало времени на нее уйдет!

Оскар подтвердил, что и верно немало.

Мужчина покачал головой и спросил, когда он должен возвратить ее.

— Когда прочтете! — деликатно сказал Оскар.

Мужчина ушел, и я спросила у Оскара, был ли он раньше знаком с этим человеком или хоть знает, кто он?

— Впервые вижу! Забавный старик! — ответил Оскар. — Думаешь, не возвратит? Возвратит! А если даже и нет... Получается, что еще одно произведение Маркса пошло гулять по людям. А себе я уж как-нибудь достану новую книгу.

Я с некоторым укором заметила, что этак он и последний пиджак с себя снимет.

Оскар радостно улыбнулся. Такой счастливой улыбкой, словно замечание мое было ему в похвалу. Потом велел мне сесть за пишущую машинку.

Я все еще не знала, завтракал ли он, но уже не отваживалась спросить его об этом. Побоялась сбить его мысли. Ведь он начнет сейчас составлять газетную статью.

Длинные он сперва набрасывал на бумаге, а короткие сочинял тут же.

Оскар шагал взад-вперед по комнате и диктовал. Да разве диктовал! Он ходил и словно посвящал меня в свои планы.

А на мою долю выпало не только слушать их, но еще и печатать. Стучала двумя пальцами, как и полагается новичку. Только успевала я заканчивать фразу, как у Оскара была наготове уже новая.

Но он не раздражался на мою медлительность и не торопил меня. Он привык к темпу моей работы и прилаживался к нему.

Если кто-нибудь входил в комнату, он даже не замечал пришельца, не реагировал, не обращал внимания. Весь сосредоточивался, сочиняя статью. Все мысли и внимание его были направлены лишь на это. Полная отдача делу — так можно было бы это назвать. Ничего другого для него в эти минуты не существовало. Речь текла фраза за фразой, словно равномерное биение пульса.

Перечитывая статью, он вносил в нее лишь некоторые поправки.

А я, сидя в эти минуты за машинкой, нервничала. Стыдилась. Стыдилась того, что текст выглядел некрасиво. Расстояния меж словами были неодинаковые, встречались опечатки, и, желая исправить их, я забивала неправильную букву нужной. Мне было совестно перед ним за свою неопытность. А ведь еще вчера Оскар заметил, что нынче следует выкладывать в труде всего себя и даже немного больше.

Закончив диктовать, Оскар словно бы очнулся. Вернее говоря, освободился от одной работы, чтобы переключиться па другую.

Он взглянул на часы и закричал:

— Скорее в машину! Если эта колымага выдержит, то мы прибудем вовремя!

Я поехала с Оскаром. Он должен был выступить перед пограничниками на эстонском языке, а я переводить его речь на русский...

Я надеялась, что мы сможем побеседовать в пути. Так просто поболтать. Но, к сожалению, получилось иначе.

Всю дорогу Оскар сидел, углубившись в себя. Ни мелькавшие мимо нас красивые виды, ни чайки в небе, ни я для него не существовали.

Он обдумывал свою речь. Теперь он был полон только ею.

А когда настал мой черед переводить, я попала впросак. Не было у меня сноровки в быстром переводе. Русский язык я знала, но с политической терминологией была еще незнакома. И фразы Оскара мне пришлось укорачивать, упрощать.

Позже, когда мы снова сели в машину, я посетовала на себя. Пожаловалась, устыдясь своей беспомощности.

Он утешал меня. Но не только из любезности, мимоходом. Нет. Он проникся моей заботой, страдал, словно за себя. И моя беда стала нашей общей. Он уверял даже, что мой стиль лучше его. Он, дескать, сам чувствовал, что его фразы слишком уж заковыристые и заумные.

Слова Оскара меня успокоили. Я поверила, что и в дальнейшем сумею справиться с переводом.

Слова Оскара... Это звучит чересчур просто. Слова... Не слова, а проникновение в твои заботы! Именно это принесло мне облегчение.

В одном из поселков должен был состояться митинг. Туда мы теперь и держали путь.

Митинги устраивались в те времена часто. То был наипростейший путь сближения с народом, разъяснения задач, стоявших перед Советской властью. И, если хотите, спора с противниками.

Прибыв на место, мы увидели, что народу на площади собралось много. Березки, воткнутые по краям, оказались не убраны. И лотки стояли тут же. Видно, здесь недавно была ярмарка.

Оскар впрыгнул на какой-то подмосток и обратился к людям. Они начали подходить в одиночку и группами. Кто охотно, кто медля. Кто с серьезным видом, а кто презрительно смеясь и зубоскаля.

Оскар успел лишь произнести первые слова приветствия.

Потом пошел треск.

Какие-то мужчины, стоявшие у подсохших берез, обламывали ветки. Тррах, тррах, тррах, тррах.

То была первая попытка помешать оратору. За ней последовала и другая. Она оказалась намного внушительнее.

Несколько человек запели. Ту песню, которую раньше распевали вапсы — эстонские фашисты — на своих сборищах. В тысяча девятьсот тридцать третьем году немецко-фашистская газета официально заявила, что эстонские

вапсы — последователи Гитлера. Что они пропагандируют гитлеризм и стремятся к власти, чтобы утвердить безраздельную диктатуру.

Кое-кто присоединился к поющим.

Оскар стоял на подмостках и молчал.

Меня охватило волнение. Что он предпримет? Это пение — циничная демонстрация. В особенности теперь, когда гитлеровцы порабощают чужие земли.

Что сделает Оскар? Вдруг да разбушуется, как с ним это иногда случалось? Бросит что-нибудь резкое... Попытается перекричать поющих... Разгневается, выйдет из себя...

Но здесь этого делать не следует! Этим можно вызвать насмешку даже и у доброжелательного слушателя.

Я стояла неподалеку от Оскара. Исподтишка поглядывала на него.

А он, казалось, равнодушно наблюдал за демонстрантами. Но я-то знала, чего ему это стоит. Знала, сколько у него это забирает сил. Сколько энергии у него на это уходит. За эти короткие минуты.

Словно заклинание, способное помочь ему, я повторяла про себя: «Не злись! Не злись! Не злись!»

Пение пошло вразброд, на убыль. Наконец заглохло. Этого и следовало ожидать. Единомышленников оказалось слишком мало.

Важную роль сыграло, конечно, и то, что оратор не потерялся. Не вышел из себя. Не стал злобствовать, стыдить, урезонивать демонстрантов. Никто уже не пел. Прекратился и треск. Все глядели на Оскара.

Он облегченно вздохнул и произнес отчетливо звонким голосом:

— Ну все. То была их лебединая песня!

В толпе раздался смех. Смех и одобрительный гул свидетельствовали о признании оратора. Все, безусловно, ждали от него меткого, сильного удара.

Теперь Оскар мог продолжить свою речь. Больше никто ему не мешал. Демонстранты отошли подальше.

Потом люди задавали вопросы. Среди них были деловые, заданные попросту из любопытства, были грубые и насмешливые.

Оскар отвечал каждому по-своему. Отвечая, он как бы перевоплощался. В одно мгновение. Если надо было, пояснял, а то и поднимал на смех или нападал, иронизировал.

От всех этих переживаний нервы мои взвинтились до предела. Я ощущала, как Оскар всю силу своего разума отдает этой массе народа. Силу разума и свое внутреннее убеждение. Он не умел отвечать на вопросы формально, лишь бы отделаться от человека. Он стремился к тому, чтобы вопросов задавали все больше и больше. Тогда прояснится многое. И для него и для людей.

На обратном пути нам предстояла остановка в волостном правлении. Там Оскар принимал молодежь в комсомол. Сам выписывал им билеты. Поздравлял. Разъяснял их задачи. Говорил довольно торжественно — время было такое. Но вместе с тем убедительно. Он искренне желал, чтобы его убеждениями прониклись и слушатели.

В конце собрания он назначил волостного комсорга.

В те времена, в первые дни Советской власти, такие дела совершались иначе, чем теперь. Позже появились рекомендации, собрания, голосования и все прочее, так, как сейчас.

В Хаапсалу мы возвратились затемно. Надо было еще составить какие-то отчеты. Как я ни ломала голову, но никак не могла справиться со своей писаниной. Одолевала смертельная усталость, и я отправилась в комнату к Оскару, чтобы посоветоваться с ним.

Он сидел за столом, перед ним бумаги, тетради. Сидел, откинув голову на высокую спинку стула. Руки его свисали по бокам. Пальцы держали незажженную папиросу.

Лицо было измученным. Весь его облик выражал утомление. За день он сумел выпотрошить всю свою энергию. Все свои силы пожертвовать другим. Думать и переживать за других.

Теперь ему требовалась новая зарядка. Как это бывает с аккумулятором. Но что придаст ему новые силы? Сон, отдых?

На столе ждала его работа. Времени на отдых еще не было отпущено.

Я стояла посреди комнаты и не отваживалась его тревожить своими заботами, хотя в эту минуту он был мне ближе, чем когда-либо.

Оскар снял очки. Его веки над светло-серыми глазами распухли от усталости и покраснели.

Он улыбнулся мне. Какой-то мягкой улыбкой. Мне показалось, что даже несколько застенчивой. И попросил осипшим от длинных речей, умоляющим голосом:

— Скажи мне что-нибудь хорошее!

Я подошла к нему. Медленно подняла руку и потрепала ему волосы. И высказала наконец-то, что с давних пор носила в себе.

Он вскочил со стула, обхватил меня руками, и мы закружились по комнате. Кружились и хохотали. Хохотали и кружились.

Потом Оскар усадил меня на край стола.

Мы были рядом.

Мы снова болтали и снова смеялись.

Полночь давно миновала, когда мы наконец уселись за отчеты.

— Вот так да! — вдруг закричал Оскар как одержимый. — Оказывается, они нужны только к послезавтра! Урра-а!

Он отложил бумаги и в полном смысле этого слова прогнал меня. Прогнал домой спать. Самому ему, мол, надо еще посидеть на работе. Надо еще обдумать и обмозговать кое-что.

Решительным движением он надел очки и придвинул бумаги и черновики. Рука повисла над коробкой с папиросами. Повисла, но коробку не открыла. Вместо этого он вынул из ящика кулек с конфетами, сунул леденец за щеку, помахал мне рукой и окунулся в свои записи.

Я тихонько прикрыла дверь. Пройдя через опустелые комнаты, вышла на улицу.

Ночь была теплая. Я шла и рисовала в воображении картины будущего.

Усталость мою словно рукой сняло.

Вот так и закончился этот день.

Ответ семнадцатый

ИСТОРИК

Отвечу вам по возможности кратко и лаконично.

В январе тысяча девятьсот сорок первого года партия направила Оскара на работу в Коммунистический союз молодежи Эстонии. На должность первого секретаря. Вы, конечно, представляете, что работа эта была не из легких. Большая часть тогдашней молодежи находилась еще под

влиянием буржуазной идеологии. Ее насаждали и в школах, и в молодежных организациях, и через печать и радио. Были и такие, которые не поддались буржуазной пропаганде. С помощью этих юношей и девушек можно было начать среди населения разъяснительную работу. Надо было растолковать, какие цели преследует Советская власть и какова роль молодежи в борьбе за эти цели.

Следует сказать, что ряды комсомольцев росли очень быстро. В феврале того же года количество членов ЛКСМЭ составляло уже три тысячи четыреста сорок человек и кандидатов — две тысячи двести тридцать два человека. Причем четыре тысячи заявлений еще не было рассмотрено. К лету число комсомольцев в Советской Эстонии возросло до десяти тысяч.

Листая страницы старых номеров газеты «Ноорте хяэль» («Голос молодежи»), мы часто встречаем сообщения о деятельности секретаря Центрального Комитета ЛКСМЭ. То он выступает перед призывниками, то на совещании журналистов, то на семинаре секретарей комсомольских организаций... То приглашает в газетной статье всех на лыжный кросс или на беговую дорожку...

Уделяет много внимания формированию районных комитетов комсомола, вникает в радости и заботы пионерской организации, посвящает массу времени политучебе, распространению печати и всячески стимулирует молодежь на активный и честный труд... Словом, заботится о том, что связано с настоящим и будущим молодежи.

В феврале тысяча девятьсот сорок первого года состоялся Четвертый съезд Коммунистической партии Эстонии. Концертный зал «Эстония» был переполнен делегатами и почетными гостями. Повсюду царило праздничное настроение. Кругом радостные лица, веселая речь. Как этот съезд отличался от Третьего съезда, состоявшегося в тысяча девятьсот двадцать втором году в волости Раазику. Он созывался нелегально, в подполье, и в нем смогли принять участие только девятнадцать делегатов. Теперь партия в борьбе за рабочее дело добилась крупной победы. Тому служили доказательством размах Четвертого съезда и праздничное настроение, господствовавшее на нем.

Делегатом Четвертого съезда был и Оскар. В своем выступлении он сказал:

«...Всем нам известна та помощь, какую оказывал нам повсюду комсомол. Какое он принимал участие в наделе

землей бедняков и безземельцев, в распространении коммунистической печати, в организации машинно-тракторных станций, в подготовке трактористов, в деле пропаганды среди широких масс и в особенности, в предвыборной кампании в Верховный Совет СССР. Все это доказывает, что наша молодежь с присущей ей энергией и воодушевлением готова внести свой вклад на всех участках строительства социализма...»

В своем выступлении Оскар подчеркнул еще, что комсомольцев надо смелее выдвигать на руководящие посты.

Четвертый съезд КП Эстонии избрал Оскара в состав Центрального Комитета. А на пленуме Центрального Комитета он был избран в бюро, в состав которого входило девять членов ЦК.

Вскоре грянула война... Фашистская Германия напала на Советский Союз. Весь народ встал на защиту Родины.

Оскар через газету «Ноорте хяэль» обратился с воззванием к комсомольцам Эстонии. Он писал:

«...Настало время, когда наш эстонский комсомол должен доказать, что он достойный член ВЛКСМ, того союза, в который входят закаленные в огне гражданской войны комсомольцы старших советских республик...»

Оскар выступил на собрании комсомольцев Таллина. Темой его доклада было «Наши сегодняшние обязанности в обстановке борьбы».

Оскар помогал формировать истребительные батальоны.

Превосходящие силы врага теснили нас. Хотя Красная Армия и истребительные батальоны оказывали упорное сопротивление, нам пришлось отступить. Фашисты захватили Советскую Эстонию.

Решением Центрального Комитета Коммунистической партии Эстонии многих товарищей оставили на оккупированной территории для подпольной работы. Это опасное задание поручили и Оскару. Но руководитель подпольного партийного центра Карл Сяре оказался предателем. Он сообщил фашистам все данные о подпольщиках и их конспиративных квартирах. Начались обыски и аресты.

Двенадцатого сентября тысяча девятьсот сорок первого года недалеко от Тапа фашистам удалось схватить Оскара. Через несколько дней его из тапаской тюрьмы препроводили в таллинскую центральную тюрьму.

Ответ восемнадцатый

СОСЕД ПО КАМЕРЕ

На лице его был жуткий шрам. Чудовищный незаживающий шрам. Кожа на скуле сморщилась. Под нею зияла кровавая прорезь.

То был след от сильного, жестокого удара ногой, так страшно изуродовавшего его щеку.

Глядя на эту жуткую рану, я чувствовал, как по спине пробегает противная мелкая дрожь. Искалеченное тело говорило о пережитых муках. Шрам — свидетельство чужих мучений, приводил меня в трепет.

Рана Оскара была именно такой.

Двумя днями позже я увидел у него другой шрам. Он был на затылке. Каким-то острым предметом рассекли кожу, оставив длинный ровный след.

И эта рана, видно, тоже недавно зажила. Может, она была свежее той, что выделялась на его щеке.

То были, без сомнения, следы двух допросов.

Вставая с табурета, Оскар некоторое время оставался в согнутом положении. Опираясь руками о колени, он пытался скрыть нестерпимую боль, исказившую его лицо.

Выпрямившись, ступал сперва осторожно, с опаской. Словно приноравливался, чтобы избежать мучений при ходьбе.

Было ли это следствием третьего допроса или их было значительно больше — этого я никогда не узнал. Он ничего не говорил, а я не отваживался спросить его.

Оскар вставал. И мы начинали ходить по камере. Пять шагов вперед, два в сторону, снова пять шагов вперед. Минуя друг друга, нам приходилось поворачиваться боком.

Подходя к окну, каждый из нас на мгновение останавливался. Опирался о столик и поднимал глаза вверх. Стены были толщенные, поэтому сквозь оконную решетку виднелась лишь узенькая полоска неба. Всегда серого, безотрадного.

До чего же мы ждали лазурного, словно доброго предзнаменования!

Вот мы и ходили изо дня в день. И все против солнца, все против солнца. Так было принято в тюрьме. Будто

мы могли повернуть время вспять. Украденное у нас время.

И в этот раз мы тоже шагали. После того как Оскару удалось выпрямиться, преодолевая страшные мучения.

Мы ходили и переговаривались о том, что случилось раньше и что мы предполагаем совершить в будущем. А то, что происходило сейчас, было у нас под запретом. Об этом мы не забывали, но говорить не хотели. В те дни над нашими головами нависла угроза смерти. Всякий раз, когда отпирали дверь камеры, мы могли думать, что наступил наш последний час. Здесь не церемонились, не предупреждали, не объясняли, почему и отчего. Заключенному приказывали выйти из камеры, и не было уверенности, что он опять возвратится.

Оскар рассказывал, как он скрывался в тайнике, сооруженном над потолком подвала. Там можно было лежать или сидеть согнувшись.

А стоять было невозможно. В начале сентября на хуторе учинили облаву. Тайника не обнаружили, но хозяина хутора арестовали. Вскоре на хуторе расположились немцы, и ему пришлось покинуть свое убежище. Попытался пробраться в запасную конспиративную квартиру, но двери ее оказались заперты, а хозяева исчезли. С чьей-то помощью ему удалось приобрести кое-какую теплую одежду. Так он пробирался лесами, пока его не схватили возле Тапа.

Я заметил, что Оскар не назвал ни одной фамилии. Хотя это меня в какой-то степени и задевало, я понимал его. Несколько дней, проведенных в камере, еще не открывают истинного лица твоего напарника. Где тебе знать, насколько у него хватит сил, принципиальности... К тому же у меня в тот момент было пока все в порядке. Я с легкостью вставал, твердо держался на ногах. Следов допросов еще не было видно...

Ни одного имени не было сказано Оскаром, ни единого намека о полученном на подпольной работе задании. Следя за ним, я мог ясно представить себе, как он вел себя на допросе. На первом, втором, третьем, да и кто знает, на котором. И сколько его еще ожидало жестоких мучений...

Мы разговаривали о прошлом, о будущем и снова возвращались в прошлое. Минуя настоящее. Действительность обходили.

Одно утро Оскар казался особенно удрученным.

Не успел я у него еще ничего спросить, как он мне сам поведал, что ночью ему приснилась жена. Она якобы шла ему навстречу и несла на руках сына. Он, Оскар, погладил крохотное тельце и ощутил, что оно холодное как лед...

А я и не знал, что Оскар женат. О своей семье он до сих пор даже словом не обмолвился.

Теперь он рассказал, что только в январе этого года ему удалось жениться. Познакомился он со своей избранницей в Хаапсалу. Оба они работали в уездном партийном комитете. Когда он был направлен в Центральный Комитет комсомола, тогда они поженились.

Оскар замолчал, обхватив голову руками. Он сидел на краю нар, и в его облике отражалось такое горе, что не хотелось тревожить его своими расспросами.

Через несколько минут Оскар сам продолжил свой рассказ. Слова, проникнутые заботой и мукой, лились из его уст.

Жена его эвакуировалась па пароходе из Эстонии. Корабль разбомбили. Кому удалось спастись, он не знает. Но если жена и осталась в живых, то сколько страха и ужаса ей, бедняжке, пришлось перенести... За себя и за то, другое, существо. Ведь жена его ждет ребенка.

Я понял, почему этот сон так потряс Оскара. Разбередил его сердечную рану.

Сколько сил требовалось ему, чтобы снести горькую долю, и свою и жены!

Не сломится ли под конец человек под тяжестью такого гнета?

Оскар поднялся с нар. Мне показалось, что он словно забыл на время о своих бедах.

И с надеждой в голосе произнес:

— Если родится мальчик, жена обещала назвать его Виктором! Это имя настоящего мужчины! Не правда ли?

Я сразу же догадался, кого он имеет в виду. Конечно, Виктора Кингисеппа.

Хочу заметить здесь, что жена Оскара счастливо добралась до Ленинграда. Вместо ожидаемого сына родилась дочь. Мать назвала ее Викторией. Насколько мне известно, Виктория живет сейчас на Украине и работает в школе педагогом.

Мы снова продолжили свою ежедневную прогулку по камере. Пять шагов вперед, два влево...

В окне виднелась полоска серого, неприветливого не-

ба. Да и эта безнадежная хмурь была от нас бесконечно далека. Не говоря уже о предвещавшей радость небесной голубизне. Только до решетки было рукой подать.

Вдруг мне вспомнилось высказанное кем-то предположение, и я повторил его с горькой усмешкой:

— А ведь отсюда не так уж и трудно выбраться, заяви только, что хочешь вступить в полицейский батальон — и дверь камеры сразу милостиво распахнется перед тобой!

Но Оскар не почувствовал скрытой в моих словах иронии. Он воспринял их всерьез. Я и прежде замечал, стоит мне только пошутить над нашими убеждениями — чувство юмора тут же покидает Оскара.

Он строго поглядел на меня и резко сказал:

— Ну что ты говоришь такое, надо выстоять до дня нашей победы, чего бы это ни стоило!

Я понял, что вера в победу помогает ему сносить нечеловеческие муки.

Мы недолго пробыли вместе. Однажды надзиратель вызвал Оскара, и больше я его не видел.

Только намного позже узнал, что смертный приговор был вынесен ему в тысяча девятьсот сорок втором году, девятого мая.

СОДЕРЖАНИЕ

ИБ № 991

Холгер Янович Пукк
НОЧНОЙ БОЙ.
ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ ОБ ОСКАРЕ?

Редактор **С. Шевелев**
Художник **А. Бахнова**
Художественный редактор **Н. Печникова**
Технический редактор **Н. Михайловская**
Корректор **З. Харитонова**

Сдано в набор 24/XI 1977 г. Подписано к печати 14/VI 1978 г. А06173. Формат 84×108 1/32. Бумага № 2. Печ. л. 9 (усл. 15,12). Уч-изд. л. 16,1. Тираж 65 000 экз. Цена 1 р. 20 к. Т. П. 1978 г., № 139. Заказ 2087.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.